

Г. УСПЕНСКИЙ

От Оренбурга до Уфы

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





Г. УСПЕНСКИЙ

От Оренбурга до Уфы

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УФА — 1982

84Р1
У77

Текст печатается по изданиям:

Г. И. Успенский. Собрание сочинений в 8-ми т. Т. 8. Государственное издательство «Художественная литература», 1957.

Г. И. Успенский «Избранное». Государственное издательство «Художественная литература», 1953.

Предисловие М. Рахимкулова, В. Сидорова

Успенский Г. И.

У 77 От Оренбурга до Уфы. Очерки. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1982. 288 с. — (Серия: «Золотые родники»).

Книгу составили тематически связанные с Башкирией и Оренбургским краем очерки Г. И. Успенского «От Оренбурга до Уфы», а также произведения «Живые цифры», «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли».

У77 $\frac{70803\ 28}{М121(03)—82}$ 123—82 **Р1**

«ВСЮ ЖИЗНЬ ОН СТРЕМИЛСЯ ТОЛЬКО К ПРАВДЕ...»

Эти слова В. Г. Короленко говорят о большом человеколюбии и гражданском подвиге замечательного русского писателя Глеба Успенского, который своими произведениями возбуждал в читателях горячую симпатию к угнетенному народу и ненависть к угнетателям. Недаром он был одним из любимых писателей В. И. Ленина. И хотя, показывая крушение крестьянской общины, Успенский не избежал народнических иллюзий в ее оценке, в понимании роли интеллигенции и ее отношении к трудовому люду, тем не менее его творчество дает наглядную картину того, почему 1861 год с неизбежностью породил 1905-й. В изображении народных стремлений писатель уловил тенденции, которые поднимут широкие массы на революционную борьбу против эксплуататоров.

Выдающийся русский писатель, революционный демократ Глеб Иванович Успенский (1843—1902) родился в Туле в семье чиновника. Окончив гимназию, он учился в Петербургском, а затем в Московском университете, но, не имея средств к существованию, в 1863 году был вынужден оставить учебу. В литературу Успенский вступил в 1862 году, опубликовав в журнале Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» рассказ «Михалыч». Первые же его произведения отличались большим гуманизмом и чуткостью к социальным вопросам. Важное значение в формировании революционно-демократического мировоззрения писателя имело многолетнее общение и сотрудничество с Н. А. Некрасовым и особенно с М. Е. Салтыковым-Щедриным в «Отечественных записках».

Основные идейные и художественные тенденции Успенского нашли отражение в двух больших, связанных между собою произведениях: «Нравы Растеряевой улицы» (1866) и «Разоренье» (1871). В первом из них даны реалистические образы ремесленников, мещан, чиновников. В образе Прохора Порфирыча перед нами предстает ловкий и предприимчивый буржуазный делец. В «Нравах...» отчетливо выразились особенности творческой манеры автора: подлинный демократизм, реалистическое изображение жизни социальных низов, острая наблюда-

тельность, индивидуализация языка персонажей, тонкий юмор, умение создавать типические образы и картины общественной действительности. В очерках «Разоренье» так же, как и в «Нравах Растеряевой улицы», присутствует широкая панорама русской пореформенной жизни. В центре произведения — образ Михаила Ивановича, раскрывающий типичные черты психологии рабочего класса того времени.

С конца 70-х годов творчество Успенского приобретает ярко выраженный революционно-демократический характер. Циклы очерков «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями» дают ценный материал для изучения жизни деревни того времени. В них убедительно показана неизбежность проникновения в деревню капиталистических отношений, порождающих мелкособственнические интересы, индивидуалистическую психологию. Очерки отличались острой публицистичностью и злободневностью.

Изучая народный быт, Успенский много путешествовал: побывал на Кавказе, в Западной Сибири, на Урале. Особенно глубоко волновала его судьба переселенцев. В конце 80-х годов, когда усилился переселенческий поток в Башкирию, он посетил Уфимскую и Оренбургскую губернии и в результате поездки написал книгу очерков «От Оренбурга до Уфы». В ней с большой художественной силой показаны трагические картины жизни переселенцев в царской России, беспощадно разоблачается произвол администрации и разного рода хищников, хозяйничавших на башкирских землях. Чтобы по достоинству оценить гражданский подвиг Успенского — а иначе не назовешь смелое обличение политики царизма в Башкирии — надо хотя бы бегло охарактеризовать тогдашнее положение дел в Уфимской губернии.

Во второй половине XIX века Башкирия переживала мрачную эпоху: колонизация края достигла своего апогея, коренное население фактически стояло на грани разорения. К началу этого периода Башкирия представляла собой одну из сравнительно малозаселенных окраин царской России. Развитие капитализма происходило здесь в тесной связи с колонизацией края и сопровождалось ограблением башкир. Под видом «упорядочения» земельных отношений происходили массовые захваты башкирских земель казной, помещиками и чиновниками.

Отчаянная нужда и безземелье, особенно возросшие после «освобождения», заставляли крестьян малоземельных губерний центральной России покидать родные места и устремляться в малозаселенные районы. В Башкирию их привлекали слухи об обилии свободной дешевой земли. Наиболее зажиточные переселенцы приобретали землю в собственность, а менее состоятельные обосновывались на арендованных участках. Условия же аренды были настолько тяжелыми, что крестьяне фактически попадали в кабалу к помещикам.

Массовое разорение и обнищание народа вызвало глубокое возмущение всех прогрессивных деятелей России: писателей, учителей, врачей, ученых. В разоблачении «урывателей» башкирских земель особен-

но велика была роль передовой русской литературы. Много писателей побывало в Башкирии, изучая положение народа на местах. Появился ряд замечательных произведений о Башкирии и башкирах. Л. Н. Толстой, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Ф. Д. Нефедов, Н. В. Ремезов, П. И. Добротворский, Г. И. Успенский и другие проявили горячее участие в судьбе башкирского народа, встали на защиту его прав, гневными статьями и очерками обличали «героев» хищений — царских колонизаторов.

Успенский вместе с земским деятелем Василием Юрьевичем Скалоном, членом совета Крестьянского банка, как сотрудники газеты «Русские ведомости» в мае 1889 года проехали от Оренбурга до Уфы, внимательно изучая прежде всего жизнь русских крестьян, переселившихся в Башкирию из центральных губерний России. По впечатлениям этой поездки были написаны путевые заметки Успенского, которые составили цикл очерков «От Оренбурга до Уфы», опубликованных в «Русских ведомостях» в июле — октябре 1889 года. Очерки правдиво рисовали трагическую картину жизни переселенцев-бедняков в Башкирии. Стремясь показать вопиющий произвол администрации и страстно желая помочь многострадальным переселенцам, Успенский тщательно работал над очерками: в архиве писателя сохранилось тринадцать вариантов текстов и отрывков из них.

Посещение Башкирии произвело на Успенского огромное впечатление.

В очерках выражен гневный протест против варварского ограбления башкирского народа. «Гибель башкира, начатая хищником побольше сотни лет тому назад, — писал он в одном из вариантов очерков, — и уже на нашем веку выразившаяся в самых бесстыжих размерах и приемах, не требует подробного изложения, во-первых, потому, что оно неисчерпано даже и в двух томах добросовестнейшего труда Н. В. Ремезова, а во-вторых, потому, что у всякого впечатлительного русского человека позорное дело расхищения башкирских земель оставило столь неизгладимое впечатление, что никогда не забудется и без напоминания об этом позоре»[1]. Под двумя томами «добросовестнейшего труда Н. В. Ремезова» писатель имеет в виду первые две книги (всего три) публициста-демократа «Очерки из жизни дикой Башкирии», вышедшие с подзаголовками «Быль в сказочной стране» и «Переселенческая эпопея» соответственно в 1887 и 1889 годах в Москве. Об этих книгах Н. В. Ремезова В. И. Ленин писал: «Очерки из жизни дикой Башкирии» — живое описание того, как «колонизаторы» сводили корабельные леса и превращали «очищенные» от «диких» башкир поля в «пшеничные фабрики». Это — такой кусочек колониальной политики, который выдержит сравнение с какими угодно подвигами немцев в какой-нибудь Африке»[2]. Эти слова В. И. Ленина в значительной мере

---

[1] Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 11, М., 1952, с. 608. В дальнейшем это издание цитируется без ссылок.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 253.

можно отнести и к очеркам «От Оренбурга до Уфы»: они пронизаны духом книг Н. В. Ремезова, которого Успенский высоко ценит прежде всего как разоблачителя произвола царской администрации.

Успенский показал, как мошенническими путями, силой и подкупом предприимчивые дельцы захватывали громадные пространства плодородных земель привольной Башкирии. Купцы и чиновники «арендовали» на долгие сроки земли у башкир, заключая с ними контракты, большинство из которых не имело юридической силы. «И отдает башкир опять новые огромные территории, отдает пока только в аренду; но идут года и приходит новый сокрушитель башкирского привольного житья: приходит Крестьянский банк, и гонят башкира с его нового места жительства...».

Яркими красками рисует Успенский природу Башкирии: «Весь путь от Оренбурга до Уфы вообще производит самое приятное впечатление: приволье, простор, обилие сил природы чуются даже и в сравнительно невзрачных местностях, которые минуешь по дороге. Но иногда, на протяжении двух-трех перегонов, то есть сорока-пятидесяти верст, случается проезжать поистине очаровательные места, не теряющие своей прелести ни на одну минуту. Места эти большею частью самые безлюдные, почти не тронутые ни плугом, ни топором...». И в этой прекрасной и богатой Башкирии ужасающая бедность ее коренных обитателей — башкир и крестьян-переселенцев из центральной России. Резкий контраст между мечтой, навеваемой привольем башкирских степей, и тяжелой действительностью ее жителей, — таков печальный итог очерков «От Оренбурга до Уфы».

Еще не полностью вышедшие, но уже получившие широкий общественный резонанс, очерки всполошили уфимские власти, и они решили расправиться с дерзким автором в судебном порядке. Уфимская палата гражданского и уголовного суда завела «Дело» на Успенского. Вот некоторые выдержки из него: «В № 282 «Русских ведомостей», от 12-го сентября 1889 года, издаваемых под редакцией В. Соболевского, напечатана фельетонная статья, озаглавленная «От Оренбурга до Уфы» и обращающая на себя особенное внимание распространением среди читающей публики совершенно ложных сведений, относящихся до дела Коловских с переселенцами села Богородского Уфимского уезда, производящихся в Уфимской палате гражданского и уголовного суда, в порядке гражданского судопроизводства, направленная с явными оскорбительными для суда целями». И на заседании от 16 ноября 1889 года уфимская судебная палата «определила»: «Просить прокурора московской судебной палаты о привлечении к уголовной ответственности сотрудника издаваемой в Москве газеты «Русские ведомости» Глеба Успенского, по обвинении его в преступлении, предусмотренном 1040 ст. Улож. о наказ.»[1]. И хотя благодаря заступничеству дру-

[1] Розенберг В. Успенский в годы безвременья.— Русские ведомости. Сборник статей. 1863—1913. М., 1913, с. 260, 261.

зей это позорное дело Уфимской палаты гражданского и уголовного суда кончилось ничем, тем не менее для нервного, легко ранимого Успенского оно не прошло даром: в конце ноября 1889 года у писателя появились симптомы тяжелого заболевания. В письмах к друзьям он с тревогой сообщал: «Меня постиг ужаснейший недуг, — нервное расстройство выразилось в *галлюцинациях обоняния:* удушающий запах (которого, конечно, нет в действительности) душит меня последние дни беспрерывно...».

Тяжелая душевная болезнь, обострившаяся к началу 90-х годов, оборвала творческую и общественную деятельность Успенского... В его письмах все чаще начинают звучать ноты неудовлетворенности своей литературной деятельностью, жалобы на ослабление физических и творческих сил. Так, при посылке в редакцию «Русских ведомостей» последнего очерка «От Оренбурга до Уфы» писатель с горечью признавался своему другу А. С. Посникову: «Уж как холодно мне... Вы и представить не можете. Распродался я построчно и полистно, получив за все мое нутро полный расчет, и теперь превращаюсь в вешалку для собственного своего платья. С каждым днем слабею головой, уничтожаюсь в размерах мыслей, деревенею. Словом, теперь я прошу только снисхождения, — ничего путного я уж не напишу, нет источника...».

«От Оренбурга до Уфы» по жанру скорее всего газетные корреспонденции. Путевые впечатления, положенные в основу этих очерков, оказались весьма невеселыми, а авторские размышления — достаточно грустными. Из шести очерков цикла пять — описание трудной жизни переселенцев, в поисках счастья, заветной землицы оказавшихся в Уфимской губернии. «Мчит их ковер-самолет, робких, испуганных неизвестностью, оборванных и изнуренных, в большинстве неимущих и в лучшем случае увозящих на ковре-самолете пять ребятишек (всегда без шапок и сапог) да пять пудов сухарей... — вот результаты нашей жизни и совести», — говорил Успенский о своих попутчиках в путешествии по местам заселения крестьян.

Конечно, за короткое время путешествия писатель не мог (и он об этом оговаривался) проследить досконально все положение дел. Однако многие стороны жизни населения края были верно подмечены и описаны им очень подробно, с большой художественной силой. Показывая суровую правду отношений между переселенцами и встречающими их на башкирских землях предпринимателями, Успенский рассказывает о тех, кто, нахватав огромные территории башкирских земель, теперь «хищным глазом хищного человека» ждет нищего, который «в самом скором времени станет оплачивать каждую затраченную им копейку полным рублем». Мысль Успенского о том, что «могущество всякого кулака, всякое хищническое богатство всегда созидается бедным, нищим человеком», впервые высказанная им в очерках «Власть земли», раскрывает сущность отношений между кулаком и нищим не только в Башкирии, но и во всей России за всю историю крепостничества.

Успенский убедительно показал бесправие переселенцев, над которыми глумятся «дельцы»: «Здесь же это большое дело представлялось в полную власть сельским старостам, приставам, атаманам, полицейским чиновникам, уголовной палате, непременным членам крестьянских присутствий и даже не самим этим присутствиям». Писатель разоблачил проделки лжевладельцев при продаже и сдаче в аренду земель: «Здесь берут деньги с землевладельца по «словесным условиям», «по домашним договорам, по приговорам волостных и станичных обществ». Хищник не брал в руки пера и бумаги, а в своих правах равнялся «с уголовной палатой, нотариусом, полицейским управлением...». Все сделки держатся на уверении «христом-богом». Касаясь вопроса об отношении правительства и его учреждений к нуждам крестьянства, писатель подчеркивает, что администрация стоит на страже интересов эксплуататоров и все спорные дела решает в их пользу, игнорируя интересы крестьянства. Ссылаясь на сообщения газет «Волжский вестник» и «Неделя», Успенский подробно останавливается на деле купца Уткина, незаконно купившего у башкир сто тысяч десятин земли со строевым лесом по восемь копеек за десятину. Купленную землю он немедленно заложил в банке за крупную сумму. Достоверность этих махинаций подтверждается и материалами Н. В. Ремезова, приведенными в книге «Очерки из жизни дикой Башкирии». В другом случае братья Коловские запродали крестьянам триста десятин земли, не совершив купчей крепости, ограничившись словесным договором. Крестьяне три года расчищали купленные луга, а когда земля стала приносить доход, Коловские перепродали луга и начали взыскивать с крестьян шесть тысяч рублей за трехгодичное пользование землей. Суд стоял на стороне собственников. Подчеркивая на примере проделок Коловских торжество беззакония, писатель с горечью резюмирует: «В этом деле сосредоточены самые типические и вместе с тем самые заурядные черты всякого хищнического дела». А. М. Горький называл Успенского «отличным знатоком крестьянства», и это как нельзя лучше подтверждается в очерках о жизни переселенцев в Башкирии. Центр тяжести в очерках переносится с персонажей на массовые сцены, что способствует типизации изображаемой жизни. Большим подспорьем для создания произведения послужил Успенскому богатый материал, почерпнутый из самой гущи жизни: личные знакомства, встречи в пути, беседы с крестьянами, разнообразные случаи, происшествия, дорожные мытарства, а также местная пресса, знакомясь с которой он внимательно искал факты, относящиеся к переселенческому вопросу.

«Оренбургская система» — указывает Успенский — оставила около 170 тысяч душ без возможности иметь собственные земли, тогда как помещики владели тысячами десятин незаконно захваченных земель. Несмотря на большой поток переселенцев, бескрайние девственные башкирские степи казались пустынны и безлюдны. «На каждом шагу, — пишет он, — невольно ощущаешь горячую, любовную заботу природы о том, кто непременно должен здесь жить и для которого эта любящая

мать-природа приготовила пышную, роскошную встречу». И вот перед взором очарованного природой путешественника предстает Трехсвятский хутор: «Какие-то черные груды, напоминающие в кучки сложенный торф или кизяк, небольшого размера... и нет никакой возможности представить себе, чтобы здесь могли жить люди». Такого рода землянки встречались у новоселов везде. Они имели вид просто кучи земли, дерна, мусора, наваленного на одно место, где по большой трубе, сколоченной из досок или просто плетеной, обмазанной глиной, и двух дыр — одна с кулак, другая немного побольше — для окна и двери — можно догадаться, что это человеческое логовище. Показывая мельчайшие детали быта, писатель замечает, что «золотые руки» нашей крестьянки придают уют даже «ужаснейшей конуре». Крестьяне «удручены не горем, а полным отчаянием», выражавшемся в молчаливом вздохе окаменевшего человека. Посетив землянки переселенцев, писатель увидел у их порогов «то самое «разбитое корыто», которым с незапамятных времен и начинается и оканчивается всякая русская волшебная сказка; начинаясь в тоске и страдании, продолжаясь мечтаниями о светлом привольном житье, она после целого ряда бесчисленных мучений, перенесенных искателем приволья, приводит его опять-таки к горю и страданию, и перед ним «опять разбитое корыто».

Мимолетные светлые картины разрушаются печалью действительности. Жизнь переселенцев служит образчиком «последнего предела», до которого могут довести людей уткины и коловские... Причину массового обнищания крестьян писатель связывает с общегосударственной системой России. В очерках неоднократно затрагивается вопрос об отношении к нуждам крестьянства правительства и его учреждений, которые не проявляли никаких забот о переселенцах. «Там, где, кроме бурьяна, ничего не уродилось в течение трех лет, обильно уродилась огромная недоимка, прежде всего, конечно, Крестьянскому банку». Бесконечные мытарства, полная неразбериха и сумбур в области землеустройства — все это отдавало переселенцев во власть всевозможных темных дельцов. Вместе с тем писатель подчеркивал, что в посещенных им местах есть все условия для того, чтобы труженик развернулся во всю свою силу, стал хозяином земли. Но развернуться переселенцу не дает «обширное отечество», под эксплуатацию которого попадает каждый безземельный, пришедший на земли обетованные.

Из-за попустительства властей и чиновничьего бездушия, из всего количества крестьян-переселенцев смогли «прочно устроиться только 9%». Переселенческая политика царизма, по словам В. И. Ленина, вся «насквозь проникнута азиатским вмешательством заскорузлого чиновничества, мешавшего свободно устроиться переселенцам, вносившего страшную путаницу в новые земельные отношения, заражавшего ядом крепостнического бюрократизма центральной России окраинную Россию»[1].

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 405.

* * *

Сочинения Г. И. Успенского — это целая летопись жизни народов России, наполненная фактами, цифрами, статистическими таблицами, красноречиво свидетельствующими о народном горе. Путешествуя по башкирской земле, будучи очевидцем происходящего здесь произвола, писатель с возмущением говорит о тяжелейшем положении коренного населения. Не случайно в начальной редакции первый очерк, посвященный изображению жизни «сына степей», носил название «Башкир пропадет». Издавна башкиры владели обширными земельными угодьями. И когда началось варварское ограбление их земель, сложилось мнение о гибели народа: «Пропадет башкир, пропадет! Беспременно пропадет этот самый башкир! Вот одна из тех особенностей, характеризующих современное положение Оренбургского края, о которой, прежде всего другого, всесословная молва встречных людей всякого звания, как говорится, «прожужжит уши»... Только то, о чем всесословная молва «прожужжала уши», и еще то, что беспрестанным повторением под разными видами «мозолило глаза» однообразием своей сущности,— только это и будет пересказано в настоящих заметках, о чем и считаем нужным предупредить читателя заблаговременно. Итак, в числе наиболее «прожужжавших уши» суждений всесословной молвы молва о предстоящей гибели башкира, по крайней мере в пределах расхищенных у него земель, — отмечает Успенский уже в самом начале своих очерков, — занимает первенствующее место во всяком случайном разговоре со всяким случайно встреченным местным обывателем. Молва эта гласит, что зародыши горькой участи башкира, то есть его гибели, оказываются приметными весьма давно, только сын степей не замечал этого до сей минуты, то есть до того печального времени, когда сын степей, наконец, и сам убедился, что ему, действительно, пришлось пропадать».

Защищая интересы башкирского народа, Успенский говорил о необходимости установить определенный порядок документации на право владения землей: «Почему бы, подобно системе владения по крепостному праву, отмененному единовременно для всей России, — писал он, — единовременно же не порешить и с системой подложного владения, легшего в разных видах, в основание земельных порядков Оренбургского края?». Для разоблачения обмана, подлогов писатель использует слова и выражения, раскрывающие настоящий облик расхитителей земли, отмечает, что договоры заключались «только среди семейств одних хищников». Попытки башкир протестовать против различных сделок не приводили к каким бы то ни было результатам. А формы сделок нередко были в духе гоголевских «мертвых душ». Отмечая, к примеру, незаконность сделки генерал-губернатора края Н. А. Крыжановского, Успенский иронизирует: «Говорят, что необходимое количество подписей было отобрано от древнейших, едва живых стариков, от едва ставших на ноги подростков и, наконец, «по безграмотству»

были перечислены, как «согласные», даже и мертвые башкирские души».

Жалкое существование «сына диких степей», показанное во всей его неприглядной наготе и правдивости, башкирская жизнь, оставившая угнетающее впечатление благодаря жестокой колонизации края, которая довела коренных жителей Уфимской и Оренбургской губернии до грани нищеты, рождала у писателя тревожные мысли о гибели этого народа... Реалистические картины башкирского быта, нарисованные художником в первом очерке, действительно, оставляют удручающее впечатление. Описание положения дел края начинается с изображения жизни башкирского народа именно потому, что коренные жители оказались в гораздо худших условиях, чем остальное население Башкирии. Положение переселенца очень тяжелое, но, несмотря на это, русский мужик находит силы посочувствовать горькой участи еще более угнетенного «сына степей»: «Пропадет башкир, пропадет! Беспременно должен пропасть этот самый башкир!» — с искренним соболезнованием предвещает новый житель покинутых башкиром пространств и, пожалев «пропащего» нехристя, перекрестившись, берет в руки топор, предварительно поплевав на ладони. Взяв этот топор и сказав: «ну-ко, господи, благослови!» — он с обычным облегчающим грудь передыханием начинает, благословясь, валить под корень первое дерево для сруба своей собственной избы, на покинутой «пропащим» башкиром девственной земле».

Выражение «Пропадет башкир, пропадет» нередко трактовалось излишне прямолинейно — как синоним вымирания целого народа. Однако это не соответствует действительности: несмотря на невыносимо тяжелые условия жизни, башкиры не вымирали. Статистические материалы свидетельствуют об обратном: даже в дореволюционное время наблюдался прирост численности башкирского населения. Акцентируя внимание на «гибели» башкирского народа, писатель-демократ тем самым призывал общественность активно вмешаться против расхищения природных богатств края.

Успенский не считал себя писателем изящной словесности, а скромно говорил, что он изучает «мужика» и, по его выражению, проделывает много черновой работы. Современники не раз ставили писателю в упрек его пристрастие к жанру очерка. Обращение Успенского к этой художественной форме объясняется тем, что очерковая литература очень много занимается изображением народной жизни. В очерках «От Оренбурга до Уфы», да и в других произведениях сказались особенности таланта и творческого своеобразия (в данном случае — собственные впечатления от поездки в Башкирию) и — что особенно важно — само его отношение к отображению действительности. Для изучения же и изображения народной жизни и среды очерк — самый оперативный жанр — был, по мнению Успенского, наиболее подходящей художественной формой. Очерки «От Оренбурга до Уфы» передают факты в таком виде, как они представляются наблюдательному взору

писателя, реалистически знакомят с положением дел в Оренбургской и Уфимской губерниях. Для Успенского «Россия была... библиотекой, в которой он всю жизнь рылся, изучая народ» [1].

Гражданский пафос очерков прежде всего в том, что в них, с одной стороны, изображается бедствующий народ, а с другой, — царская администрация, равнодушная к страданиям народа. Мрачный колорит повествования несколько смягчается благодаря поэтическим описаниям бескрайних башкирских степей. С большой теплотой и лиризмом рисуя красоту и богатство природы, писатель утверждает: «Все, что дает человеку счастье, все до мелочей, кажется, предусмотрено этой заботливой матерью, бесконечно любящей свое любимое детище — человека». Но светлые мечты развеиваются при виде ужасающей нищеты башкир и крестьян-переселенцев. Отсюда — антитеза — один из основных приемов изображения действительности: контраст между мечтой, навеваемой привольем башкирских степей, и тяжелым положением народа.

Очерки «От Оренбурга до Уфы» — синтез беллетристического изображения действительности и публицистических рассуждений, причем последние превалируют. В произведении по существу нет художественных образов, занимающих центральное место. Этот жанр требовал не только углубленного изучения действительности и реалистического ее отображения, но и позволял активно вмешиваться в живую практику переустройства народной жизни. Писатель изображает то, что он сам лично видел или слышал, и этим добивается документальной достоверности повествования. «Почти все свои писания он ведет от первого лица, почти во всех говорит о своих ощущениях, о своей боли, своих исканиях и сомнениях», — отмечает В. Г. Короленко и считает это следствием того, что Успенский «стремился к одной только правде, хотя бы и болящей, но и истинной» [2].

Творчество Г. И. Успенского не утратило не только познавательной и эстетической ценности, но и несомненного воспитательного значения и в наши дни, особенно в нравственном аспекте, поскольку оно, по словам В. Г. Короленко, насквозь пронизано «необыкновенной чуткостью к вопросам совести...».

М. Рахимкулов, В. Сидоров

---

[1] Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.-Л., 1928, с. 305.

[2] Короленко В. Г. О Г. И. Успенском.— Г. И. Успенский в русской критике. М.-Л., 1961, с. 346.

ОТ ОРЕНБУРГА ДО УФЫ

I. «БАШКИР ПРОПАДАЕТ»

— Пропадет башкир! Пропадет! Беспременно пропадет этот самый башкир!

Вот одна из тех особенностей, характеризующих современное положение Оренбургского края, о которой, прежде всего другого, всесословная молва встречных людей всякого звания, как говорится, «прожужжит уши» всякому, незнакомому с этим любопытнейшим краем, раз этот пришелец пожелает что-нибудь разузнать о нем.

Гибель башкира, начатая хищником побольше сотни лет тому назад и уже на нашем веку выразившаяся в самых бесстыдных размерах и приемах, не требует подробного изложения, во-первых, потому, что оно не исчерпано даже и в двух томах добросовестнейшего труда Н. В. Ремезова, а во-вторых, потому, что у всякого впечатлительного русского человека позорное дело расхищения башкирских земель оставило столь неизгладимое впечатление, что никогда не забудется и без напоминания об этом позоре.

В общих чертах можно сказать только одно, что «подлог» есть первоначальник так называемой культуры Оренбургского края. Он есть то зерно, которое первым занесено из недр нашего отечества на девственную почву башкирских земель и которое, разрастаясь тончайшими и бесчисленными нитями своих бесчисленнейших ветвей и отростков, опутав взаимные отношения людей хищнического общества, сумело прорасти и в оберегающие закон учреждения, разрослось и здесь, и переплелось отростками и ветвями в единую, темную, дремучую, как глухой темный лес, кляузу.

Учреждение Дворянского и Крестьянского банков, кажется, должно приступить к расчистке этого дремучего

леса. На основании беззаконных, подложных документов на владение похищенной у башкир земли можно было десятки лет эксплуатировать так или иначе беззаконно захваченную землю, имея дело лишь с частными лицами. Банки уже не то, что частные лица, и чтобы дать денег под залог частного имущества или же приобрести это имущество для переселенцев, банк должен иметь в руках действительно *подлинные* документы на владение. Но вот таких-то документов немалое количество владельцев, по-видимому, вовсе не имеет. В бытность мою в Уфе, общественное мнение было сильно взволновано делом, касавшимся именно этих подлинных документов, необходимых для представления в Дворянский банк, из которого долговременный владелец обширной земельной собственности желал получить солидных размеров ссуду. Административный совет, которому подлежит решить, *можно ли признать землю, предлагаемую в залог, выделенною из башкирских владений или нельзя?* — распался, как гласит молва, на две совершенно враждебные партии: трое стоят за невозможность утвердительного ответа, остальное же большинство упорно отстаивает владельческие права, хотя представитель межевого дела, после самого тщательного изучения всей продолжительной тяжбы владельца за свое право, со всевозможными «инстанциями», мог вывести только *предположение,* что земля *«должно быть»* или *«кажется»* принадлежит владельцу. А материалы для такого заключения — целые горы бумажной переписки за целые десятки лет!

Не подлежит никакому сомнению, что такие *неподлинные* владельческие документы замучают бесконечными и в то же время бесплоднейшими, продолжительнейшими хлопотами новые кредитные поземельные учреждения и в особенности изнурят переселенцев ожиданием той отдаленной (вследствие канцелярской проволочки) минуты, когда можно будет узнать, продадут им или не продадут подлежащий сомнению участок? Замучают и изнурят эти «неподлинные документы», главным образом потому, что, во множестве случаев, они имеют формальные достоинства вполне подлинных документов.

Множество владельцев, вроде Бунакова, имеют в руках *приговоры* башкирских обществ о продаже ими участков тем или другим лицам, и такие лица имеют полное право и продавать свои владения и закладывать их без всякой опаски, что и практиковалось ими беспрепятственно до настоящей минуты. Препятствия, без всякого сомнения, были, и не один приговор оспаривался башкирами судеб-

ным порядком, а иногда и явным сопротивлением, но общее хищническое направление идей всегда умело достойным образом покарать протестующих. Напуганные этою карой, башкиры притихали на долгое время, но явная гибель, которая грозит им, по-видимому, вновь возбуждает в них стремление к протесту, так как и сейчас всесословная молва толкует о том, будто бы в высших правительственных сферах найдено необходимым начать проверку не только документов на владение явно не подлинных, но и таких, которые вполне безукоризненны в формальном отношении.

Но если бы даже башкиры и могли бы, паче чаяния, иметь какой-нибудь успех в возвращении своих владельческих прав, все-таки нельзя не видеть, что успех этот будет случайным и во всяком случае запоздалым. Возвратив незаконно отнятую территорию, башкир непременно должен отдать ее законным порядком, так как ему нужны деньги, так как деньги-то и испортили его.

Начал он свою погибель с семикопеечной аренды, отдавая тысячи десятин земли за тысячи копеек. Несомненно, что копейка убавила размеры его личных забот и положила начало любви к праздности; поэтому, когда вместо копеек стали предлагать башкиру рубли, он уже не мог не соблазниться ими. За долгосрочными копеечными арендами пошли рублевые купли на вечные времена. Покупки навсегда отняли у башкира огромнейшие территории его владений, и, зная теперь, что он уже не хозяин в этих владениях, он передвинулся от них подальше, на новые, девственные места. Но и тут не мог угаснуть в нем аппетит к копейке и рублю, тем более что появился новый возбудитель этого аппетита.

Прежде был хищник, теперь пришел переселенец и стал предлагать башкиру гораздо большее количество копеек за десятину земли, чем давал хищник. Хищник давал семь копеек, а переселенец семьдесят, то есть немного меньше той цены, за которую башкир не так давно решался продавать землю на вечные времена. Как не отдать в аренду и той земли, на которую башкир только что передвинулся? И отдает башкир опять новые огромные территории, отдает пока только в аренду, но идут года, и приходит опять сокрушитель башкира, настигает его тот же переселенец, которому опять стало мало земли и который опять сует башкиру деньги за аренду.

Привыкнув уже к рублям, к сотням и тысячам рублей, башкир теперь, при последнем, так сказать, издыхании, стал «драть» за аренду под озимое не меньше как рубля по

три, по четыре, чувствуя, что пришельцы «нуждаются» в земле, что она примыкает к арендованной или купленной ими через Крестьянский банк. Но не хватит у него, расслабленного в своих хозяйственных порядках притоком денег, то есть правом безделия, сил противустоять соблазну, который неминуемо предстанет перед ним. Переселенцы разочтут, что высокая аренда тяжела для них и что лучше и эту новую, подходящую землю прикупить. И вот опять башкир передвинется подальше в четвертый раз, и опять туда придет бородатый человек, потолковать насчет «земельки».

Велики, конечно, те пространства больших башкирских владений, куда отодвигается понемногу башкир, но велики и силы, наступающие на него, и раз он не сумел так или иначе противостать этим силам, будущность не сулит ему ничего иного, кроме оправдания пророчества и предвещаний, которые сулят башкиру новоселы.

— Пропадет башкир, пропадет! Беспременно должен пропасть этот самый башкир! — с искренним соболезнованием предвещает новый житель покинутых башкиром пространств и, пожалев «пропащего» нехристя, перекрестившись, берет в руки топор.

— Ну-ко, господи благослови! — молвит он с обычным облегчающим грудь передыханием и начинает, благословясь, валить под корень первое дерево для сруба своей собственной избы на покинутой «пропащим» башкиром девственной земле.

II. ПРОСТОР И БЕЗЛЮДЬЕ

В настоящее время весьма обстоятельно выяснено, что переселенческое движение крестьян из внутренних губерний прежде всего направилось в Оренбургский край. Жалкое и поспешное расхищение башкирских земель не может быть понято во всем объеме, если не принять во внимание, что хищник, захватывая огромные и в те времена действительно почти необитаемые пространства башкирской земли, совершал это дело с самыми определенными и очевидными целями; он знал, что необитаемые места не останутся необитаемыми и что в самом непродолжительном времени придут арендовать и покупать их несметные массы дозарезу нуждающегося в земле крестьянина.

Не подлежит также сомнению, что нуждающийся в земле человек был давно уже запримечен хищным глазом хищного человека, и хотя во времена расхищений такой человек появлялся в крае еще в самом незначительном ко-

личестве, а видом своим и нищенским попрошайничеством «Христа ради» ни в какой степени не походил ни на арендатора, ни на покупателя, — хищный глаз уже видел, что именно этот-то нищий в самом скором времени и станет оплачивать каждую затраченную им копейку полным рублем. Могущество всякого кулака, всякое хищническое богатство всегда созидается бедным, нищим человеком, и оренбургские хищники башкирских земель не могли быть исключением из общего правила.

Мы знаем, что хищное чутье и предвидение не обманули хищников. Первая переселенческая станция была устроена как раз в преддверии Оренбургского края, в Сызрани, устроена гораздо ранее таких же станций в Тюмени и Томске. Известно также, что в первые два-три года в отчетах сызранской станции количество проследовавших через нее переселенцев значилось уже в тысячах семейств. С тех пор движение в Оренбургский край шло непрерывно и непрерывно идет по сей день; ниоткуда не было такого обилия корреспонденций и целых статей (особенно в провинциальных изданиях), касавшихся переселенческого вопроса, как именно из Оренбургского края. Казалось бы, что в настоящее время, то есть в наши дни, пустопорожние башкирские земли должны быть уже достаточно заселены переселенцами из внутренних губерний и что пустыни постепенно превращаются в жилые и оживленные человеком места. Но в действительности, несмотря на то, что заселение идет безостановочно и особенно усилилось после учреждения Крестьянского банка, все-таки четыреста верст пути от Оренбурга до Уфы по местности, наиболее населенной переселенцами (она прилегает к большой дороге), иногда поистине очаровательной, далеко не изобилуют человеческим жильем и не часто радуют встречей с прохожим или проезжим новоселом.

Объяснение такой видимой безлюдности, при непрестанном притоке переселенцев, таится в размерах арендуемой и покупаемой пришлыми крестьянами земли. Сведения об этих размерах мы находим в заметке К. Е. Сувчинского (заведующего оренбургской переселенческой станцией) «Переселенцы в Оренбургской губернии», напечатанной в настоящем 1889 году. Сведения, собранные в этой заметке, относятся к 1886 г., причем по сообщениям волостных и станичных правлений, количество переселенцев обоего пола исчислено в 109 485 душ, но г. Сувчинский, приведя эту цифру, отрицает ее подлинность и утверждает, что *действительная* цифра новоселов была к 1886 г. значительно больше, именно — от 150 до 180 тысяч. К тому же вре-

мени, из общего числа переселенцев, 73 831 душа [1] успели уже образовать 437 хуторов, преимущественно на арендованной земле; количество же общего пространства заарендованной переселенцами земли, определенное по сведениям, доставленным из уездов Оренбургской губернии, выражается в размерах, невозможных для крестьян внутренних губерний, именно: в Троицком уезде приходится *на двор* 38 дес<ятин>, в Челябинском 28 дес>ятин<, в Орском 33, в Оренбургском 22, в Верхнеуральском 18, а в среднем выводе 26 дес<ятин> на каждый двор, причем *двор* означает известное количество *платежных, а не наличных* душ.

Таким образом, оказывается, что крестьянский двор внутренних губерний, положим в *три* платежных души, имеет только 9 дес<ятин>, в пять душ — 15 дес>ятин<, и то в самом счастливом случае; тогда как *двор* оренбургского переселенца, в среднем выводе, имеет 26 дес<ятин>, то есть почти столько, сколько крестьянин внутренних губерний мог бы иметь на десять платежных душ, а такие семьи едва ли возможны, так как при десяти *платежных* душах *наличных* должно быть более по крайней мере в пять раз [2], а таких патриархальных семей давным-давно нет в черноземной России и в помине. Следовательно, двор примерно в три платежных души имеет в Оренбургской губернии втрое более земли, чем двор крестьянина внутренних губерний, и вдвое более, чем двор, имеющий пять платежных душ.

Все эти цифры, показывающие число переселенцев, хуторов и пространства заарендованной земли, относятся, как сказано, к 1886 году. Не подлежит сомнению, что с тех пор все эти числа увеличились в значительных размерах, чему особенно помогло учреждение Крестьянского банка, который в 1886 году мог уже содействовать покупке переселенцами 5893 десятины, причем число платежных душ было 1886, имевших 321 двор, в 11 хуторах, основавшихся пока в одном из уездов губернии, именно Оренбургском.

Приняв во внимание, что новые, после 1886 года, аренды и покупки нимало не стеснили переселенцев в размерах подворного количества земли (этому нет никаких оснований, — земли многое множество), можно будет легко по-

[1] Относительно остальных тысяч переселенцев сказано, что они «проживают среди более богатого местного населения, большею частью в качестве работников, так как не имеют средств обзавестись самостоятельным хозяйством» (стр. 3).

[2] В одном товариществе, купившем землю при содействии Крестьянского банка, *платежных душ* считается 50, а наличных — мужского пола 170, и женского 173, всего же 343 *едока*.

нять, почему безлюдность и обширность безлюдных пространств бросаются в глаза постороннему наблюдателю, прежде чем он заприметит те три-четыре землянки новоселов, которым принадлежит эта огромная территория, предусмотрительно запасенная не только для наличного количества душ, но и для будущих поколений, которые несомненно будут множиться. Четыре землянки, едва приметные даже и на самом близком от них расстоянии, владея земельным наделом хотя бы только на две платежных души на каждый двор, теряются со всем своим населением далеко в немалом пространстве двухсот десятин принадлежащих им владений. Хутор в пятьдесят платежных душ владеет уже тысячами десятин, о чем в великороссийских губерниях крестьянину и во сне не приснится. Иногда владения новоселов тянутся и вширь и вдаль на несколько верст, и вообще так обширны, что всему наличному количеству жителей, вплоть до ребятишек, если бы оно сосредоточилось для работ в одном месте или разбрелось для той же цели по огромной территории, можно было бы только потеряться среди этих обширных пространств, но уж никак не оживить их, — так малочисленно население сравнительно с размерами арендуемой им земли.

В нынешнем (89) году пустынность простора и безлюдность видимых глазом земель имели, кроме обширности владений, еще и особенную причину. Три года подряд надо всем крестьянским населением Оренбургского края тяготел неурожай. Не только был съеден весь хлеб, но распродан почти весь скот, и голодовка зимы последнего года в такой степени была повсеместна и ужасна, что правительство вынуждено было на одно только пропитание голодающих израсходовать до 200 000 р. [1]. «Проев» все, что можно было проесть, крестьянское население постепенно убавляло размеры посева, а в последний год сократило его до последней возможности, так как и семян было почти негде достать, все было съедено. Пережив три ужаснейших года, крестьяне и в нынешнем году пережили минуты глубокого отчаяния. Весенние морозы истребили всю рожь; за морозами начался палящий, иссушающий зной, и надо всем населением висела видимая и окончательная гибель. Но в июне и в июле хлынули дожди, и все, что не почахло и не было убито морозом, все ожило, и ожил упавший дух кре-

[1] Со слов крестьян, получавших пособия из этих 200 тыс<яч>, можно сообщить, что на каждую живую душу обоего пола и до пятилетнего возраста (всего 60 т<ысяч> д<уш>) выдано было по 2 р. 50 или 60 к., причем предполагалось, что денег этих должно хватить каждому, получившему пособие, на четыре месяца.

стьянства, хотя малый посев, очевидно, не удовлетворит не только всех крестьянских нужд, не поправит огромного хозяйственного расстройства, но едва ли будет достаточен и для домашнего обихода.

Там, где кроме бурьяна ничего не уродилось в течение трех лет, обильно уродилась огромная недоимка, и прежде всего, конечно, Крестьянскому банку, а затем великому множеству всякого рода учреждений, которые неумолчно теребят взыскания едва-едва устроившихся в непросохших землянках новоселов. Что-то нужно получить волостному правлению, что-то требует сельское общество, к которому приписался хутор, и сквозь дебри едва тронутые топором, проникает к землянкам уже форменный *«окладной лист»*. И удивительное дело: какой-то невидимый для обитателей землянок гений, не ведомо где пребывающий, уже с точностью определил *доходность* местности, которая едва только увидела образ человеческий и в которую до появления переселенцев ни единый живой человек не заезживал и не захаживал. А между тем невидимое существо с точностью обозначает цифру доходности, — вот она: 963 р. 81 к. Да, даже до копеек сосчитана доходность местности, в которой только что устроилось несколько землянок, и сообразно с цифрой доходности устанавливается с нее процентная сумма платежа: столько-то рублей и столько-то копеек. Вообще, в землянках новоселов уже накопилось такое количество всякого рода бумаг, которое, кажется, превосходит количество посевов, предназначенное на покрытие всяких требований, начертанных на этих бумагах. Впрочем, о внутренней жизни поселков и хуторов будет сказано ниже.

Безлюдье, таким образом, увеличилось в настоящем году вследствие крайне малых размеров запашек. Незачем ходить в поле, когда там ничего нет. Но эти пустынные местности, открывающиеся взору путника по обеим сторонам дороги, вообще так всегда хороши, живописны и так настойчиво призывают человека к привольной жизни, что впечатление «безлюдья» и «пустынности» совершенно забывается под влиянием мечтаний о приближающейся минуте полного оживления этих прекрасных мест.

Весь путь от Оренбурга до Уфы вообще производит самое приятное впечатление. Приволье, обилие сил природы — чуются даже и в сравнительно невзрачных местностях, которые минуешь по дороге. Но иногда на протяжении двух-трех перегонов, то есть сорока-пятидесяти верст, случается проезжать поистине очаровательные места, не теряющие своей прелести ни на одну минуту. Места эти боль-

шею частью самые безлюдные, почти не тронутые ни плугом, ни топором, но на каждом шагу невольно ощущаешь горячую, любовную заботу природы о том, кто непременно должен здесь жить и для которого эта любящая мать-природа приготовила пышную, роскошную встречу.

Все, что дает человеку счастье, все до мелочей, кажется, предусмотрено этой заботливой матерью, бесконечно любящей свое любимое детище — человека. Разостлала она пологие тучные поля для посевов, а холмистые, с мягкими очертаниями, возвышенности приспособила для всего растущего, чему нужен солнечный припек; и луга, пышные и густо заросшие, придвинула к студеным ключевым речкам, иногда расширяющимся в небольшое озерцо; и как бы в охрану всего растущего от жгучих ветров, песчаных пустынь, от холодных суровых ветров из холодных пустынь севера, повсюду, там, где очевидно было «необходимо», разрастила она чудные рощицы; дуб, береза, липа, вяз — все как на подбор, все «первый сорт», все сильно, крепко, каждый лист блестит полнотою здоровых соков; но все это, «выращенное» с любовной заботой к человеку, не рвется ввысь и вширь, чтобы затмить поляне солнце или чтобы омрачить ее черными, сплошными тенями. Чудные рощицы, выращенные заботливой матерью по вершинам холмов, по краям полей, по краям узких ущелий, как заботливые няньки только лишь охраняют все, что нужно для счастия человека. Но человека этого пока не видно, хотя кажется, что он, как будто... уже тут... и притом повсюду... Вот и поет он, и девичьи хоры слышатся из-за горки и из-за рощи; и в речке плещутся и смеются ребятишки, стучит где-то топор... Материнская забота природы о благе человека, о просторе жизни его живой души до такой степени овладевает сознанием путника, что, видимо, безлюдные места кажутся ему наполненными кипучей, бьющей ключом жизнью.

III. НЕПРОЧНОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ПОКУПОК И АРЕНД

Однако пора перестать предаваться мечтаниям, навеваемым чудными картинами природы, и ознакомиться с положением не мечтательного, а действительного обитателя и жителя этих очаровательных пустынь. Ввиду такой практической цели необходимо заранее оградить воображение читателя от малейшей возможности впасть в тяжкий грех мечтания о каких бы то ни было благоприятных для края перспективах. «Настоящее» для его жителей таково, что у первого же порога первой переселенческой землянки исчезает в сознании очевидца всякое представление

не только о будущем вообще, но не приходит в голову и из прошедшего ничего такого, что бы могло дать хотя какое-нибудь уяснение настоящей, видимой, очевидной тяготы жизни, начинающейся за первым порогом первой землянки. У первого же порога первой землянки очевидец найдет то самое «разбитое корыто», которым с незапамятных времен и начинается и оканчивается всякая русская волшебная сказка; начинаясь в тоске и страдании, продолжаясь мечтаниями о светлом, привольном житье, она, после целого ряда бесчисленных мучений, перенесенных искателем приволья, приводит его опять-таки к горю и страданию, и перед ним — «опять разбитое корыто».

Ясное, всему обществу давным-давно известное расхищение башкирских земель не только не составило предмета судебного преследования, но даже и с экономической точки зрения не вызвало до настоящего времени никаких определенных мероприятий. Правда, по сведениям, собранным г. К. Е. Сувчинским, мы узнаем, что на основании высочайшего повеления от 10-го июля 1881 года получили в аренду казенную землю 1787 душ; но этот единичный благой пример не имел ничего общего с действиями местной администрации. За исключением протестов губернатора г. Щепкина и обличений сенаторской ревизии, вызвавших некоторое количество судебных преследований против нескольких единичных личностей, похищение у страны несметных земельных богатств не сделалось общим вопросом, затрагивающим экономические интересы всей страны, — и те деньги, которые уплачивались бы крестьянами в казну, уплачиваются ими хищникам, безнаказанно эксплуатирующим народную нужду.

Мы уже знаем, что из общего числа переселенцев, перечисленных к 1886 году (109 485), только 73 831 душа образовали 437 хуторов на арендованной земле, и вот какова прочность владения и оседлости этих людей на арендованных землях.

«*К сожалению,*— говорит г. К. Е. Сувчинский,— *большинство* этих поселков образовано на заарендованных землях *по условиям, не имеющим силы бесспорных документов,* а именно: из 437 хуторов,— 125 хут. 3211 дворов проживают по условиям, засвидетельствованным у нотариусов; 73 хут. 1933 дв.— в станичных или волостных правлениях; 41 хут. 1140 дв.— по общественным приговорам казачьих или башкирских обществ; 30 хут. 767 дв.— *по домашним условиям;* 20 хут. 347 дв.— по условиям, заключенным *у сельских старост и поселковых атаманов;* 18 хут. 219 дв.— в уездных полицейских управлениях; 2 хут. 19 дв.— *у приставов;* 3 хут. 129 дв.— с чиновниками управления государственными имуществами (хутора эти образованы на казенных землях, снятых в аренду с торгов); 1 хут. 12 дв.— в оренбургской палате уголовного и гражданского суда; 49 хут. 1143 дв.— *по словесным условиям;*

1 хут. 62 дв.— *у непременного члена;* 9 хут. 207 дв.— с управлениями отделов Оренбургского казачьего войска; 3 хут. 31 дв.— сведений не доставлено» (стр. 4).

Пересчитав тех лиц, которые без малейших сомнений в своем праве подписывали свои имена под договорами, *«к сожалению, не имеющими силы бесспорных документов»,* решительно удивляешься, почему между этими лицами не попадается ни аптекарей, ни пономарей, ни зубных врачей? С другой стороны, не менее удивительным кажутся и те три случая совершенно правильной сдачи земли в аренду «с торгов», которые практиковались чиновниками министерства государственных имуществ. Удивительно это как единичный случай действий «по закону», в то время как организация крестьянского землевладения предоставлялась в полную власть сельским старостам, приставам, атаманам, полицейским чиновникам, уголовной палате, непременным членам крестьянских присутствий и даже не самим этим присутствиям. Здесь берут деньги с земледельца по «словесным условиям», «по домашним договорам», по приговорам волостных и станичных *обществ* и просто по приговорам волостных и сельских *правлений.* По-видимому, всякое учреждение, которое может приложить к бумаге какую-нибудь печать; затем всякое хищное существо, притаившееся с своими «владениями» и боящееся какого бы то ни было прикосновения к своим фальшивым бумагам этой самой *«какой-нибудь* печати», но все-таки умеющее нацарапать «домашний договор»; наконец, такое хищное существо, которое окончательно боится не только «печати», но вообще трепещет при одном только виде бумаги, пера и чернила, и которое способно только *словесно* уверить арендатора-крестьянина в своем владельческом праве, — все это смешение языков решало земельный вопрос, важнейший для всей страны, по собственному своему усмотрению, вкусу, расчету и расположению духа. Ни один из решителей не имел с другим ничего общего; значение сельского старосты оказывалось равносильным значению чиновника министерства государственных имуществ. Хищник, боящийся пера, бумаги и чернил, равнялся в своих правах с уголовной палатой, нотариусом, полицейским управлением, непременным членом; *словесное уверение* оказывалось имеющим равное значение с отдачей земли в аренду «с торгов».

Для нас, как посторонних только наблюдателей оренбургских деяний, нет никакой возможности прийти к каким-нибудь определенным выводам о размерах царящей над массою переселенцев всякого рода незаслуженной ими

тяготы. Г. Сувчинский и в этом случае оказывает нам великую помощь. В его заметках мы находим характеристику тех разнообразнейших положений, в которых находится масса переселенцев, нуждающаяся (все как один человек) только в одном, именно «в земле»:

«Из общего числа переселенцев (109 485 д.) *только* 9,1 проц. устроилось *прочно* в поземельном отношении. Именно: 5,8 проц. приобрели земли на свои средства; 1,7 проц. при содействии Крестьянского банка и 1,6 проц. получили казенные земли в аренду, на основании высочайшего повеления 10-го июля 1881 года: *все же затем остальные, составляющие до 91 проц., собственной земли не имеют;* из них: 53,2 проц. проживают на заарендованных землях отдельными хуторами; 1,7 проц. в городах, 3,2 проц. на заторгованных землях и, наконец, 32,8 проц. в селениях бывших помещичьих и государственных крестьян или же в казачьих поселках и выселках.

Значительное число переселенцев, поселившихся среди коренного населения Оренбургской губернии, объясняется отчасти обилием земель, которыми пользуются местные жители, а затем *бедностью переселенцев, не обладающих достаточными средствами* для *того, чтобы обзавестись самостоятельным хозяйством,* и вынужденных проживать среди более богатого населения в надежде на заработки. Из числа означенных переселенцев 7740 семей, 35 792 души проживают в работниках 2696 семей, или 10 786 душ, то есть 34,6 проц.; занимаются хлебопашеством 2791 семья, или 15 005 душ —36,1 проц.; занимается ремеслами 1650 семей, или 7377 душ — 21,3 проц. и занимается торговлей 609 семей, или 2 627 душ —8 проц. Так как труд деревенских ремесленников, вследствие примитивных требований от них, оплачивается так же плохо, как и труд чернорабочих, то оказывается, что *свыше 55 проц. указанных выше переселенцев не имеют самостоятельных средств к жизни и находятся в самых плохих экономических условиях.* Отсутствие достатка подтверждается, между прочим, тем, что *большинство не имеет собственных домов,* а именно 59,3 проц.».

Вот каковы итоги долговременной организации народных масс «по оренбургскому» способу. Способ этот дал возможность *прочно* устроиться только 9% (10 181 д<уша>) из общего стотысячного количества переселенцев, насчитанных волостными и станичными правлениями, и из 150—180 тысяч, считаемых г. Сувчинским за проживавших в Оренбургском крае «в действительности». Из 10 181 счастливца оказалось только 6509 душ, которые смогли на *собственные средства* приобрести в собственность 42 065 дес<ятин>, устроить на них 30 хуторов с общим числом 1128 дворов; затем оказались счастливцами те 1787 душ, которые воспользовались высочайшим повелением о сдаче им в аренду 5604 десят<ин> казенной земли (девять хут<оров>, количество дворов не обозначено), и, наконец, едва народившийся Крестьянский банк также осчастливил нежданно-негаданно, «не по оренбургской системе», давши возможность приобрести 5893 десятины, устроить одиннадцать хуторов с 321 душой. Высо-

чайшее повеление и учреждение Крестьянского банка, как видит, конечно, читатель, ни в какой мере не могут быть включаемы в характеристику организации народных масс «по оренбургской системе»; точно так же не входит в эту систему организации и покупка земли на собственные средства. Приобретение имущества на собственные средства — дело столь постижимое и столь обязательное для всех приобретателей на всем белом свете, что не должно быть принимаемо даже и в малейшей степени во внимание, раз дело идет об исключительных качествах оренбургской системы организации масс и землевладения.

Таким образом, если мы исключим из имеющихся в наших руках цифровых данных все 10181 душу, устроившихся вопреки основной идее оренбургской системы, то сущность ее выразится в цифре 99 304 души, *не имеющих собственной земли.* Если же мы возьмем цифру *действительную,* достигающую 180 тысяч, то оренбургская система выразится в грандиозной цифре 169 819 душ, в течение десятков лет не добившихся возможности *иметь собственную землю.*

IV. ХУТОР НЕДОИМЩИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА

Заглянем теперь в один хутор, основанный года три тому назад новоселами и уже имеющий «по бумагам», во-первых, наименование, во-вторых, недоимку Крестьянскому банку с пенею за все шесть полугодий, и успевший уже утратить всякое право на какое бы то ни было снисхождение.

Дорога хоть и плоха и мало наезжена обитателями хутора, но живописный простор окрестностей, умеряя впечатление неудобства езды, возбуждает настойчивое желание видеть тех людей, которые, хотя и утратили все права на какое бы то ни было снисхождение, кажутся все-таки счастливыми уже тем, что так или иначе, а добрались до этих привольных и очаровательных мест.

Желание это осуществляется довольно скоро. Часа через полтора извозчик, указывая кнутом, говорит:

— Вон и Трехсвятский хутор!

Но глядя самым пристальным взглядом по направлению кнута, мы действительно видим *«что-то»;* но представления о хуторе, то есть о двух-трех избушках, хотя бы самых мизерных, о двух-трех соломенных крышах, над которыми вьется дымок, свидетельствующий о «жилом месте», этого мы не видим. Какие-то черные груды, напоминающие в кучки сложенный торф или кизяк, небольшого размера, разбросанные где попало, не дают ни малейшего

представления о человеческом жилье; удивляет даже скелет тележонки, примечаемый вами неподалеку от этих черных куч, и неожиданный лай собаки, когда нигде не видно ни единого человеческого существа и вообще нет никакой возможности представить себе, чтобы здесь могли жить люди. Однако живут. Лай собаки и «тпру!», произнесенное извозчиком, остановившим лошадей около одной из черных земляных куч, вызвали на божий свет живых людей, мужиков, баб с грудными младенцами, подростков. Оказывается, что народу много, очень много живет в глубине этих черных куч земли; маленькое окошечко смотрит из ямы, по краям которой в несколько слоев наложены толстые куски дерна, как кирпичи, и такими же кусками дерна застлана плоская крыша; нагнувшись в три погибели, можно заглянуть в эту, в буквальном смысле, конуру и в миллионный раз убедиться, что «золотые» руки нашей крестьянской женщины даже и такой ужаснейшей конуре могут придать облик некоторого уюта. Какой уют может быть в яме, вырытой в земле аршина в четыре длины и в три ширины? А вот оказывается, что может: стены вымазаны крепкой красной глиной, прилажена из той же глины печурка в аршин величины; в порядке приткнуты к ней кочерга, ухват, водонос, и люлька с ребенком качается в уголке. Шевелиться, ходить в этой клетке нельзя, — и вот вы видите, что люди, живущие здесь, как бы только жмутся друг к другу, спасаясь от непогоды или присев для отдыха, конечно «потеснившись». Заглянув в эту клетку, наполненную преимущественно женщинами и детьми, мы видим, что нас приветствуют поклонами, но что все приветливые люди удручены не горем, а таким отчаянием, которое нельзя высказать словами, которое притупляет способность слова, мысли и выражается в глубоком вздохе и мертвом молчании.

Молчаливые люди, как бы не имеющие сил очнуться, прийти в себя, выползают из своих нор, конечно, без шапок и без сапог и, вынужденные отвечать на вопросы нежданного агента банка, дают ответы как бы впросонках, без начала и конца; но это продолжается недолго; не договорил один, надумает и договорит другой, а вслед за ним и третий найдет, что добавить, и скоро полусонное состояние слетает с сознания толпы и начинается то, что определяется словом «галдение», но что в действительности есть самая жгучая потребность сразу высказать и выкричать все свои муки. Каждый говорит свое. Одновременно слышно: «банк», «пало две лошади», «неурожай», «господи-батюшка!» (стонет баба), «плант»... «обман»... «помирать!»...



«бог даст»... «адвокат». Крайнее нервное возбуждение, овладевшее толпой в момент взаимного излияния, неотразимо свидетельствовало, что у каждого из них и у всех вместе много-много накопилось на душе горького горя.

Разговор о том, как шло дело «с самого начала» и как оно пришло к мучительному сегодняшнему дню, всегда начинается «сам собой», даже без вызова со стороны постороннего посетителя. Вот выступает из толпы человек, который пережил все несчастья с самого начала до сего дня и который знает каждую мелочь, касающуюся жизни всех бедствующих теперь в «новом» хуторе его «товарищей», и всякий раз в пересказе о всех несчастиях, неудачах и бедствиях новоселов выясняются как последствия тех хозяйственных расстройств, которые побуждают оставить родные места, так и те неведомые, неожиданные затруднения, свойственные исключительно оренбургской системе землевладения, которые осаждают уже расстроенного человека и на новых местах.

Хутор, о котором идет речь, может служить, так сказать, образчиком «последнего предела», до которого могут довести людей эти местные оренбургские влияния, предоставленные последовательному своему развитию. Помимо коренных оснований общего расстройства новоселов, жители упомянутого хутора, возникшего три года назад, осенью прошлого года, вследствие двухгодичного неурожая и полнейшей голодовки, вынуждены были разбежаться с хутора «кто куда», побросали свои землянки, даже разрушили их, частью прямо потому, что озлобились на горькое горе жизни («рассерчали и разломали все!» — сказала мне одна женщина), частью потому, что каждый кусок дерева, каждый кирпич было «имущество», копейка, нужная на хлеб. Весною Крестьянский банк решил обезлюдевшее место продать с публичного торга, но весною же опять на хуторе появились живые люди. Промучившись и проголодав с семейством зиму в работниках, некоторые из них вспомнили о своих землянках и воротились.

Так как большинство переселенческих «товариществ» образуется из людей, собравшихся кто с борку, кто с сосенки (больше всего такие образуются из выходцев черноземной полосы внутренних губерний), то случайно сошедшиеся товарищи и разбежались из хутора по разным местам. Пользуясь этим и зная уже «порядки», те из товарищей, которым надобен был приют безотложно (много детей), решились возвратиться на старые места уже с расчетом, что можно воспользоваться, во-первых, оставшимся имуществом неизвестно где блуждающих товарищей, а во-

вторых, привлечь на новые места новых товарищей, которые еще и в мыслях не имеют счастия мечтать о землянке. Один из самых практических мужиков первый явился на старое пепелище, первый разломал чужие землянки и сделал себе землянку на две половины, а затем, собирая новое товарищество, стал переуступать оставшиеся, хотя и полуразрушенные землянки другим «припущенникам», обязываясь внести платеж примерно за одну душу (чего никто не делал), но выговаривал за это право пользоваться лошадью, если она была. Словом, ни одного шага не было без расчета, и все по «крестьянскому обычаю». Таким образом, к июню месяцу поселок был населен, но из «товарищей», записанных в купчей, было не более двух; все остальные были «припущенники», разобравшие «души» ушедших по частям, по кусочкам.

Между тем некоторые из старых товарищей, неведомо где пребывавших, прослышали, что на старом месте опять собираются «люди», и сами стали возвращаться. Но на своих местах и в своих землянках увидели чужих людей, которые оказались *законными* владельцами их имуществ и наделов, законными потому, что, взяв землянку и землю, они приняли на себя и огромный долг банку, оставленный возвращающимися, у которых нет уже ровно ничего, чтобы иметь право взять хотя капельную часть нововявленной «банковой» «души». Старые, по банку, товарищи встретились с новыми обитателями, не имея никаких средств к жизни, в ту минуту, когда эти новые уже успели, по наущению коновода, поделить по душам землю и сдали из двухсот десятин, которых не было средств обработать, пятьдесят дес<ятин> под покос какому-то купцу на два года. Расчет был такой: поделить арендные деньги по душам, обзавестись на них скотом и начать свое хозяйство. Но так как подобные отдачи в аренду, когда товарищество еще обременено долгом банку, требуют разрешения совета Крестьянского банка (банк может быть вынужден продать участок ранее срока аренды и тем возбудить иск арендатора об убытках), — то, вероятно, не будет утвержден советом и приговор хуторян, хотя для них и выгодный.

Таким образом, обыватели этого хутора, изъедаемые язвами непорядков домашних и оренбургских и приведенные нуждою к хищению, хотя и «по закону», чужого добра, но по закону же не имеющие возможности поправиться, стать на ноги и уже успевшие посеять семена злобы и вражды среди людей этих пяти едва приметных землянок («Две землянки, сломал, дьявол, чужих, для себя, да мою, дьвол, отдал чужому!» — злобно шепчет какой-то босой и

оборванный человек, шепчет потому, что уже боится дьявола, боится, что из-за хлеба в работники не возьмет), — представляют собою образчики «последнего предела», до которого могут быть доведены люди последовательным развитием неблагоприятных хозяйственной жизни причин. Здесь, как видим, люди дожили уже до нравственного падения, но причины эти настолько однородны для всего количества переселенцев Оренбургского края, что вообще во всех хуторах все новоселы непрестанно ощущают тревогу жить на свете.

V. ПОДСТАВНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Сведущие в делах Крестьянского банка лица, а также и те местные обыватели, которые имели возможность близко узнать положение оренбургских переселенцев, утверждают, что всякий раз, когда почему-нибудь окажется нужной проверка наличного состава крестьян, образовавших товарищество, — никогда не оказывается в наличности именно тех товарищей, *которым принадлежит инициатива покупки,* которые были доверенными от других товарищей и несли на своих плечах все хлопоты, вплоть до выдачи крестьянам купчей крепости. Так как такого рода проверки постоянно возникают из необходимости выяснить причину продолжительных неплатежей и так как неплательщики в объяснение этих причин во множестве случаев указывают на негодность приобретенной ими земли, то лицу, делающему расспросы, вполне естественно укорить самих покупщиков, сказав им примерно так:

— Теперь вы говорите — земля негодная. Зачем же вы добивались покупки, лезли в неоплатный долг и уверяли, что земля «первый сорт»? Ведь вы видели, какая земля?

Этот упрек сразу становит дело на надлежащую почву:

— Да мы ее, землю-то, впервые увидали, когда купчая в руки попала. А до того времени и слыхом не слыхали, какая-такая земля есть.

— Но ведь от вас же были доверенные, которые утверждали, что «лучше нам не надо»?

— Да ведь мы доверили им троим, потому что они сами первые в товарищи-то шли! Ежели наш брат хвалит, да берется еще уладить компанию, да за хлопоты берет кто что сможет дать, да и планы у него в руках с печатями, и все те он планы растолкует, — так как же мы не доверим? Мы здесь чужие; как и где купить — не знаем; денег у нас копейки нет, чтобы послать ходоков, а тут люди добрые сами берутся уладить, да люди-то такие же, как и мы

грешные, — мужики. Кажется, ведь никто худа себе не пожелает?

— Но ведь и член банка также нашел, что земли удобные?

— Так ведь член также нашим доверенным поверил. Он ведь не знает местов и, стало быть, сам должен спрашивать тех, кто знает, и, конечно, наперед всего наших же доверенных. Уж будьте покойны, сумеют последний булыжник в прекрасном смысле объяснить... Только бы с рук сбыть землю. Теперь мы вот как это знаем!..

— С чьих рук сбыть?

— Да с хозяйских! Теперь вот по нашей купчей значится, приобрели мы от советницы Андроновой, а почесть никто и в глаза ее не видал, знали ее только доверенные... Андронова-то госпожа и наградила их! Не для нас оборудовали, а для советницы! Вот в чем расчет-то!

— Когда же они вышли из товарищества?

— Да они и дня с нами не были на этих местах-то... Всучили купчую да окладной лист, и след простыл! Сегодня нет, завтра нет... Слышим-послышим, один на железной дороге в артельщиках, другой в городе в приказчиках... А мы пришли сюда — и сели на мели... Да два года неурожаю, а уж долгу наросло — выше головы!

Товарищей, не оказывающихся при проверке списков,— по словам людей, близко знающих дело, — вообще много в каждом новом поселении: иные уходят домой, в Европейскую Россию, соскучившись в новых местах, иные из боязни платежей; но во всех тех хуторах, иногда уже в сорок-пятьдесят дворов (землянок), где все жители поголовно, при малейшей попытке узнать их положение, начинают хаять купленный ими участок, всегда оказывается, что он куплен «по доверенности», что они только *теперь* видят, какая это земля, и что покупщики — «доверенные» исчезли неизвестно куда.

— «Удобная» было написано! Вон она какая удобная! Нанимали распахать десятину одного мужика, земли ему давали, сломал две сохи, плюнул да ушел.

— Лугов, вишь, пятьдесят десятин; эво, вон они какие, луга-то! Болото! Не то зубом, топором не возьмешь экой травы!

Словом, весь поселок до единого человека вопиет о собственной своей гибели; все на деле оказалось совершенно не так, как на бумаге, и нет во всей этой толпе ни единого человека, который, по-видимому, не был бы близок к полному отчаянию, причем вся вина сваливается на тех доверенных, которые «обделали дело», «всучили» и ушли.

Судя по отчету г. К. Е. Сувчинского (до 86 года), 46% всей земли арендовано крестьянами у частных владельцев, причем наибольшее число договоров, почти близкое к числу заключенных у нотариусов (34%) и в станичных правлениях (21%), заключено по словесным условиям — 12% и домашним (?) условиям — также 12%. Сроки же аренды таковы: самый дальний — 12 лет — 39%, затем наибольшее число аренд на 6 лет — 18% и, наконец, на один год — 9%. Таким образом, из огромной массы тех 90% переселенцев, которая до сих пор *«собственной своей земли не имеет»,* лишь 40% имеют возможность арендовать земли на 12 лет, а вся остальная масса в наилучшем случае еле одолевает 6-летнюю аренду, и затем сравнительно большое количество переселенцев (9,7%) в силах арендовать землю только на один год, причем из общего числа договоров на долю таких фантастических, как словесные и домашние, приходится 24%.

Всех этих черт, намечаемых цифрами, весьма достаточно, чтобы представить себе огромную массу крестьян, не ощущающих вообще прочности своего существования, перебиваясь со дня на день, зарабатывая деньги на аренду в работниках, живя в чужих избах, передвигаясь для заработков с места на место и не видящих впереди ничего, кроме непрестанной маяты из-за куска хлеба. Появление спасителя в такой измаявшейся среде, который сулит вековечную оседлость, показывает планы, сам собирает *себе* товарищей, говорит, что нужна только самая малая приплата (в том трагическом поселке, который описан выше, товарищи доплатили лишь 50 рублей, а 2000 с небольшим ссудил банк), не может не действовать на истинных мучеников самым возбуждающим образом: всякий, у кого есть что-нибудь продать, есть какая-нибудь коровенка, есть заржавленная соха, которой не было дела целые годы, всякий с радостию присоединяется к покупке: «Теперь есть на что понадеяться, земля будет; а там, бог даст, и все будет по-хорошему!»

VI. БОРОДАТЫЕ МЛАДЕНЦЫ

К сожалению, такие покупки «очертя голову», как и среда переселенцев, в которой «подставные» депутаты имеют постоянный и несомненный успех,— это среда наших так называемых *«курских»* переселенцев, крестьян ближайших к Москве, черноземных губерний.

Исторические влияния «Москвы» и условия хозяйства именно на «черноземе» никого так нещадно не побивают «на новых местах», как именно наших крестьян черноземм-

ной полосы. Сущность «московских» влияний, в самом элементарном виде, может быть определена как значительное ослабление в сознании крестьянина значения его личных интересов, домашних и вообще каких бы то ни было *личных* удобств жизни. Его «воля» до Юрьева дня была постоянным стремлением «убечь» из-под одного кулака под другой; когда же решено было лишить крестьянина своевольства в перемене и выборе кулаков и, в попечительной заботе о сельском населении, признано было за благо навеки прикрепить вольного к одному кулаку, тогда он понял, что он уже «сам не свой», и целые столетия как нельзя лучше оправдывал это свое решение.

Его женили не для него самого, а для того чтобы образовалось новое тягло, то есть новая платежная душа для пользы владельца. Нам уже известно, что владельцам до освобождения крестьян предоставлено было право людей, негодных в хозяйстве, больных, старых, калек, сдавать в зачет рекрут, причем все такие лишние для хозяйства люди переселились в западную Сибирь как пригодные будто бы для ее колонизации.

Не касаясь таких исключительных случаев, мы не можем не видеть, что, будучи уже освобожден, он в большинстве случаев поставлен был не в лучшее положение, чем оно было в старину: неправды, пущенные в ход многими беззаконниками при наделении его землей, оставили его попрежнему работником на чужих людей, ознакомили его с небывалыми штрафами за потраву, за клубнику, исклеванную курами, за два-три лишних взмаха косы на не принадлежащей ему земле; от него окопались канавами, и в конце концов, дожив до непомерных цен за аренду, достигавших до 25 р. за десятину на один посев,— он и ушел из дому, предчувствуя близость безнадежного положения. Унесен был он веянием «уходить на новые места», как былинка; увлечен этим веянием его наивный ум так же, как может быть увлечен наивный ум ребенка.

Перспективы об устройстве своего личного благосостояния у него нет, он не привык знать и желать с точностью того-то и того, из чего слагается его личное счастье и благосостояние, и потому нельзя не верить, что, отойдя от родных мест, он «пужается» как ребенок, который побежал в лес за птицей и «испужался» леса. Его раза два воротят с дороги домой и два раза повернут опять на дорогу. Его спасение тогда, когда он пристанет к партии, к людям, которые идут — не сомневаются. Но нужда может заставить его отстать от партии, остановиться, чтобы продать полу-

шубок, и он опять один и испуган, опять почти не знает, что с ним делается.

Ко всему этому, наивный утомленный человек, не знающий, что такое расчет в личных делах, идет в дальний путь почти без копейки, проедает имущество, и если в какой-нибудь деревне, станице кто-нибудь примет его с семьей в работники, так и сомнения быть не может, как он будет этому рад. И с этого первого пристанища на чужой земле начинается та многолетняя маята, с годовыми арендами, с передвижениями с места на место, которая в конце концов бросает измаявшихся людей в руки ловких посредников и сопровождается теми покупками земли «очертя голову», о которых мы уже говорили.

Во время проезда через Оренбург, на переселенческой станции, мне пришлось, единственный раз во все мои поездки видеть «своими глазами» несколько *«курских»* семейств, по-видимому не знавших крайней нужды и даже имевших некоторые *средства.* Для подлинного типа *курского* переселенца иметь средства — дело невозможное; курский — всегда без средств, без копейки, иначе он не был бы курским. Поэтому несколько курских семейств, не знавших нужды и имевших некоторые средства, были для меня явлением совершенно неожиданным. Народ, мужики и бабы, парни и девки были рослые, но какие-то мягкие, нежные; все молодые бабы были, так сказать, пышного телосложения, и девки, видимо, приготовились быть такими же пышными, как их замужние молодые сестры. Выражение лиц и в особенности глаз у всех этих мягких в суставах, нежных в телосложении людей всякого пола и возраста, было почти детски наивное; у ребятишек, пожалуй, еще и играли в глазенках искорки любопытства, но у пышных баб и «нежных» молодых мужиков ничего, кроме светлой, чистейшей наивности, не выражалось. По глазам трудно было отличить бабу от мужика, а обоих вместе от ребенка. Да и вообще в мужиках было что-то бабье, и на моих глазах молодой мужик нянчил ребенка, как истинная баба. Мне даже почудилось, что и от него пахнет теплым молоком, запах, который весьма ясно ощущался среди пышных баб, когда я вошел в большую комнату переселенческой станции. Все бабы были в какой-то суматохе: мыли рамы, подтирали полы, вообще прибирались. Глядя на это, я понял, почему именно мужики нянчат грудных детей, но затем с двух слов, которые сочла нужным сказать одна из пышных баб, я узнал, что вся суматоха происходит потому, что семьи собираются уходить обратно...

— Да давно ли вы пришли?

— А кто е знает!— выпрямившись, поправляя одной рукой повойник и держа в другой мочалку, мягким и веселым девичьим голосом ответствовала молодая пышная баба и смотрела большими, но истинно ребячьими глазами.

— С неделю как пришли!— прибавила другая и затем сразу все затараторили. Ни в ребятах, ни в девках, ни в бабах не было и тени мысли о какой-нибудь трудности предстоящего пути, все они точно в игрушки играли и все знали только одно, что надо мыть полы и рамы.

— Ты у мужиков спроси,— наконец сказала мне одна из пожилых женщин.— Спроси-кось, они там на дворе... Увспроси-кось!

Но и от молодых мужиков, которые пахнут женским молоком, тоже ничего путного узнать мне не пришлось.

— Ходили наши... трое... шш!.. шш!..— не то бабьим, не то детским голосом, растягивая слова, проговорил он и замолк, раскачиваясь с ребенком, завернутым в ваточное одеяло.

— Шш... шш... Там вон... старики... Шш... шш...

— Не раскачивай его!— тягуче пропела баба, во весь рост и во всей своей пышности стоя на крыльце с грязным ведром.— Дергаешь его. Полегоньку... да шушукай!..

— ...Шш... ну, ну, шш... Старики там...

Но и старики не блистали пониманием собственного своего положения и только как бы недоумевали о причинах своего появления в Оренбурге и решения почти тотчас же возвратиться обратно.

— У чиновника-то? Как же, были... ходили... Посылал он в три места...

— Что же, ходили вы?

— В одно-то место ходили...

— Ну и что же? Нехорошо?

— Как сказать? Неохота взяла...

— Отчего же? Если в одном месте нехорошо, отчего в другом не посмотреть? Далеко ли вы ходили?

— Да верст, почитай, за пятнадцать...

— Только за пятнадцать верст? и раздумали?

Молчание, раздумье и протяжный ответ:

— Народу не видать... Увспросить некого... Жутковато стало!

Нужно было восстановить в памяти этих пугливых людей все то, что делается у них на родине, и расписать им всю благодать, которую они, имея и скот и некоторый достаток, могут найти здесь. Надобно было, как говорится, «долбить» о предстоящем им разоренье, о том, что, уйдя из дому с достатком, они воротятся нищими, надобно было

даже напугать их детски наивный ум, чтобы он образумился хотя бы от испуга. В конце концов недоумевающие о своих поступках старики, неожиданно для них тронутые за присущие им бабьи качества и особенно указанием на то, что их бабы и ребята имеют здесь отличное помещение, не промокнут под дождем, не простудятся и не «помрут», а что тем временем они спокойно отыщут самое благословенное место, почувствовали сначала потребность вздоха, потом как бы вспомнили о самих себе и порешили еще раз сходить к переселенческому чиновнику:

— Надыть попытать!.. Люди вон на базаре толкуют, погибель, мол, здесь одна! Эво как!

— Мало ли что говорят. Говорят такие же как вы, пошли да воротились, да разорились.

Необходимо было самое непрерывное «долбление» в одну и ту же точку, чтобы мысль *о собственном* своем самосохранении, наконец, хоть немного возобладала над пугающими случайностями. Но при всем моем старании я оставил переселенцев, не будучи уверен в том, что они примут хотя какое-нибудь обдуманное решение, хоть они и повторяли несколько раз:

— Надыть попытать! Завтра пораньше надо к нему... Пока что поспрошаем...

К счастию, потом я узнал, что курские младенцы всякого пола и возраста наконец образумились и «принялись» искать «местов» по самым точным указаниям.

Таким образом, крестьянин черноземной полосы, у которого исторические влияния почти «отшибли» всякую смелость думать о средствах и путях к достижению собственного своего благополучия, даже и при благоприятных в материальном отношении условиях, все-таки не защищен от внешних влияний, даже просто внешних впечатлений, которые постоянно затемняют в его сознании неокрепшую мысль о праве на личное счастье и довольство.

С другой стороны, в этих же с борку и с сосенки собравшихся хуторах, изнывающих и стонущих от неурожаев и от «обмана», учиненного посредниками, несмотря на то, что всем поголовно нечего есть и уж вовсе нет возможности что бы то ни было и куда бы то ни было платить,— привычка знать, что живешь на свете для того, чтобы *платить,* оказывается и здесь, на новых местах, опять-таки преобладающей над личными заботами. Двенадцатилетний мальчик не только знает, как знает его отец, свои платежные обязанности, но в мельчайших подробностях может

рассказать о хозяйстве, и средствах всех до одного из хозяйств, образовавших хутор. Сколько кур, овец, огурцов, даже яиц — и то, кажется, знает до тонкости всякий про всякого и всякий караулит всякого, чтобы он вещь известной стоимости не проел «зря», а, продав, взнес бы в уплату в банк, а то если он не будет платить, то за него «прочим» придется отвечать, хотя «прочие» также ровно ничего не платят.

Оборванный, голодный и холодный обыватель одного хутора, уже не молодых лет, очевидно, до мозга костей проникнутый огромностью значения платежа и сам изнуренный им до последней степени, на моих глазах, с явным, до злобы доходящим раздражением, протестовал против попытки одного из товарищей продать свою избу.

Товарищ, выстроив себе избу, не мог, однако, начать хозяйства, потому что не хватило денег и лошадей; тогда он вздумал сделать так: устроил рядом с домом землянку (обмазанная внутри отличной красной глиной, она не всегда похожа на мышиную нору), а избу решил продать и на вырученные деньги купить лошадь, сабан и начать хозяйство. Бог даст урожай, тогда и опять изба будет. Кажется, что здесь худого, и кто вообще может препятствовать человеку жить в избе или землянке, да и задуманное товарищем дело задумано, как видит читатель, вполне резонно и умно. Однако крестьянин с отшибленным сознанием неумолимо кричал, даже пищал на сходе:

— Нельзя этого дозволить! Он дом продаст, деньги изведет, в банку не заплатит, кто отвечает? Все мы же в ответе!

— Мы всем имуществом в ответе,— не умолкая пищал он, трясясь всем своим голодным телом.— Как же он смеет самовольно поступать? Из-за него наше имущество опишут!

— Не дозволять ему никаким родом!— дребезжал он и бесновался среди общего хора толков.

К счастью, таких помешанных на подавляющем значении «платежа» стариков не часто встречаешь в новых хуторах.

Ко всему этому необходимо упомянуть едва ли не о самой существенной причине неудач черноземного крестьянина, поселившегося на новых местах. Это — вековая рутина приемов обработки земли, практиковавшихся черноземным крестьянином на старых местах. «Чернозем» и земледельческий труд на нем во внутренних губерниях далеко не родня с «черноземом» и обработкой его на новых местах Оренбургского края. Не раз нам приходилось слышать от

«курских» переселенцев, что у них заработная плата упала до самых ничтожных размеров, что для пахоты нанимают почти детей, двенадцати-тринадцатилетнего возраста, которым платят очень мало и поэтому не очень нуждаются во взрослых рабочих. Это будет вполне понятно, если принять во внимание, что так называемая «Соха Андревна» бороздит поля черноземных губерний целые века, только расшевеливая рассыпчатую землю; ходить за ней легко может даже и двенадцати-тринадцатилетний мальчик. Но та же «Соха Андревна», примененная на «нови», это то же, что столовая ложка при наливе парохода нефтяными остатками. На первом же шагу она прекратила бы свое существование, превратившись в прах, а вместе с ней и лошаденка потеряла бы всякую уверенность в возможности сделать что-нибудь путное для своего хозяина. Не преодолел бы, не измучившись вконец, этой нови и сам идущий за сохой черноземный крестьянин; никогда ему под соху не попадались камни, корни, крепкая, как сталь, глина, и никогда он не напрягал своих физических сил до такой степени, как должен напрягать их здесь.

Но если бы наш черноземный крестьянин, повторяем, являлся на новые места хотя с какими бы то ни было средствами, с каким-нибудь рублишком, оставшимся от окладного листа, то, быть может, он и приладился бы постепенно к непривычным условиям труда на новине. Утаенный рублишко дал бы ему возможность обзавестись скотом, приспособившимся к работе на этой неподатливой земле, приобрести орудия, подходящие к тем же качествам новины. Но в том-то и дело, что «московские влияния» совершенно отучили его от мысли хотя что-нибудь утаивать «на черный день», то есть на собственные нужды.

VII. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С «РУБЛИШКОМ»

Огорчительно это в особенности еще и потому, что, посещая хутора, населенные крестьянами из местностей, удаленных от Москвы на более или менее значительные расстояния, хотя и видишь общие для всех переселенцев трудности начала жить *сызнова*, но безнадежности их положения в будущем почти не ощущаешь или во всяком случае не думаешь о ней. Посторонившись от Москвы, каждый такой переселенец прежде всего не утратил возможности жить на свете «своей головой», «своим умом» и вследствие этого сумел-таки «первым долгом» припрятать в мотке ниток или в чулке некоторое количество недоданных рублишек. А это главным образом и помогает ему

поступать по возможности именно так, как велит ему «своя голова».

Впервые пришлось ознакомиться с обиходом жизни таких хуторян в один и тот же день, и притом через несколько часов после посещения хутора, населенного переселенцами с безнадежным будущим.

Оба хутора отстояли друг от друга в двух, много в трех верстах, и возникли в местности совершенно, до мелочей, однородных качеств: та же ключевая речка, извилистая, иногда переходящая в глубокие озерки, обросшие разнообразнейшей цветущей растительностью, тот же пологий к этой речке наклон всей чрезвычайно красивой местности, та же почва, та же крепкая, как сталь, и красная, как огонь, глина,— словом, все до мельчайших подробностей одно и то же. Что ж касается общего, в настоящее время, для всех переселенцев Оренбургского края материального расстройства, то об этом можно судить по следующему обстоятельству: день, когда пришлось быть на хуторе, населенном крестьянами из отдаленных мест, был праздник апостолов Петра и Павла. В честь их и хутор носит название «Петропавловского»; так вот, в такой-то день своих патронов, в сорока дворах не нашлось рубля, чтобы пригласить священника и отслужить молебен. Все хуторяне сожалели об этом, но все-таки не в силах были собрать и рубля и вообще испытывали такую же нужду, как и черноземные хуторяне. Там говорили «съел»— лошадь, корову, овцу, то есть проел; в этом хуторе то же слово произносили по-малорусски: «зьив». В этом вся разница относительно истощения материальных средств обоими хуторами, то есть никакой. Но во внутреннем обиходе жизни между одним и другим хутором — разница оказалась весьма значительная.

Хутор этот населен крестьянами из южнорусских губерний, а южнорусский крестьянин, как давно уже известно всем, недодал такое количество карбованцев, что в этом отношении не только черноземному (об этом и говорить нечего!), но вообще всякому счастливому обывателю отдаленных мест ни в каком случае нельзя и думать с ним поравняться. Если крестьянин великорусских губерний почти весь век свой жил, не жалея себя, то южнорусский крестьянин, напротив, испокон века не желал дать себя в обиду. Он ушел на новые места не потому, что нечем было «платить», а потому, что он не хотел платить и отдавать того, что нужно самому; знал он и претерпел все, что претерпели и претерпевают все великорусские крестьяне — и непомерные арендные цены, и штрафы за курицу, за те-

ленка, за потраву, за прикос, словом, знал и испытал все лежащие на народной массе обязанности; но когда великорусский крестьянин приходил от всего этого только к отчаянию и бегству «очертя голову», южнорусский только укреплялся в энергии обороны самого себя. Только силою его личной инициативы можно объяснить ту смелость и решительность, которую *ленивый* Хома, прославленный своею беспечностью, проявляет в настоящее время в переселениях действительно «на край света» из Полтавы, Чернигова — на Амур, в Уссурийский край, в глубину Средней Азии. Наш крестьянин внутренних губерний, и преимущественно, конечно, крестьянин черноземной полосы, может совершить этот путь единственно только «по этапу»; южнорусский делает это на свои средства, несмотря на то, что управление добровольного флота, ввиду препятствия этому, как предполагалось , неосмысленному движению, стало взимать (кроме 90 р. проездной платы) еще и залог с каждой переселяющейся семьи в 600 р. И все-таки каждый пароход везет на край света сотни семей южнорусских крестьян.

Хуторяне, о которых идет речь, «недодали», конечно, гораздо меньшее количество карбованцев, чем недодали их собратья, переселяющиеся на край света; но и тем количеством карбованцев, которое было ими припрятано, они сумели распорядиться весьма умно и основательно.

Прежде чем купить ту землю, на которой образовался Петропавловский хутор, крестьяне послали в Оренбургскую губернию доверенных лиц. Лица эти не *исчезли* из числа товарищей, как это постоянно случается в хуторах, набранных с бору и с сосенки, и все находятся на жительстве в хуторе. Эти доверенные искали подходящего места *четыре года,* и мало того, что искали, но исследовали качества земли, засевали маленькие лоскутки, дожидались времени жатвы. Это делалось в разных местах, и только после того как доверенные нашли подходящее место, в котором надо было жить и им самим, они приступили к покупке. Но и после совершения покупки переселенцы еще не тронулись со старых мест; предварительно они выделили из своего товарищества несколько человек, которые, прибыв весной на новые места, запаслись скотом и орудиями, распахали уже несколько десятин и засеяли. Когда прибыли переселенцы, у них был свой хлеб.

Раздел участков сделан был при помощи частного землемера, приглашенного также на счет товарищей. В хуторе «случайных товарищей» также сделан раздел земли по душам (то есть по деньгам), но хотя глазомер и выработан

нашим черноземным крестьянином в совершенстве, все-таки в случайном хуторе обыватели поговаривали о какой-то «ошибочке».

— Одна ошибочка действительно что есть!

— Есть ошибка, верно! Чего уж!

— Там, пожалуй, разглядеть, и побольше ошибочков-то найдется!

— Ну, чего уж!

Хуторяне-южноруссы, напротив, утверждают, что план и все эти клетки вполне верны, и все хуторяне довольны землемером. План сделан «на вечные времена», и вообще земля не выйдет из рук членов и семейств товарищества никогда. Та же самая, стальной крепости, глина, которая удручает нашего черноземного крестьянина, дает возможность южноруссам строить отличные, красивые, теплые землянки из так называемого «воздушного кирпича»— он красен, как огонь, велик, прочен и красив. И во всех мелочах домашнего обихода видна та же постоянная отчетливость и определенность в поступках.

Какая разница, хотя бы, например, в устройстве собственной хаты, землянки, избы и окружающих ее жилых хозяйственных построек в этих двух стоящих рядом хуторах.

У малороссов хаты стоят задворками к речке, и от самого плетня, огораживающего задворки, вплоть до речки идет огород, и здесь же во дворе кладовушка для овощей, погреб, все поблизости к хате.

— И *бабе* легче будет воду носить с речки,— говорил хозяин хаты, показывая свое хозяйство.

Перед хатой, которая ставится очень близко от холмистого подъема местности (чтобы не пропадала хорошая земля) и лицом к ней, также есть амбарчики, но за ними прямо идет выгон, где пасется скот.

— Вот из оконца *бабе-то* и виден скот... И волы и овцы!..

Два раза хозяин упомянул об облегчении бабьего труда, два раза он вполне ясно и точно объясняет каждый шаг в своем хозяйстве.

Но вот в соседнем хуторе, где есть и бабы, и огороды, и речка, и изба, но где люди до переселения весь век жили, «не жалея себя», там как-то не примечаешь особенной ясности ни в целях жизни, ни в поступках обывателя.

Изба, поспешно сколоченная кое-как, или та же землянка ставится здесь как раз наоборот, то есть лицом к речке. «на полдень»; затем перед рядом изб отведено огромное пустопорожнее пространство земли (которое у малороссиян уже под огородом) под «улицу», улица эта образуется из

ряда амбаров, противоположного ряду изб. Так как у амбара обыкновенно складываются бревна, сохи, бороны и всякий хлам и так как к нему надобно подвозить и зерно и овощь, то и между амбарами и кругом них пропадает также весьма много пригодного для огорода места. И так как лучшая часть земли, наклоненной к речке, истрачена без всякого толку, то огород, который, наконец, начинается за амбаром, оказывается малым, а для пополнения его разведен еще кусок огорода на задах, то есть пройдя двор и загородь для скотины.

Положим, хозяину приятно видеть свой амбар каждую минуту, приятно также, чтобы и дом стоял на «полдень», да и на речку весело посмотреть, «на крылечке посидеть, на улицу поглядеть»,— но ведь бабе-то (о которой и разговору нет, так же как не было и нет разговору о мужике) приходится таскать коромысла с водой на зады, через пустыри, между амбарами, через широкую пустопорожнюю улицу, через двор, через загородь, приходится подниматься из-под горы на гору, то есть совершенно напрасно тратить силу неутомимой работницы, которая к тому же редко когда не бывает *«тяжела»*.

VIII. ВЯТИЧИ

По счастию, в удовольствии видеть оригинальность и самостоятельность жизни «своим умом» никогда не ощущается недостатка, раз только хуторяне пришли на новые места из отдаленных от «Москвы» местностей. Разнообразие в обиходе жизни хуторян, случайно сделавшихся на новых местах самыми ближайшими соседями (на старых они жили в совершенно различных местностях), иногда выражается в таких необычных для каждого из этих «ближайших соседей» формах, что все они могут только недоумевать и дивиться, глядя на необычайные, для каждого из них, порядки в жизни друг друга.

— Не то что даром, а дай ты мне тысячу рублей, и то я в таких местах жить не буду!— не только искренно, а даже с некоторым испугом говорит извозчик из черноземных, дремучим лесом пробираясь с проезжающим по пятиверстной просеке к хуторам, населенным вятичами. И действительно, не только черноземному, приютившемуся на привольных местах и равнинах близ большой дороги, немыслимо даже и подумать о возможности жить так, как живут вятичи, но и южнорусский крестьянин, также весьма и во многом совершенно непохожий на черноземного, и тот бы испугался этих лесов, хотя и не пугается переселений на Амур. На русском и на малороссийском языках они

одинаково выразили бы испуг пред непостижимым для них размером труда, который положил вятский крестьянин хотя бы только в эту просеку.

— Ведь это дебрь непролазная!— сказали бы по-русски и по-малороссийски одинаково привыкшие к труду на безлесной равнине земледельцы.— Ведь тут и медведь-то, и тот заблудится, дороги к берлоге не найдет!

Глушь и дебрь, плотной, непроницаемой стеной стоящие по обеим сторонам узенькой просеки, вполне соответствуют этим страхам людей равнины, и заставляют почти забывать те мучения езды по просеке, которые приходится претерпевать на каждом шагу. На каждом шагу и телега и лошадь ломают свои колеса и ноги на пнях, которые поминутно попадаются на пути. Каждую минуту лошадь спотыкается на этих пнях, а колеса, ударяясь и затем со скрипом вползая на них, тотчас же раскатываются в глубоких выбоинах около каждого пня и ломают телегу беспрестанными судорогами и корчами. А ветви деревьев каждую минуту стремятся хлестнуть и лошадь, и извозчика, и проезжающего по лицу, по глазам и всячески стараются сорвать с проезжающих шапки.

Но дебрь, глушь лесная, несмотря на постоянную потребность самообороны во время езды по просеке, она-то и внушает мысль о размерах положенного на эту просеку труда. Могучие вековые деревья (дуб, вяз, липа, береза) высоко поднимаются над подростками, а подростки тонут в чащобе всякого рода растительности: прутняк, высокая трава, ползучие и вьющиеся растения опутывают и корни и ветки всего этого растительного живья душной и тесной дебри; хмель первенствует в этом опутывании и развешивает свои гирлянды по могучим сучьям и ветвям могучих деревьев, иногда до самой вершины.

Кроме тесноты и духоты живущей дебри, вся она переполнена массою уже почахлой растительности, иссохшим прутняком, огромными скелетами когда-то могучих стариков лесного царства, разбитых громом, изломанных бурей, свалившихся от истощения и по пути падения к сырой земле прекративших существование всему, что попадалось мертвому телу мертвого лесного великана. Но эта просека, изумляющая размерами труда, положенного в нее вятичем, еще только начало действительных изумлений, которые начинаются с той минуты, когда изломанная лошадь вывозит изломанную тележонку с изломанными прутниками из просеки на широкий простор полей.

Теперь уже не просека, шириною в три-три с половиной аршина, овладевает вниманием путника, а широкое прос-

транство засеянных и колосившихся полей, очевидно отнятых трудами тех же рук того же вятича и у того же дремучего леса. Среди широкого пространства засеянных полей, как улья огромнейшего пчельника, рассеяны массы пней, которые при пахоте и посеве несомненно надо было обходить и лошади, и пахарю, и косуле. Видишь, что косуля на каждом шагу должна была зацепляться за корни этих пней, которых, очевидно, нет никакой возможности вырвать из земли. Понимаешь, что и жнитво, возка снопов среди этих пней — дело непостижимой трудности, и понимая и видя все это, решительно не понимаешь, какая нечеловеческая сила могла совершить все это не более как в течение трех лет?

В три года сделана просека длиною в четыре-пять верст, расчищены и засеяны десятки десятин из-под леса, выстроено пять хуторов, от пяти до пятнадцати изб в каждом, при каждой усадьбе слажены все необходимые хозяйственные постройки,— погреба, помещения для скотины, навесы, наилучшим образом расчищены эти же дебри для огородов, где не подобает быть пням в таком количестве, как в поле, где борьба с ними на пространствах десятков десятин уже решительно невозможна. И это все совершено в три года, в три года положено прочное начало жизни на новых местах, в диких лесных дебрях, и продолжение устроения, видимо, не прекращается ни на одну минуту. Рубит и тешет топор, стучит в кузнице у речки молот, пилит пила; свежими щепками, обрубками, кучами нарубленных и очищенных для построек дерев полны все дворы, вся улица [1] и все незначительные пространства вокруг избы.

Непостижимо и непонятно все это для постороннего наблюдателя, точно так же, как и для всякого крестьянина, привыкшего к труду на безлесных местах. Но все эти загадки разгадываются самым простым образом, как только обыватель этих новых изб, заслышав звуки стонущей и охающей повозки, на минуту оставит свой топор и выйдет на улицу посмотреть, кого бог принес. И у этого крестьянина надеты на ноги лапти, та же на нем домотканая рубаха и прочая одежа, те же онучи, та же борода, словом, все то же во внешнем виде, что и у его ближайшего соседа, но живет он не так, как живет его сосед, и не так, как сосед, работает своей головой, и то, что его соседу смерть, то вятичу жизнь.

---

[1] Сторона улицы, противоположная ряду изб, образуется загородью огородов.

Дерево в обиходе его жизни имеет первенствующее значение; в каждой избе точно мастерская; на самодельных токарных станках выделываются ступицы колес, затем и самые колеса, и, наконец, целые повозки; стул, который выносит на улицу вятский переселенец и предлагает проезжему присесть, также собственного его изделия, и все эти поделки продаются на базарах ближайших сел и деревень, населенных старожилами. Лубок, лыко, мочала,— все это дело рук вятского крестьянина; короба, обшивка колесных и зимних повозок, приготовление мешков, корзин, лукошек, деревянной посуды и мебели,— все это говорит, что вятский крестьянин знает цену дремучему лесу. Но зная ему цену, он знает также, как с ним и справиться, совладать, покорить; кузница, да и не одна, составляет поэтому непременную принадлежность всякого хутора, населенного вятичами. Кузнечные молоты, не переставая, стучат по наковальням; топоры всяких размеров, пилы, земледельческие орудия, орудия, необходимые в кустарном производстве,— все это делает необходимым иметь две-три кузницы в каждом поселении вятичей: постоянно надо ковать, точить, сверлить.

Пила и топор, вот с чем начинает он дело, на официальном языке именуемое «лесоистреблением». Задача его — как можно скорее отодвинуть от себя эту непроницаемую стену леса, и он идет с своим топором и пилой не поперек подлежащей истреблению десятины лесной дебри, а вдоль ее, причем ведет в ней такую же просеченную дорожку, на которой ему можно действовать только в размерах, доступных его рукам в правую и левую сторону. И так как так же поступают все его односельчане, то ряды начатых ими просек, не более трех аршин ширины, быстро отодвигают стену дремучего леса; топор рубит, пила пилит и валит на землю все, что спилено и срублено, и шаг за шагом подвигается вперед хозяин пилы и топора и таким образом выбирается к свету, к ничем не заросшей полянке.

После очистки всего спиленного и срубленного, что требует несомненно большого умения и знания, топор сопутствует вятскому крестьянину и при превращении освобожденной из-под леса земли в пашню. При всяком затруднении, которое на каждом шагу должна преодолевать косуля, вятский крестьянин пускает в ход топор, рубит корни и дает возможность косуле и лошади продвинуться вперед. Вятские крестьяне утверждают, что ихние лошади сами чувствуют, когда не следует рваться и тратить свои силы бестолку, и останавливаются всегда, когда нужно облегчить их трудное дело при помощи топора. Кроме все-

го этого, лес необходим вятичам и потому, что пчеловодство в их средствах жизни имеет весьма немалое значение. В глухих дебрях, на полянках, к которым еще нет просек, повсюду рассеяны пчельники[1]. Ульи также составляют предмет своеручного производства вятичей.

Так идет своеобразная жизнь вятичей, и идет как и у всех, живущих на свой образец переселенцев, хотя и здесь, как и везде и у всех, долги и неплатежи, особливо Крестьянскому банку, возросли уже выше головы. Куча писаных и печатных требований, *касающихся* всякого рода платежей, и здесь собрана уже в большом коробе, конечно местного, кустарного производства. Здесь у вятичей общие для переселенцев требования и угрозы, не в пример прочим, даже еще пополнены собственными требованиями и угрозами переселенцев самих к себе; так, например, мирским приговором постановлено: «За порубку леса, как в общем, принадлежащем товариществу, так и в отдельных для каждого двора участках, вносить по 2 рубля за каждый дуб, по 1 р. за вяз, по 50 к. за воз дров, воз лык и т. д.», причем прибавлено: «а за озорство — по пяти ударов розог», а если озорство будет сделано и во второй раз, «то деньгами и розгами вдвойне». Даже и эта добровольно налагаемая вятичами на самих себя угроза и острастка, как соответствующая их собственным предначертаниям, все-таки понятна в своей оскорбительной для человека сущности, не в той бессмысленной и бесцельной оскорбительности, с которою эти же пять ударов получал и в наших волостных правлениях только за то, что человеку нечем платить недоимок. И все это, вместе взятое, то есть все сделанное вятичами, как и другими хуторянами, пришедшими из отдаленных мест, вполне сознательно, с целями вполне определенными, невольно радует за человека вообще, на каждом шагу

---

[1] При посещении вятских хуторов нам рассказывали об одном старичке, великом любителе пчеловодства. Каждую весну он на свои средства приходит к своим переселившимся односельчанам и учит их на новых местах всему, что касается его любимого дела. Осматривает пчельники, днюет на них и ночует, показывает, как и что надо делать, и когда сделает все, что нужно для успеха дела знать молодому поколению его односельчан, он уходит обратно домой.

И к нашим черноземным приходят с старых мест, но — увы! — приходят только за взысканием оставшихся за переселенцами недоимок и частных долгов. Появились какие-то антрепренеры, специалисты по части этих взысканий, выродившиеся из неудавшихся кабатчиков и кулаков. Общества сговариваются с ними на условия получения половины всего, что будет выцарапано ими при содействии местного начальства. В сущности же эти специалисты, не неся никакой ответственности пред обществами, только новый род разорителей народа.

проявляющего работу своей мысли и дающего, хотя на малое время, полную возможность не видеть в нем только неплательщика.

IX. СИБИРСКАЯ ДОРОГА И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Долголетний опыт выяснил нам неурядицу переселенческого дела (неразрывного с неурядицей в положении земледельческого класса на старых местах) исключительно только в образе множества человеческих существ, почему-то оказавшихся в безысходном положении. За исключением только что обнародованного (24 сент<ября> 1889 г.) законоположения об организации переселений на казенные земли, единственная *новая* черта, сколько-нибудь отличающая в наши дни всегда унылую картину переселенческого движения,— это значительно увеличившиеся размеры правительственной и частной благотворительности.

Правительство, выдававшее до настоящего года от пяти до десяти т<ысяч> на каждую из переселенческих станций, с будущего года увеличивает размеры пособий переселенцев более чем на сто т<ысяч> р<ублей>. Частные пожертвования с сотен рублей возросли до тысяч, но в то же время весной 1889 года сибирские телеграммы доносили до нас такие раздирающие душу стоны и вопли, каких мы не слыхивали до настоящего времени.

Быть может, именно эти раздирательные вопли и были причиною моих «мечтаний» о возможности наилучшим образом устроить и организовать переселенческое дело. Мечтания эти возникли одновременно с вестями и слухами о постройке Сибирской дороги и выразились в таких соображениях:

Когда менонитам, колонистам Таврической губернии, стал известен закон 1873 года воинской повинности, сто шестьдесят пять семей решились переселиться в Америку. Семь человек депутатов, которых таврические менониты послали в Америку, чтобы осмотреть новое отечество и выбрать подходящие для поселения места, объехали весь запад Америки, и как представители значительной партии переселенцев, они всюду пользовались *даровыми билетами* и *помещениями от тех железнодорожных компаний,* земли *которых они осматривали.* Выбор пал на долину Арканзаса, тогда еще *почти совершенно пустынную,* и вся земля под поселение была куплена *у компании железной дороги* по два доллара, с рассрочкой на одиннадцать лет, причем компания обязалась выстроить в центре купленной земли два больших дома для временного помещения имевших прибыть переселенцев. В 1874 году последовало переселение мено-

нитов. Дома были уже готовы, и с лишком восемьсот душ поместились в них. Менониты решили поселиться общинами и кинули жребий,— сперва между этими общинами, затем в тех из них, которые с самого начала решили перейти к участковому землевладению, между членами. В два-три месяца были построены жилища, *и дикая прерия обратилась в густо заселенную страну*. Дома, выстроенные железнодорожной компанией, были обращены один в школу, другой в церковь, и жизнь новых поселений пошла своим путем. Один очевидец, посетивший менонитов четыре года спустя, везде нашел станции и полустанки, через каждые три-четыре мили, повсюду элеваторы для хранения хлеба и приспособления для нагрузки скота [1].

Этот поучительный пример широко и плодотворно осуществленного дела,— заселения и оживотворения пустынь при содействии американских компаний железных дорог,— полагаем, окончательно затмевает суетные цели защитников и противников Сибирской железной дороги. И те и другие хотят только «укрепиться» на Тихом океане и не дать ходу китайцам, и все это в пределах только Приамурской области; на всем же остальном пространстве Сибири железная дорога стянет в Сибирь только темных людей со всей империи [2]. В Америке темных людей, несомненно, тьма-тьмущая; туда они стекаются не только со всех концов республики, но буквально со всех концов света; и однако же мы видим, что американские капиталисты, затрачивая огромные капиталы, думали не о темных людях, а о тех миллионах трудящегося народа, которым нет места в густонаселенных странах и которые хлынут на новые места, оживят пустыни, и у компании железных дорог образуется и продавец, и производитель, и потребитель.

Если бы в проект предполагаемой Сибирской железной дороги, как непременное условие, вошло и решение переселенческого вопроса, и если бы постройка шла вместе с заселением прокладываемого пути, то «первые же вагоны» привезли бы не сотню темных плутов, но массу переселенцев, народа, жаждущего земли, бедствующего от безземелья, привезли бы сотни тысяч и миллионы. И схлынуло бы в Сибирь на новые места прежде всего все то несметное множество рабочих рук, которое ежегодно не находит возможности применить свою трудовую силу и, истощенное голодом, массами возвращается с Кавказа, с Поволжья, со

[1] Подробный отчет о колониях менонитов в Америке напечатан в «Устоях», 1882 г., № 10, г. П. Дементьевым, лично посетившим колонистов на новых местах.

[2] «Вост<очное> об<озрение»>», № 30.

всего черноморского и азовского побережья. Схлынет еще более многочисленный на Руси — безземельный, истощенный тяжким и бесплодным трудом на лоскутке земли, арендуемой за большие деньги, и тысячами ссылаемый в настоящее время сельскими обществами как «вредный», хлынет и он, совершенно утратив необходимость быть вредным, и предпочтет краже огурцов или курицы работу на полотне железной дороги и наверное осядет там, где и работал. Схлынет туда все жаждущее земли, со всех концов России (как в Америке, со всех концов света), и все, что есть разноверного, разноплеменного, все объединится ближайшим соседством и взаимными отношениями.

При таких условиях не гремела бы Сибирская железная дорога пустопорожними вагонами, а везла бы миллионы производительных сил, везла бы все, что нужно для обихода жизни новосела-крестьянина, и тогда было бы дело и для торговли и для промышленности, было бы что привезть и что вывезть.

Сибирская дорога — это воскресение из мертвых несметного количества безземельных крестьян и вместе с тем воскресение из мертвых сибирских пустынь, оживотворение их живою жизнью, и вообще великое, всероссийское и всенародное дело. После всевозможного рода мероприятий, направленных к «упорядочению» переселенческого движения, спрашивается, до каких собственно существенных благ дожили тютемские горемыки? Дожили они только до бумаги, свято хранимой как драгоценность, у каждого горемыки на груди; в бумаге обозначен лотерейный номер надела, который где-то и кто-то нарезал горемыке в Сибири. Бывает, что безземельный и выиграет в лотерею «земной рай», но чаще всего он получает пустой билет, проиграв все свои рублишки до копейки, и плетется опять на старое пепелище. Еще горшее бедствие ожидает его, если он «завязит коготок» в кредите Крестьянского банка. Банк прежде всего отберет от него (в виде приплаты) все те рублишки, которые крестьянину необходимы, «дозарезу» необходимы, на начатие хозяйства на новых, только что купленных местах, и затем обременит безземельного огромнейшим долгом, не позволит ему рубить лес, если он есть, не позволит отдавать в аренду ни лугов, ни пашни, а через шесть месяцев, после полного истощения всех средств к существованию, потребует уплаты процентов и погашения. За шесть лет своего существования, Крестьянский банк изъял из крестьянских сбережений 15 020 235 рублей, да долгом обременил в 58 012 256 руб. И все это непомерное количество денег израсходовано для *покупки* (якобы) лишь

1 607 291 десятины; то есть на 752 721 существо пришлось лишь мечтательное владение еле-еле двумя десятинами.

Ни лотерейные билеты, ни затруднительные условия кредита в Крестьянском банке ни в малейшей степени не содействовали, не содействуют и не могут содействовать оживлению и заселению кавказских, оренбургских, среднеазиатских и сибирских пустынь. Пустопорожние вагоны гремят по всей Закаспийской дороге, от Самары до Оренбурга, от Самары до Уфы, до Златоуста, до Челябинска. И гремят они в плодороднейших степных местностях, в очаровательных приуральских предгориях, где цена земли ничтожная сравнительно с теми ценами аренды за квадратные сажени, которые обречены во внутренних губерниях платить *безземельные земледельцы.*

Таковы наши мечтания, но не такова действительность. К ней мы и возвратимся, заканчивая наши заметки.

1890 г.

ИЗ ЦИКЛА ЖИВЫЕ ЦИФРЫ

I. «ЧЕТВЕРТЬ» ЛОШАДИ

1

...Кажется, во всей «нашей округе» нет среди местной обывательской интеллигенции (даже самого высокого сорта) такого страстного любителя местных статистических «данных», каким совершенно неожиданно оказался я, деревенский обыватель, пишущий эти строки. Огромные кипы и связки изданий статистического комитета, обязательно получаемые деревенской обывательской интеллигенцией, постоянно и повсюду производили и производят на нее какое-то удручающее впечатление. Получишь, бывало, такую толстую книгу, подержишь в руке, почему-то непременно вздохнешь и положишь на полку; так эти книги и покоятся недвижимо там, где их положат. А между тем только ведь в этих-то толстых скучных книгах и сказана цифрами та «сущая» правда нашей жизни, о которой мы совершенно отвыкли говорить человеческим языком, и нужно только раз получить интерес к этим дробям, нулям, нуликам, к этой вообще цифровой крупе, которою усеяны статистические книги и таблицы, как все они, вся эта крупа цифр начнет принимать человеческие образы и облекаться в картины ежедневной жизни, то есть начнет получать значение не мертвых и скучных знаков, а, напротив, значение самого разностороннейшего изображения жизни.

И все-таки, не случись со мной одного самого (как увидит читатель ниже) ничтожного обстоятельства, я бы никогда не вошел во вкус этих, покрытых какой-то черной мушкарой, страниц и никогда бы не понял многозначительности выводов из этой цифровой мушкары, всегда казавшихся мне, как коренному «обывателю», совершенно нестóящим делом и пустопорожним словоизвержением. Никогда не думая серьезно вникать в это дело, мы, однако, непрочь иной раз вложить в цифры и собственный свой

смысл, сделать собственные свои выводы, и всякий раз делаем это, конечно, только «для смеху». Бывают в нашей пустопорожней обывательской жизни такие минуты, когда мы умеем облаять все в настоящем порядке вещей. Вот только в такие-то минуты универсального облаивания текущей деятельности, в числе прочих, подлежащих облаянию сюжетов, не минует нашего издевательства и статистика, не минует только потому, что настроение минуты требует всестороннейшего облаивания жизни.

— В деревне Присухине, — издевается в такие минуты какой-нибудь обыватель, — школа имеет тридцать учеников, в деревне Засухине — двадцать, а в деревне Оплеухине — всего два ученика... Из этого, изволите видеть, следует такой средний вывод, что средним числом на школу — по семнадцати человек и еще какой-то нуль, да еще и около нуля какая-то козявка... Это все равно, ежели бы я взял миллионщика Колотушкина, у которого в кармане миллион, присоединил к нему просвирню Кукушкину, у которой грош, — так тогда в среднем выводе на каждого и вышло бы по полумиллиону. Просто нужно за что-нибудь деньги брать! Очень просто!

— Да! Из-за чего это Болванкин на собрании со своим кирпичом совался? — спрашивает кто-нибудь во время этого обличительного монолога. «Кто-нибудь» спрашивает просто зря, от нечего делать. Но так как «облаивание» коснулось статистики, то немудрено услыхать и ответ на этот случайный вопрос, подходящий к подлежащей облаиванию теме.

— А как же! — ответствует другой из занимающихся облаиванием собеседников. — По статистическим данным на каждую печную трубу приходится шесть рождаемостей, а на каждую курную избу — две рождаемости и четыре смертности. Следовательно, ежели земство купит по дешевой цене кирпич у Болванкина и станет раздавать его бабам для устройства печей-голанок в курных избах, то сейчас же бабы будут производить шесть процентов рождаемости, — и следовательно, купец Болванкин отличнейшим образом продаст свой кирпич, который у него уж и так развалился и который со всем с заводом и с Болванкиным стоит грош. Как же ты этого не понимаешь? Нет, брат!.. Тут в среднем выводе можно запустить лапу очень хорошо!..

Известный обывателю склад и строй окружающей его жизни, в котором слово «хапнуть» играет не последнюю роль, невольно заставляет его прилагать этот господствующий принцип и к такого рода явлениям жизни, которых

он даже и не понимает совершенно, в которых ровно ничего не смыслит. Не удивительно, что в те редкие минуты праздного лаянья на всех и вся, когда, за истощением облаиваемого материала, на-зубок обывателя попадается и такой неприкосновенный материал для разговора, как статистика, основной принцип «хапнуть» не покидает соображений обывателя, и он прикладывает его там, где принцип этот не имеет никакого значения. И, говоря откровенно, я не знаю ни одного статистического «столбца», который не был бы истолкован нашими коренными деревенскими обывателями именно в этом последнем смысле. И я помню положительно только один случай, когда облаиванье, начавшееся «от нечего делать» и добравшееся за истощением материала до статистики, вдруг должно было замолкнуть за полнейшею невозможностью приткнуть к облаиваемой цифре хоть каплю принципиального во всех облаиваниях обвинения, то есть слово «хапнуть», казалось, готовое сорваться с языка, вдруг не сорвалось, и облаиватель только стал втупик.

— Неведомо чего уж и писать стали! — говорил мне однажды один из таких облаивателей, зайдя попить чайку и от нечего делать перелистывая «обзор» нашего уезда, только что полученный с почты. — Уж даже и неведомо до чего доболтались!

— Что такое?

— Одна, вишь, *четверть* лошади приходится, изволите видеть, на каждую какую-то там квадратную, что ли, душу. Ну что ж это означает, позвольте вас спросить?

— Как квадратную душу? Что вы, Иван Иваныч!

Иван Иванович посмотрел в книгу и сказал:

— Ну, пес с ней! Ну, ревизскую, что ли! Но что ж означает четверть лошади? Какая-такая лошадиная четвертая часть? Которая же первая-то часть у ей? Это даже прямо сказать — насмешка одна!

— Ну, как же так!

— И очень просто!.. Положительно одно издевательство!.. С кирпича, с беременной бабы, с трубы все можно что-нибудь взять и даже в карман положить... А это уж — черт знает что! *Четверть* лошади!..

Лично я, хотя и мог бы совершенно иначе понимать эти «цифры», подлежащие облаиванию на разные лады, но, говоря по совести, обжившись с деревенскими обывателями, также подобно им привык очень мало интересоваться этим множеством крупных и мелких нулей, которые мы только и видим в таблицах многотомных трудов. Быть может, подумавши, я бы и мог что-нибудь возразить Ивану Ивано-

вичу, но простое нежелание думать серьезно и привычка ограничиваться облаиванием не вызвали меня на разговор о непостижимой цифре.

«Четверть лошади!» — подумал я и присоединился к издевательству Ивана Ивановича. Толстые томы «Трудов» как и прежде, так и после облаивания, сделанного Иваном Ивановичем, продолжали спокойно лежать на тех самых местах, где были положены, и всякий раз возбуждали во мне только глубокий вздох, когда, перечитав все, что можно было перечитать, приходилось с прискорбием увидеть, что, кроме «Трудов», решительно ничего для чтения нет!

Но вот совершенно неожиданно со мною происходит переворот: я собственными глазами увидел *четверть лошади!* И с тех пор усеянные крупными и мелкими нулями «Труды» приняли в моих глазах чрезвычайное значение.

2

Да, я теперь знаю, что такое *четверть* лошади; знаю, что эта четверть — не пустяки, что эта дробь имеет весьма серьезное значение.

Дело было так.

Я только что окончил чтение нового переводного романа, напечатанного в одном из толстых журналов, и находился в весьма тяжелом душевном настроении. Не думайте, что на нервы деревенских обывателей действуют только такие явления жизни, которые таят в себе обычную для нас сущность, «хапнуть в карман», и что только такие явления волнуют и тревожат нас. Вовсе нет. Посмотрите-ка, какого переполоха наделал в нашем уездном обществе хотя бы «Роман графини Лиды». Все, что не знало иного исхода и течения жизни, кроме службы, семейной ссоры и буфета в клубе, — все вдруг заохало, застонало, заметалось, закричало и заговорило из всех сил и во весь голос. Как теперь помню, еле живой уездный аптекарь, выходя из клуба во втором часу ночи и будучи уже в таком состоянии, которое заставило его тотчас же обнять фонарный столб, все-таки нашел в себе силы закричать: «Приас-схонна!» И орал то же самое, раскачиваясь на извозчика, на которого усадил его городовой. Да, и мы непрочь иногда порадоваться и потосковать хорошо. Так было и со мной в этот раз. Роман был обыкновенный: муж-старик, она (маркиза, само собой) молодая и, само собой, Анатоль, молодой. Обман друг друга с первой страницы до последней. Обман письмами, глазами, рукопожатиями. Словом, какое-то беспрестанное воровство самых элементарных человеческих радостей — воровство, в котором не нуждалась

ни во веки веков ни одна горничная, получающая восемь рублей в месяц. А тут маркиза, и не может жить на белом свете иначе, как «украдучи да уворуючи»! Впрочем — не в подробностях романа дело, а только в том, что мне было скучно от него, и я ушел гулять.

Шел я, скучал, ни о чем не думал и вдруг случайно услыхал:

— То-то — кабы лошадь была!

Слова эти жалобно проговорил женский голос, и я положительно не знаю, почему при слове «лошадь» вспомнил фразу Ивана Ивановича:

«Четверть лошади! Ну, скажите, пожалуйста, не насмешка ли?»

«А может быть, — мелькнуло мне, — именно на эту-то бабу и приходится в среднем выводе только *четверть?* Как же она живет с одной четвертью?..»

— Как же без лошади? — сказал мужской голос. — Без лошади пропадешь!

«Как же в самом деле без лошади?— подумалось мне.— Как же с одной четвертью-то?»

Что-то сказало мне, что передо мной — не что иное, как живая статистическая дробь, а чрез мгновение я уже с полною ясностью знал, что я вижу именно дробь в живом человеческом образе, вижу, что такое эти нулики с запятыми, с большими и маленькими. И мне ужасно захотелось подойти к этой живой дроби.

Дробь была баба лет тридцати, и рядом с ней стояла на земле маленькая, полуторагодовая девочка. Обе они вышли из лачужки, у которой не было даже сеней. Против бабы и девочки стоял мужик, тоже, должно быть, какая-нибудь единица, деленная по крайней мере на десяток местных бюджетиков, потому что у него в спине на каждый квадратный фут было по четыре двухдюймовых дыры, и который, по-видимому, также знал, что «четверть» лошади не представляет ничего хорошего.

— Кабы у меня лошадь была, так уж отвез бы! — сказал он тоскливо.

— То-то без лошади-то неспособно! — сказала дробь-баба.

— Далеко ль до покосу-то?

— Да версты две будет.

— Так ты вот как! — задумчиво сказал мужик, деленный на десять. — Ты обед держи в одной руке и косу в тое ж руку приуладь, а подстилку и полушубок для девчонки на шею намотай... Вот и будет великолепно! Чуешь?

— А девчонка-то как?

— Пойдет!

— Да как же она босая-то пойдет? И две версты ей не убечь, я пойду скоро.

— Это верно! — сказал мужик и стал опять думать.

Стала думать и дробь-баба.

И скоро мысли этих дробей стали складываться в следующую формулу:

— Вот как ты, Авдотья, уделай! Ты девчонку сажай на шею верхом...

— Да чем же я ее держать-то буду? В одной руке полушубок, подстилка, в другой коса и обед? Не за волосы же ей меня тянуть?

— И то правда! — сказал мужик задумчиво и опять стал думать так же крепко, как думала дробь-баба.

Первый, по-видимому, додумался мужик; в его лице что-то оживилось, и он с большим оживлением проговорил:

— Тогда окончательно я тебе скажу — вот мой совет: сымай платок с плеч!

— Что ж будет?

— Сымай! Увидишь!

Баба опустила на землю горшок, завязанный в тряпке, положила туда же косу, полушубок, половик, развязала большой платок, обхватывавший грудь и завязанный узлом на спине, и сказала мужику:

— Ну?

— Ну, теперь гляди! — сказал мужик, оживляясь сразу, по малой мере, на тысячу процентов, — гляди теперь, какой мы произведем оборот. Стой прямо!

Он подошел к девочке и, взяв ее подмышки, поднял.

— Ну, любезная барышня, пожалуйте в вагон садиться! К маменьке на шею!.. Раз!

Девочка обхватила шею матери и ногами и руками.

— Ох, ты меня удушишь, Пашутка! — тихо прошептала мать. — Что ж будет?

— Погоди, не торопись! — суетился мужик.— Барин! — крикнул он мне. — Поди-ко, сделайте милость, потрудитесь! — подними платок, мне девчонки нельзя пустить.

Я поднял платок и подал мужику.

— Благодарим покорно! Теперь мы уладим Пашутку никак не меньше, как в первом классе!

Он развернул платок, сложил его с угла на угол вдвое и, наложив середину на голову Пашутки, обвязал концами ее мать таким образом, что платок прямо проходил у ней под шеей и подмышками и завязывался узлом на самой шее так удачно, что Пашутка сидела на этом узле, как на подушке.

— Прямо в некурящий вагон обладили! Поезд стоит пятнадцать минут, буфет! — в восторге воскликнул мужик. — Не держись, Пашутка, пусти руки! Сиди слободно!..

Пашутка выпустила руки, заболтала ногами, захлопала руками и что-то залепетала.

— Ну, ты не дергай меня! Мне под шеей тянет, — сказала мать, — сиди смирно!

— Бери обед! Бери косу! — оживленно говорил мужик, подавая бабе в руки все, что она была должна нести, и все баба взяла и в руки и в подмышки. Все уместилось но баба не шла. Лицо ее было невесело. Хотя и смешно и искусно выдумал этот вагон добрый сосед, деленный на десять бюджетов, но все-таки ей нужно было изловчиться и приладиться, и она некоторе время неподвижно стояла на одном месте, прилаживая половчее то косу, то полушубок, то половик.

— Ай не ладно? — все так же весело и не веря в неудобства собственной выдумки, спрашивал мужик.

— Не... — прошептала баба, выматывая голову из туго стянутого платка, — не... ничего! Ладно! Теперь дойдем.

— Теперь дойдешь! ничего! Не спеши. Ладно дойдешь! Вали, брат! Третий звонок! Трогай!

— Ну, спасибо! — сказала баба с большим чувством и медленно, не шевелясь ни вправо, ни влево, тронулась с места.

— Кабы лошадь-то была!.. — перестав радоваться, со вздохом проговорил мужик-благодетель и стал отирать полой рваного армяка свой мокрый лоб.

Но я уже не слушал его слов.

Баба пошла, и я уже не мог не идти за ней: я уже был захвачен интересом видеть в живом человеческом образе очертания, по-видимому, ровно ничего не значащей статистической дроби. И хотя дробь эта была оживлена человеком пока только чуть-чуть, но я уже чуял, что виденное мною далеко не исчерпывает всего содержания, таящегося в якобы пустопорожней цифре, и что в этой цифровой загадке есть еще много чего-то, что надобно непременно разузнать и расследовать.

И я пошел поэтому вслед за бабой.

3

Баба шла с такой осторожностью, вытяжкой и с такой тщательностью балансировала среди обременявших ее тяжестей, что мне невольно вспомнилась акробатка, которую я видел когда-то где-то в загородном саду. Она так же,

как и баба, балансировала с величайшей осторожностью на тонкой проволоке, вися над землей и толпой зрителей. Да, ведь и на ней лежит бремени не меньше, чем на бабе, и у нее по статистическим данным оказывается 00 отцовской заботы, 00 материнской любви и затем уже в целых числах идет алчность антрепренеров и хозяев, а в десятках чисел ежеминутно чувствуются ею плотоядные глаза плотоядных людей, готовых каждую минуту расхитить для собственного удовольствия ее плоть и кровь. Да, ей надо также очень, очень осторожно ходить по канату!

Нецелое число, именуемое бабой, шло все дальше и дальше, иногда весьма нетерпеливо вскрикивая на девчонку:

— Перестань за волосья хватать! Ведь крепко сидишь? Чего баловаться-то?

— Тяжело тебе?— сказал я, наконец, побуждаемый желанием выяснить подробности существования этой дроби.

— Знамо, не легко! — сказала дробь, но без всякого негодования. — Кабы лошадь бы была... А то вот теперь убирать сено надо, без лошади-то и трудно!

— А далеко еще до покосу?

— Порядочно еще... Мы и покос-то взяли дальний без жеребья, по этому по самому, чтобы лошадь... Не цапай, дура! Сказано тебе?..

Девчонка заплакала, но матери уж нельзя было тратить время на ее успокоение. Она шла и по слову, по два (говорить ей было неловко) изображала мне положение своих дел.

— Жеребьевые-то участки ближние и хорошие, да нам малы... Мы без жеребьев взяли дальние, с порослью... Они будут вдвое против жеребьевых-то на душу... Жеребьевый на душу...

По словечку, перерывая речь тяжелым дыханием, баба рассказала мне о том, что у них уже есть и сбруя. И сбруя эта вышла им как-то случайно: просто бог дал. Жила у них два года одна старушка, бедная, у которой внук в Петербурге учился в шорниках, и вот, когда внук сам стал работать «от себя», то вытребовал и старушку-бабушку и в благодарность за ее содержание прислал полный комплект сбруи с большой уступкой. За эту сбрую еще не заплачено, а заплатится тогда, когда продадут сено, тогда вот можно будет «обдумать» (пока!) и насчет лошади. Предстоит еще маленькая неприятность и с этим самым сеном: вывезти его будет не на чем (всего четверть лошади), а если урожай сена будет велик, то, пожалуй, на

месте придется его продать так дешево, что «обдумать» лошадь можно будет уже не ранее, как еще через год.

Слушая эту прерывистую, задыхающуюся речь бабы, я иногда приходил к мысли подойти и помочь ей. Но строго «научный метод», которому я старался следовать в моих наблюдениях, во-время останавливал меня. Однажды баба даже остановилась, закашлялась, но я все-таки остался на научной почве: не подошел к ней и не испортил точности цифр статистического «столбца». Столбец так и остался столбцом, без всяких изменений, а баба покашляла-покашляла и пошла опять балансировать.

Наконец мы пришли на покос.

4

Довольно большое пространство низменного поля, заросшего кустами прутняка, было уже уставлено копнами сена, которые в наших местах называют «кучами». В значительном количестве виднелись они в прогалинах между кустарниками и помногу, «как придется», стояли в таких местах, где было попросторнее от зарослей. Вот эти-то «кучи» и надобно было стащить в несколько стогов или же сложить в один длинный стог, видом всегда похожий на сарай, который и продается скупщикам на сажени, меряя по низу, с одной стороны от края до края.

Остановившись на покосе, баба осторожно села на землю, осторожно сложила свои тяжести, сама развязала сзади себя платок, спустила на землю Пашутку и, вся мокрая, с прилипшими к мокрым щекам и лбу волосами, некоторое время сидела молча, отдыхая и утирая мокрое лицо и шею. Пашутка толкалась около нее и что-то клянчила, но мать так устала, что уже не обращала на это клянчанье внимания. Я пристроился под куст, в тень, закурил папиросу и изучал.

— Ав-де-эй!.. А Ав-де-э-эй! — звонко позвала баба, и скоро из-за кустов показался мужик с граблями на плече.

Усталой походкой он подошел к бабе, подхватил на руки Пашутку, которая побежала ему навстречу; не спуская ее с рук, он сел на землю, и вся семья принялась за еду, предварительно перекрестившись.

Ели молча, почти не разговаривали: ели и отдыхали в одно и то же время. Короток был обед и короток отдых.

— Как бы дожжом не брызнуло! — сказал Авдей, оглядывая небо. — Ишь, несет ветром из мокрого угла (с юга)! Пока что, хоть дело расчать надо...

Он встал, опять перекрестился несколько раз, потом пошел в лес, откуда скоро раздался стук топора. Тем вре-

менем мать Пашутки всячески старалась ее укачать и уложить спать, но Пашутка, как на грех, пищала, капризничала и на что-то жаловалась. Иногда в уговариваниях матери слышалась какая-то раздражительная нота; ей нельзя было держать Пашутку на руках, сидеть сложа руки. Ей предстояла трудная работа.

— Не спит, постреленок! — сказала она Авдею, когда тот вышел из лесу.

Это известие, очевидно, очень опечалило Авдея. Держа на плече две большие жерди, которые он принес из лесу, он задумчиво остановился перед женой и задумчиво смотрел на Пашутку.

— Авось, она одна побудет? — нерешительно спросил он жену.

— Вестимо, одной надо быть!.. Хошь и поплачет, а делать нечего!.. Плачь не плачь, — а делать нечего!..

— Ничего! — успокоительно сказал отец, подсаживаясь к Пашутке. — Ты, Пашуха, сиди да гляди, что мы с мамкой будем делать... Будешь? Мы тутотка вот и даже недалеко!.. Будешь смирно сидеть?.. Гостинку дам, как домой воротимся, право! Целую баранку дам! Будешь?

Пашутка что-то прошептала.

— Ну, и хорошо! Дай-кось я тебя поцелую, головку поглажу... Ну, Авдотья, пойдем!

Пашутка исполняла свое слово и сидела смирно, потому что отец и мать были недалеко и на ее глазах делали свое дело. А дело это было трудное...

— Вот без лошади-то!.. — горько говорил Авдей.

— Ну уж, чего разговаривать! — не желая пустословить и, очевидно, вся напрягшись для тяжкого труда, довольно резко сказала его жена. — Подсовывай жердье-то!

Так как на одной четверти лошади нельзя возить сена, то нашим дробям пришлось подсовывать под каждую сенную «кучу» по две жерди рядом, браться за концы этих жердей, точно за носилки, и, подняв тяжесть не менее четырех пудов, тащить ее к той куче, где предполагалось сложить стог.

Жерди были подведены; четырехпудовая куча сена плотно притискивала их к земле, низменной и болотистой.

— Ну-ка, господи благослови! — сказал Авдей, становясь вперед; согнувшись, он занес руки назад, захватил концы жердей и проговорил, не поднимая их и не разгибаясь: — Ты не вдруг, Авдотья, налегай! Помаленьку! Не сразу подхватывай! Приладься!..

Авдотья знала всю трудность дела и изловчалась. Лиха беда была поднять, а там уж нужно было держаться цепко

за концы, а четыре пуда не оторвут рук от плечей. Раза три они оба приналегали на кучу, то сзади Авдотья, то спереди Авдей, и понемногу она сдвинулась с места, отсосалась от сырой земли, и, наконец, с значительным усилием они оба стали приподнимать ее. Для Авдотьи это было особенно трудно и требовало весьма значительного калеченья ее тела. Подхватить концы жердей сразу ей было, очевидно, не по силам, и она, положив один конец жерди на колено, обеими руками вцепилась в конец другой жерди, подняла ее, высвободила одну руку и схватилась ею за конец жерди, который лежал у нее на колене. Наконец они оба выпрямились и пошли. Пошли, держась прямо, как струна.

Прямо, как струна, идет крестьянин за сохой; он, по-видимому, только идет, и ничего нет удручающего вас, наблюдателя, в этой походке; но подойдите к нему поближе, посмотрите на эту спину, как бы не умеющую согнуться, — она вся дрожит: нет в ней места, даже величиной в булавочную головку, которое бы не трепетало самым напряженнейшим усилием. Нужно затаить дух, собрать в себе все силы, обуздать каждый мускул, страдающий от тяжести, которую ему приходится преодолеть, заставить его исполнять трудное дело, не дать ему ни малейшей воли, и вот отчего твердой походкой идущий по пашне человек, кажущийся таким непоколебимо спокойным, на самом деле каждый шаг свой одолевает страшным напряжением нервов, таким напряжением, что вздохнуть можно, только дойдя до конца полосы, то есть до поворота. Но настоящий крестьянин не останавливается для передышки на поворотах, а скорее идет далее, зная, что, отдохнув хоть с минуту, ослабнешь, и потом будет трудней.

Вот с таким-то невероятным напряжением сил подняли и понесли четырехпудовую кучу сена Авдей и Авдотья. Малейшая часть тела в каждом из них была натянута, напряжена, как струна. Конечно, потом они, наверное, оба и «не так» еще «разойдутся», и нервами эти люди сделают то, чего не сделать настоящей силой; но теперь мне, с моей строго научной точки зрения, было положительно даже смотреть-то трудно на это, по-видимому, совершенно простое дело.

Кроме тяжести, оттягивавшей руки утомленных уже косьбой людей, успешность их работы в самом начале была отравлена Пашуткой. Покуда отец и мать были у нее на глазах, она молчала, не спуская с них своих глазенок, но когда они пошли и она увидела, что они уходят, она огласила пространство необычайным плачем и криком. Я

видел попытки Авдея и Авдотьи повернуться к ней лицом, посмотреть, узнать: что с ней? — но куча сена не желала уступить из физических сил мужа и жены ни одной капли, и Авдей с Авдотьей могли только ускорить шаг, то есть сделать еще большее напряжение, но остановиться уже не могли.

Но зато, спустя несколько минут, в течение которых рев Пашутки дошел до невероятной степени, я увидел, что крик этот не остался для родителей ее гласом вопиющего в пустыне. И Авдей и его жена, буквально сломя голову, неслись из леса, направляясь к Пашутке. Не добежав до нее, они даже побросали жердья и в страшном испуге бросились к дочери.

— Ай укусило тебя? — кричал Авдей.

— Не казюлька ли какая поганая укусила?— впопыхах говорила Авдотья, почти упав на землю около Пашутки и тотчас же осматривая ее голые ноги.

— Экое место чертово! Сколько их гадюков тут разведено, ехиднов! Что, не тронули ее?

— Не видать ничего!.. Чего ты орешь-то? — в сердцах сказала Авдотья и шлепнула Пашутку.

— Ну, будет...— сказал Авдей.— Чего уж! Вестимо, одна осталась... Испужалась... Я спужался — думал, не гадюка ли? Помереть ведь можно от нее, от поганой! А то что уж ты так! Вестимо, малый ребенок... Эх, лошади-то нету!.. Сидела бы на возу, песни пела... Ну, да ничего, Пашутка, делать нечего! Уж как-никак, а надыть с собой брать... Босиком ей по кошеному-то далеко не уйтить, а криком душу надорвет... Ну, ничего!.. Уж как-никак, Авдотья, а с собой надо взять?— спросил он.

Не дожидаясь ответа Авдотьи, Авдей взял Пашутку на руки и понес к новой куче сена. Покуда они подводили под кучу жерди, Пашутка сидела на траве. Но когда жерди были подведены, Авдей подошел к куче, разгреб на верху ее ямку, потом подошел к Пашутке, взял ее на руки и понес к сену.

— Ну, баловница, садись сюда, в ямку-то... Поедем вместе! Ладно так-то?

Пашутка что-то пропищала.

— Ну, сиди смирно!

— У! Паскудная!— с сердцем сказала измученная Авдотья.

— Ну, что же... Берись!..

— Горластый черт, покою нет!..

И опять муж и жена согнулись в перегиб и опять раза по три, по четыре, приладились и присноровились поднять

кучу, причем уже нужно было робеть и за Пашутку: как бы не свалилась, жерди качаются — но в конце концов, и с еще бо́льшим напряжением нервов, муж и жена одолели-таки увеличенную Пашуткою тяжесть. Кроме тяжести жердей, тяжести сена, прибавилась еще и тяжесть Пашутки. Что делать!— у бедных людей была только четвертая часть лошади, и поэтому недостающие части лошадиной силы они должны были взять на себя.

5

Все время я, как уже сказано ранее, держался в моем поведении строго научного метода. Но после того, как куча сена на моих глазах оказалась с увеличившимся содержанием, я почувствовал, что едва ли можно еще дополнить чем-нибудь новым уже и без того слишком многосложное содержание статистической дроби. Что еще может быть добавлено в ее объяснение?— спрашивал я сам себя и положительно не перенес бы дальнейшей строгости в сохранении себя на научной точке зрения, если бы в самом деле к виденному можно было что-нибудь добавить еще. Мне было довольно простого умножения количества видимых глазом куч на силы человеческих существ, чтобы тотчас же прекратить продолжение моего исследования.

И я действительно не мог продолжать его. Я ушел домой... Что я могу знать, живя в деревне? Но цифры, которые я до сих пор игнорировал и которые я неожиданно увидал во образе человеческом,— цифры могут мне помочь разобраться в человеческих единицах и дробях. И с тех пор я предался статистике, а чтобы доказать читателю, что плоды моих усилий были не тщетны, я расскажу ему самый крошечный эпизодик, случившийся со мной по поводу еще одной самой маленькой человеко-дроби.

II. КВИТАНЦИЯ

1

Эпизодик с этой капельной цифрой случился со мною в то время, когда я только что предался изучению статистики, был, так сказать, в самой первой поре увлечения, и поэтому, я надеюсь, читатель извинит мне, если доводы, вследствие которых во мне родилось побуждение во что бы то ни стало видеть своими глазами упомянутую микроскопическую цифру, покажутся ему лишенными точных научных оснований и почти не логическими. Невольные ошибки начинающего должны быть извиняемы, и, в на-

дежде на это, я расскажу процесс моего мышления в данном деле без всякой утайки: дело в том, что, начитавшись местных данных, я без перерыва принялся за материалы, собранные столичными статистиками, и здесь, в отделе браков, прироста, рождаемости и смертности населения, я натолкнулся на цифру, которая мне (по неопытности) показалась совершенно необъяснимой: оказывается, что в Петербурге ежемесячно нарождается до семисот детей, у которых нет ни отцов, ни матерей. В графе «отцы» стоит 0, в графе «матери»— тоже 0, а в итоге написано — *итого 700 штук человек.*

Научный метод мышления настолько еще не овладел мною и моими соображениями, что я решительно не мог оставить в покое этих нулей, из которых выходят целые «люди», и при помощи, откровенно сознаюсь, весьма первобытных вычислений, цель которых была доказать себе, что из двух нулей не может произойти ребенок и что для появления его на свет необходимы хотя какие-нибудь отце- и матереобразные дроби,— я, при помощи сложения и деления, вычислил, что на каждого из семисот человек детей в среднем выводе приходит не 0 и 0, а (принимая во внимание всю сумму единиц, составляющих то, что называется «обществом») все-таки некоторая дробь отцовского и материнского элемента. Естественно, во мне родилось желание разыскать то существо въяве и вживе, которое может уделить на выполнение материнского дела только одну сотую часть (таково было мое вычисление) своего существования. И где же остальные девяносто девять частей человека, матери, женщины?

Нисколько не защищаясь против могущих быть упреков со стороны читателей в недостатках сделанных мною вычислений, я должен сказать, однако, что лично во мне эти вычисления выразились в весьма определенном и решительном поступке. В первый же приезд мой в Петербург я, под влиянием всевозможных соображений, которых теперь не могу даже припомнить хорошенько, прямо с вокзала велел извозчику ехать в воспитательный дом; может быть, отчасти причиною этого было и то обстоятельство, что наш деревенский поезд приходил раньше всех других поездов, когда над Петербургом лежит еще тьма зимней ночи, когда весь Петербург спит и когда только что начинают открываться булочные, и вообще когда негде приткнуться, чтобы напиться чаю, или же не к кому заехать, чтобы не разбудить утомленного петербуржца и не побеспокоить его. Как бы то ни было, но я думаю — перевес в моих поступках брало не столько нежелание беспокоить

моих знакомых, сколько опять-таки увлечение многосодержательностью статистических цифр, овладевших в последнее время всем моим вниманием. Полагаю, что последнее влияние было во мне преобладающим, и говорю это на том основании, что сторож, к которому меня подвез извозчик и который стоял около того места воспитательного дома, где идет «продажа карт», долгое время слушал мои вопросы и разглагольствия как бы в каком-то недоумении и наконец, по-видимому, сам заразился моей статистической терминологией. Как бы в подражание моему специально статистическому языку, он стал разговаривать со мною тоже каким-то странным и также как бы научным языком.

— Рождаемость?— в недоумении проговорил он, как бы приходя в себя от моих многосложных вопросов.— Рождаемость... это с Мойки вам надо заехать... Придется объезжать по Невскому и оттуда, от мосту, по левой руке... Там идет эта самая... например, рождаемая приноска. Из тех ворот с уткой и утятами... Туда бабы волокут свое нарождение, с Мойки. А в наши ворота идет уже выпуск — кое в деревню, а кое на гигиен-станец.

— Какая же это гигиен-станция?

— А Преображенка!.. Как же? Как пойдете по Гончарной и будет улица в конце, к Казачьему плацу — и тут сейчас на левой руке гигиен-станец. Для очистки воздуха. Вентиляция. Потому Петербург — не деревня... Там дай бог в год два-три покойника, а ведь в Петербурге кажинный божий день народу намрет, как снегу в подворотни набьет. Одного нашего брата-мужика, мастерового, навалит в сутки тьма-тьмущая. Держать мертвечины долго не годится — вот ее из всех мест — из больниц из всяких — прямо на гигиен-станец, а там в вагон, а там на Преображенку, за город! Гигиен называется все одно, как очистка. Для воздуха. Кабы полиция не делала у нас хорошую гигиену, у нас бы в воспитательном мерло не так, а теперь все не шибко.

Я находился в недоумении, не умея понять, в какой степени все то, что говорит сторож, относится к разрешению заданной мною себе задачи? Но тот же сторож вывел меня из затруднения.

— Да вот и сегодня уж вывозка была младенцам на гигиен-станец, а часу в девятом их уже по машине отправят. А ежели вам насчет рождаемого, например, так бабы шляются туда с Мойки... Это уж к Полицейскому мосту надо объезд делать.

— Ну, спасибо!— сказал я, спешно сев опять на того же извозчика, и торопливо сказал ему:

— Поезжай в Гончарную поскорей!

Клячонка ночного извозчика, на которой я ехал, делая второй длинный конец по направлению к тому же Николаевскому вокзалу, с половины дороги пошла чрезвычайно тихо, хотя извозчик ее и стегал довольно исправно. Впрочем, судя по тому, что темнота еще довольно густо лежала на земле, можно было думать, что время еще раннее. Знаменская площадь была совершенно пуста, и только у рельсов конножелезной дороги виднелась капельная фигурка гимназистика с ранцем на спине: он, проживающий с родителями на Песках, ждал конки, чтобы поехать на Васильевский остров в гимназию; крошечный человечек, не доспав, встал в шесть часов утра и воротился домой никак не ранее шести часов вечера, и потом еще уроки до одиннадцати. Жутко было как-то среди этой тьмы и холода видеть эту детскую фигурку, изнуряющую свои младенческие годы, наверное, ради куска хлеба в будущем, и, раздумывая об этом, я не заметил, что лошадь извозчика уже не бежит, не пытается даже бежать, а только постоянно вертит хвостом и дергает сани вперед по вершку. Я видел, что лошадь устала, но не решался понукать извозчика и терпеливо плелся на нем по пустынной Гончарной, хотя крайне опасался, что я не поспею на «гигиен-станец» до отхода поезда.

Вдруг, равняясь со мною санями, появилась сначала дымящаяся лошадь, потом сани.

— Поскорей, извозчик! Ах, извозчик, опоздаем!..— услышал я с левой стороны.

И, обернувшись, я увидел женскую руку в перчатке (довольно ветхой), которая трогала извозчика в спину.

— Поезжай!.. Скоро отойдет поезд! Уж, должно быть, отошел! Ах, боже мой!

— Не беспокойтесь, ничего!— хлопнув дымящуюся лошадь что есть силы, сказал извозчик, и я сразу увидел, что на санях сидит та самая «белошвейная мастерица», которую всякий петербуржец встречает в таком обилии среди уличной толпы. Аккуратно одетая девушка, а рядом с ней картонка продолговатая, коричневая, с глянцеватой крышкой.

— Пожалуйста!..— послышалось мне еще раз, когда после ошеломляющего удара лошадь извозчика сильно рванула и сразу обогнала нас.

— Поспеем!— едва слышно донеслись слова извозчика,

сопровождаемые новым ударом, огласившим, как выстрел, пустынную Гончарную.

Извозчик обогнал нас. Я едва видел белошвейку, но и виденного было достаточно, чтобы знать, что она в величайшем беспокойстве. Она, сидя на одном месте, была в каком-то непрерывном волнении, и рука ее поминутно прикасалась к плечу извозчика.

Извозчик драл свою клячу, высоко замахиваясь кнутом, даже поднимаясь во весь рост, и махал в воздухе концами вожжей.

— Пошел! Поезжай скорей!— закричал и я моему извозчику.— Опоздаем!

Я был вполне уверен, что белошвейка едет на «гигиенстанец», хотя присутствие коробки с каким-нибудь нарядом смущало меня. Может быть, она везет наряд какой-нибудь имениннице и спешит так рано? Но, не спуская с обогнавшей меня девушки глаз, я увидел, что извозчик ее поворачивает с Гончарной направо и именно туда, где должна быть Преображенка, и что девушка даже приподнялась на извозчике, что она, кажется, даже пихает его в спину, что лошадь уже скачет всеми четырьмя ногами сразу, осыпаемая непрерывными ударами.

— Пошел!— закричал я, как только мог.— Прибавлю! Пошел во всю мочь!

Извозчик, чувствуя что-то небывалое, также пришел в возбужденное состояние и также принялся «лупить» свою клячу, что было мочи. Но трудно было «разжечь» несчастную, утомленную ночною ездою скотину, и она, хотя и начала так же, как лошадь обогнавшего нас извозчика, прыгать всеми четырьмя ногами, но надлежащего успеха от всех этих стараний не получалось, и мы, при повороте с Гончарной к Казачьему плацу, встретили извозчика, который вез белошвейку, уже порожняком. Он ехал медленно, весь в клубах пара, исходившего от лошади.

— Опоздали?— почему-то впопыхах воскликнул мой возница, неустанно нахлестывая клячу.

— Первый звонок был!— не спеша ответил извозчик, собираясь закурить папироску.— Пожалуй, опоздаете...

Это известие заставило моего возницу сделать какое-то невозможное усилие — и руками, и горлом, и кнутом — и мы наконец-таки очутились около крыльца «Преображенки».

2

Опрометью вбежал я в этот покойницкий вокзал и сразу натолкнулся на такую сцену: где-то звенел железнодорож-

ный звонок, шла какая-то суета, но помещение было уж пусто, и только у двери столпилось несколько служащих, группой окруживших белошвейку. Тут были: жандарм, купец, артельщики в фартуках и какие-то люди — и все это громко говорило в то время, когда белошвейка, сидя на скамейке рядом со своим коробом, заливалась горючими слезами. Группа народа, толкавшаяся около нее, один перед другим старались в чем-то убедить ее, и в тоне разговаривающих была слышна сочувственная нота.

— Ах, боже мой! Ах, боже мой! Неужели я не увижу его? Мальчик мой!..— облитая слезами в три ручья, захлебываясь ими, хрипло шептала «аккуратная» фигурка белошвейки.

— Сударыня! Ничего теперь невозможно!— убедительным тоном говорил артельщик.

— У меня есть квитанция...— поднимая мокрое лицо на артельщика и захлебываясь слезами, говорила она.— Вот, ведь я говорю... есть!

В руках ее виднелась какая-то бумажка.

— Эта квитанция не может способствовать!..

— Ведь это на моего мальчика!

— Оно точно! Действительно на мальчика вашего... только что не такие нумера.

— Мой мальчик! Но ведь это его нумер?

— Это ихний нумер, верно! Только что это приемная квитанция, значит, живого младенца, а здесь накладные мертвецкие. Этот нумер не может подойтить!

— И напрасно вы изволите беспокоиться!— прибавил другой сочувствовавший горю человек.— Окончательно по этой квитанции покойника не разыскать. На живого один нумер, а на мертвого — другой... Который нумер? Позвольте?

Белошвейка рыдала в платок, но квитанцию дала все-таки.

— Четыреста восемьдесят один. Ну, он там и обозначен умершим, а в приемке у него, может, двадцать девятый или какой там... И окончательно оставьте! Господь прибрал — что ж? Кабы ежели в покойницкой были...

— Неужели я не увижу! Господи!.. Дайте мне эту квитанцию! Может быть, я увижу... Там еще поезд пассажирский.

Раздался третий звонок.

— Ах, милый мой!.. Уедет!.. Нет, я побегу на вокзал!

Она быстро вскочила с лавки, схватила картонку, уронила ее и, несмотря на самые задушевные доказательства, что ничего она не добьется, быстро побежала, пробиваясь

сквозь толпу. Я схватил ее коробку и побежал вслед за ней, а за нами высыпала и вся толпа.

— А ты, коли рожаешь ребенка, так ты его не бросай, как щенка!— вдруг, как обухом по лбу, громко и отчетливо проговорил какой-то из слушателей, видом лавочник.

Бедная белошвейка остановилась, и, хотя она и была вся измучена и лицо ее опухло от слез,— в ней проснулась на минуту бойкость «белошвейки», которая иногда вынуждена давать дуракам сдачи.

— Послушайте!— смело сказала она, останавливаясь.— Вы как смеете говорить дерзости?

— Чего бормочешь?— прикрикнули на него некоторые из артельщиков.— Нашел время галдеть!

— Да,— настойчиво болтал нравоучитель,— коли родишь, так не бросай! А то только бы хвостом повертеть? Нет, шалишь! Вот и поплачь, матушка, ничего!

— Перестань, дурак!— закричали сочувствующие бедной женщине люди.

Дурак не перестал бормотать, и это бормотанье как будто приковало ноги девушки к земле: она не трогалась с места и гневно смотрела на удалявшегося дурака.

— Пойдемте!— сказал я.— Может быть, поезд еще не ушел.

Она пошла, но слова нежданного дурака, очевидно, ошеломили ее, и она, сделав два-три шага, быстрых и стремительных, вдруг замедлила походку и, продолжая рыдать, говорила гневно и медленно:

— Скверный! Чтоб я бросила ребенка... Что я, собака? Я бросила! Когда мне кормить нечем? Чем я буду кормить?

Опять градом льются ее слезы, и мы быстро идем вперед. И вдруг опять остановка.

— Кабы у меня были родные... или кто-нибудь на свете... У меня никого нет! Я сирота! Каждый год у нас родит кухарка, и все ребята живы... Девять рублей получает, платит в деревню... И все живы... А я?

Горькие слезы.

— ...Я еще и в мастерицы не вышла... Скверный какой!.. Я бы его нашла потом. Их в деревню отдают... Бросила ребенка! Подлец этакой! Я бы нашла его...

— Пойдемте, пойдемте, пожалуйста!— говорил я.

Она опять побежала и опять остановилась:

— Я одна кругом... Он тоже копейки не имеет... ученик... Меня с шести лет мучают работой... У меня даже своего лоскута нет... Ведь за них казна платит, как же мне быть?.. Я бы уж нашла его!.. У меня у самой молока было ужасть! Двух бы прокормила! Дурак этакой, невежа!..

Вся рубашка молоком-то... Чем я виновата?.. Всем можно родить, а мне нельзя? Гадкий какой дурак, бессовестный!.. Теперь и не найтить моего мальчика!.. Ах, милый мой! Голубчик мой! Пойдемте, ради бога, скорее!

До самого вокзала она неслась, как ветер, и платок поминутно мелькал около ее лица.

— Опоздали?— впопыхах спросили мы у татарина в буфете, сказав, зачем мы пришли.

— Да,— проговорил он, поглядев на круглые часы,— сейчас уйдет.

— Что ж?— сказал я.— Теперь уж, право, ничего...

Она стояла неподвижно. Я взял ее под локоть, привел к скамейке и посадил. Она отвернулась от меня, как-то перевесилась через ручку деревянного дивана и молча, не говоря ни слова, предалась своему безграничному горю. Туго застегнутый, «аккуратный» хозяйский дипломат дрожал под истерическим дрожанием всего ее тела.

— Голубчик! — чуть-чуть шептала она. — Прощай! Прощай, ангельчик мой!

И будто поцелуи слышались тихие...

Я сидел около нее недвижимо и боялся дохнуть.

3

Помню, что она ушла с опухшим лицом, но не забыла задернуть его кусочком вуальки и вообще постаралась принять, насколько в ней хватало силы, обычный вид белошвейки, опять тип той самой, которую всякий видит в толпе с коробкой в руках.

— Ой,— сказала она сиплым шепотом, взглянув на часы,— одиннадцатый! Теперь полковница меня съест! Уж давно надо было быть! Ах, боже мой!..

Толпа, схлынувшая с почтового поезда, поглотила ее «фигурку», ставшую опять «аккуратной»... Я просидел еще довольно долго, не смел тронуться с места под впечатлением чего-то ужасного. Наконец я встал со скамейки и пошел.

— Господин!— остановил меня сторож с бляхой.— Вот — бумажку обронили!

Я взял бумажку: это была квитанция на принятие ребенка белошвейки.

А ведь она как целовала эту квитанцию-то! И теперь у нее ничего не осталось. Она опять должна девяносто девять частей жизни посвятить работе на хозяйку, заботам о полковнице, которая «выходит из себя», если на ней дурно «сидит», огорчению за неуспех этих полковниц из-за туалета, скорби хозяйки о недостатке средств на игру в

карты,— и только сотую часть своему материнскому делу, чувству, обязанности.

Так вот какие иногда многосложные вещи таятся в статистических дробях! Думаешь-думаешь над этим ноликами, делаешь разные вычисления, а нежданная слеза возьмет да все и запачкает!

III. ДОПОЛНЕНИЕ К РАССКАЗУ «КВИТАНЦИЯ»

1

Квитанция, оставшаяся в моих руках после неожиданной встречи с белошвейкой, в такой степени приковала к себе мое внимание, что я до сих пор не могу еще перейти к оживлению иных статистических цифр и не могу оторваться от размышления об этих крупного и мелкого размера дробях, кишащих в живой жизни кругом меня в несметном множестве. Быть дробью, потерять самое право думать о своем существовании, как о чем-то напоминающем «целое»,— удел всякого живого существа в строе современной купонной жизни, и вот почему такая прискорбнейшая дробь, как одна сотая матери, выработанная всем строем этой жизни, сосредоточила мое внимание именно на коренных особенностях этого строя. Строй народной, трудовой жизни тем и отличается от купонного, то есть труженического, батрацкого, изнуряющего личность человеческую, что в нем человек всеми возможными способами добивается права чувствовать себя целым числом, а не дробью, жить на свете, не покупая чужого труда и не продавая своего, то есть жить, сохраняя свою совесть и удовлетворяя полноте ее потребностей.

Отличным примером упорства отстоять трудовую жизнь против «купонной» может служить весьма любопытная статья г. Рейнгардта, о которой весьма не мешает сказать несколько подробнее потому именно, что в ней рассказывается о крестьянских, привыкших к самостоятельной жизни, женщинах и девушках, не желавших добровольно превращаться в дроби и сотые части.

Статья эта изображает *«Девичий бунт на Урале в 1839 г.»* и объясняет возникшее волнение так: «промысловые работы (как и вообще фабричные, поденные работы «из-за хлеба») должны были наводить ужас на всех *честных* женщин, пред глазами которых прошли несчастные *опозоренные* жертвы с их навеки загубленной жизнью. *Материальные выгоды* и *веселая жизнь* внушали *глубокое от-*

вращение этим простым, но честным натурам, которые предпочитали тихую, хотя и бедную жизнь в *своей* семье...»

И во имя этого уважения к своей части и к своему человеческому достоинству —«женщины в своей энергической оппозиции заводоуправлению действовали вполне самостоятельно, без всякой активной поддержки со стороны мужчин. Право, за которое боролись они, заключалось в сохранении нравственной чистоты, в поддерживании достоинств честной женщины, что возможно было для них только в семейной жизни...», то есть в трудовой жизни *своего* хозяйства.

Бунт крестьянских девиц, приписанных к горным заводам, начался вследствие слуха о том, что получен указ, запрещающий женский промысловый труд. Собственно говоря, никакого закона о труде женщин не существовало: заводовладельцы из дворян владели крестьянами на основании крепостного права и распоряжались поэтому своим народом «как им было угодно», то есть одинаково пользовались трудом как мужчин, так и женщин,— а с них, заводовладельцев-дворян, «взяли пример» и владельцы заводов, принадлежавшие к купеческому сословию, имевшие право только на мужской труд приписных крестьян. Эксплуатировать труд женщин они по закону «не имели никакого права» и, чтобы добиться этого права, обратились в тридцатых годах к министру финансов с ходатайством о разрешении употреблять женщин в работы за *надлежащее вознаграждение*. Министр финансов удовлетворил ходатайство, причем установил на этот предмет определенные правила.

Таким образом «вознаграждение», расчет на «нужду» явились соблазнителями женщин и девушек, и «рубль» стал отрывать их от дома и семьи. Но, несмотря на силу рубля, народное хозяйство было еще так прочно, что даже десятилетний опыт развращения и разрушения семьи не принес никакого существенного результата. Едва в 1839 году прошел слух, что существует указ, запрещающий женщинам поденную работу, как мгновенно поднялось все женское население, заявляя громкий протест против «материальных выгод», которыми их хотели оторвать от «невыгодной» жизни в бедности своего дома.

«1-го октября 1839 г. девушки должны были собраться на работы в полном составе, то есть 212 человек, но их явилось только 12, прочие же остались дома, объявив заводским служащим решительным тоном, что они *никогда* не будут работать на приисках. А ранее этого те же девушки отказались и от полевых работ».

Об этом сопротивлении было донесено хозяевам заводов в таком виде:

«По распоряжению конторы, мы производили высылку на промысла *девок женского пола,* при каковом наряде за одних — матери, за других — отцы, а другие сами идти на работу отказались, сказывают... что женскому полу в работе находиться не подлежит; отчего довольное количество препятствуют — не идут на работы».

Многие матери и отцы «категорически и громогласно» объявили, что «дочерей своих в работы не пустят». Такое упорство заставило заводское начальство потребовать, откуда следует, «энергических мер». «Желая предупредить,— пишет начальство,— развитие духа неповиновения, главное правление обязанностью своею постановляет покорно просить ваше благородие, по получении сего, отправиться без промедления в К-й завод и оказавшийся дух неповиновения строгими и быстрыми мерами пресечь; а для содействия вам теперь же отправляется товарищ управляющего, артиллерии поручик Петров».

«Его благородие» и господин Петров приехали и приняли меры — сначала, конечно, «коротким образом внушив о безусловном повиновении заводскому начальству». Но увы! «Они же (доносит «его благородие»), бунтовщицы, не давая словам моим вероятия, решительно отозвались, что в работы не пойдут до тех пор, покуда я не объявлю им указа, по которому они наряжаются на работу, и не дам им в том какую-то расписку. На представление мое им, что требование их сумасбродно и обнаруживает одну их дерзость, они оставались в своем упорстве...» «Дабы не подать повода к неповиновению и прочим заводским людям, я, руководствуясь (следуют статьи XIV т. св. законов) о предупреждении и пресечении преступлений, вынужденным нашелся *к приведению в повиновение девок употреблять исправительные полицейские меры; для этого намерен был одну из более упорствующих наказать розгами, но толпа девок сделала при этом шумный крик, однакож, несмотря на это, одна из толпы была взята и подвергнута наказанию двумя ударами розог.* Эта мера имела весьма *благоприятное* действие на девок, ибо многие из них тотчас согласились вступить в работу...» «За всем тем, пять девок, а именно: Агафья Гребенщикова, Василиса Быкова, Марья Сосекина, Анна Баранова и Наталья Плотникова, остались в непреклонности и от вступления в работы решительно отказались...» «О таковом неповиновении заводских девок донося вашему высокопревосходительству, осмеливаюсь всепокорнейше просить, не благоугодно ли будет приказать

к приведению в повиновение означенных пяти девок употребить надлежащие меры...»

Прошло пятьдесят лет, и то, что не было вполне достигнуто при помощи благоприятных мер, сделалось «само собой», на совершенно других уже основаниях! «Теперь заводская жизнь,— говорит г. Рейнгардт, — представляет много удовольствий для усердных поклонников Киприды. На золотых приисках работает много женщин и девушек, между которыми попадаются очень хорошенькие, даже в полном смысле красавицы. Они (уже) неприхотливы, отличаются большой снисходительностью, так что за хорошенький платок, кусок ситцу, даже за фунт кедровых орешков готовы подарить своим благосклонным вниманием первого встречного ловеласа. Вот почему (!) *всякий* (!), отправляющийся на промысел, запасается *предварительно* (!) платочками, ситцами, в полной надежде на успех и, конечно, почти никогда не ошибается. Успех очень часто превосходил ожидания!.. «Люди практические, опытные, запасаются на этот предмет самыми *разнообразными* материями, потому что брать хотя и много, но все одного и того же качества, бывает весьма неудобно, как показал пример некоего N., который с любовью к прекрасному соединял аккуратность и расчетливость. Отправляясь на прииски, он закупил на дешевой распродаже массу ситца совершенно *одинакового* рисунка... *Чрез три недели* после прибытия его на прииск, в один праздничный день, на местном гуляньи явились *около 60* местных работниц, одетых в одинаковые платья, будто по форме. Нетрудно было догадаться, что все эти особы в течение короткого времени пользовались вниманием этого господина, что дало повод местным шутникам (а не шутники что же?) говорить, что это форма «непременных работниц» (на основании 448 ст. VII т. Горного устава о непременных работницах). Но как ни весела (!) жизнь на промыслах, положение женщин там далеко неприглядно».

Такие успехи растления нравов, повторяю, мы не можем приписать в данном случае исключительно какому-нибудь несправедливому указу или какому-нибудь насильственному мероприятию. Теперешние несчастные женщины идут на свою гибель уж без участия «благоприятных» мер.

В дальнем море, на каменной скале, стоит гигантская статуя «Свободы». Франция подарила эту статую Америке. На огромном пьедестале поставлена величественная фигура женщины с поднятым над головою электрическим факелом. Высоко, чуть не в облака, подняла эта женщина свой факел; огромный стеклянный фонарь, в котором пла-

менеет огромный клубок электрического света, далеко разливает ослепительные лучи, пронизывая их широкими размахами туманы, тучи, нависшие над землей, стелясь прямою белою дорогою по бушующим волнам океана и возносясь в самую глубину неба. Много добра приносит статуя путнику, застигнутому бурей. Издалека, за сотни верст, видит он этот свет и правит на него свой пароход, спасает свой товар. Но ведь надо *знать*, как править, и надо знать, зачем и кто, и как *это* светит. А вот бедные птицы не знают! Застигнутые бурей, дождем, снегом, они видят этот благодатный свет, думают, что тут жилье, что тут тепло, массами мчатся сюда и... на смерть разбиваются о гигантский фонарь, воздвигнутый во имя свободы и братства. Пятнадцать тысяч птичьих трупов было найдено у подножия этого гигантского фонаря после одной бурной и черной ночи! Бедные птицы!

Вот и наш крестьянский человек, какого бы пола ни был, «обеими руками» хватается не только за кусок «купона», а, как мы видим, за кусок ситчика и даже за горсть орехов. Мужчина-крестьянин уже думает, что ему будет «потеплее» в трактире, за бутылкой пива, чем в холодной избе, да и крестьянке кажется также потеплее на фабрике и в пивной, и повеселее от органа и от ситчика с веселым рисунком. Но ведь чтобы все это понравилось, стало тянуть к себе, чтобы все это стало казаться светом, теплом, прибежищем, как несчастным птицам казался мертвый свет фонаря, нужно, чтобы дома стало холодно, чтобы негде было укрыться от стужи, чтобы было страшно от бесприютности и одиночества.

До какой степени много одних только женщин отрывают «купонные» дела от собственного дома и семьи — мне, между прочим, пришлось мельком видеть в Ростове во время поездки по Дону [1]. Здесь одно табачное, папиросное дело отрывает от земледельческих хозяйств буквально тысячи молодых женских сил. Кроме пяти тысяч (никак не менее) папиросниц, работающих на ростовских фабриках, их великое множество работает и на табачных плантациях. Кроме того, в том же Ростове целые тысячи женщин и девиц занимаются мойкою шерсти, и все эти тысячи буквально не имеют *права* быть матерями. Они, конечно, не могут сопротивляться обязанностям, налагаемым на них полом; но они *должны* бросать детей, должны отделываться от них во что бы то ни стало,— иначе прекратится шерстяное производство и у нас не будет папирос Асмо-

---

[1] «Письма с дороги», IX. *(Прим. Г. И. Успенского.)*

лова, Кушнарева, крученых, гвардейских и прочих. Не знаю и не имею под руками никаких точных сведений о количестве детей, которых обязаны бросить здешние рабочие женщины, но мне передавал один из гласных ростовской думы, что последняя уплачивает в Новочеркасский воспитательный дом по 80 р. в год за каждого брошенного ростовскими фабриками ребенка и препровождает таких детей в Новочеркасск. Существуют будто бы агенты, которые следят за детьми, выбрасываемыми фабриками и заводами, разыскивают и увозят таких, обреченных быть брошенными, детей в Новочеркасск.

Если бы было можно сосчитать все количество детей, которые в данную минуту должны оставаться без материнского питания и ухода, то я не сомневаюсь, что цифра вышла бы весьма внушительная. Чтобы судить хоть приблизительно о громадности этой цифры, я настоятельно рекомендую читателю обратить внимание на брошюру Н. Михайлова [1], *касающуюся* общей характеристики воспитательных домов *только* Петербурга и Москвы. Оказывается, что *только в двух* воспитательных домах в Петербурге и Москве ежегодно поступает *двадцать шесть тысяч детей,* притом на Петербург приходится *девять тысяч,* а на Москву — *семнадцать тысяч* детей! При этом замечается следующее явление: «вследствие центрального положения Москвы и возможности быстро доставлять детей по железным дорогам, в последние годы замечается все больший прилив детей из провинции». Не надо быть пророком, чтобы с точностью определить все провинциальные местности, откуда прибывает такая масса бросовых детишек: это фабричный подмосковный район.

В доказательство того, что женский фабричный труд ставит работницу в необходимость непременно оставлять, покидать своего ребенка, мы можем привести следующий отрывок из прекрасной статьи г. Сидорова о «Раменской фабрике», одной из самых образцовых во всем подмосковном районе. Фабрика эта делает для рабочих все, что только может сделать лучшего,— и вот в каком положении находятся там женщины:

«В шести корпусах устроены детские так называемые ясли. Цель их та, чтобы, уходя на работу, матери могли оставлять своих маленьких детей под надлежащим присмотром. Раменская фабрика, кажется, *единственная, в*

---

[1] «Общая характеристика деятельности наших воспитательных домов». Врача Н. Ф. Михайлова. Москва, 1887 г. (Из трудов 2-го съезда русских врачей.) *(Прим. Г. И. Успенского.)*

которой до некоторой степени *постарались улучшить положение беременных женщин и матерей,* кормящих грудью детей. Организованы детские следующим образом: в каждой есть несколько нянек, от двух до шести, сообразно количеству приносимых детей; няньки получают по 6 р. в месяц. Над няньками есть смотрительница, получающая около 15 р. в месяц. Приносить детей в детскую, устроенную при корпусе, может каждая работница, живущая в корпусе, не испрашивая на это никакого ни у кого *особого* разрешения. Для прокорма детей отпускается безвозмездно молоко в достаточном количестве. В каждую детскую проведены краны с холодной и горячей водой. Детские снабжены в надлежащем количестве постельным бельем. Но из 211 детей до четырехлетнего возраста приносилось в детские всего 30—35 детей, то есть всего почти четверть только грудных детей, что указывает на некоторое равнодушие со стороны рабочих к устройству детских. Вдумавшись же в их устройство, мы поймем это равнодушие... Первое неудобство матери-работницы отдавать ребенка в детскую то, что там она может держать его только в то время, когда сама занята работой на фабрике. Ясное дело, что няньки для своей свободы все меры принимают к тому, чтобы вверенные их присмотру дети спали: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», а что же лучше устраняет плач, как не сон? И вот, усталая от шестичасовой работы, мать приходит домой, а ребенок уже не спит, спать и ей не дает. Возится она с ним, возится все недолгое свободное время, а там опять станки, веретено... а ребенок в это время опять спит, чтобы в следующий промежуток вновь терзать свою усталую мать. Поставьте себя на место этой матери, и вы поймете, что она станет искать исхода другого, кроме детской. Такой исход есть — няньки-девочки или дряхлые старушонки: едят они мало да и готовы служить почти из-за прокорма. В 57% исследованных г. Сидоровым семейств именно и прибегли к этому средству; в некоторых семьях есть свои члены семейства, неспособные к другому труду, кроме нянчанья; несет же своих детей в детскую *только нужда безысходная, голь перекатная.* Вторая причина — прежде ее не было — недостаточно строгий присмотр за детскими».

«На Раменской фабрике беременные женщины отпускаются за некоторое время до родов с работы, если они того пожелают; кормящие же грудью детей по два раза в смену отпускаются для кормления детей. В недавнем прошлом бабушки-повитухи немало изувечили детей и замучили рожениц; но несколько лет (5) на фабрике устроен

родильный приют, куда могут приходить все нуждающиеся в нем. Акушерка получает 30 р. в месяц, труд у нее громаден: в прошлом году, например, было в приюте 308 рождений! Помещение родильного приюта крайне мизерно — две маленькие комнаты и кухня составляют и помещение приюта и квартиру акушерки. При такой громадной рождаемости, совершающейся в приюте, на каковую указывает вышепоказанная цифра, ясно, что роженица должна находиться в крайне неудобном положении как во время родов, так в особенности должна вести себя не так, как следует, тотчас же после родов. *Имена рожениц остаются в секрете* или принимаются во всяком случае довольно энергичные меры сохранять их в секрете. Вследствие такого порядка, в родильный приют привлекаются в значительном количестве женщины, рождающие незаконных детей. Этим средством обеспечивается большинство несчастных женщин, принужденных, скрывая свои физиологические отправления, обращаться с своими родами где-нибудь в закоулке к какой-либо повитухе. Незаконнорожденные дети в Троице-Раменском приходе не зарегистрировываются, ибо близость Москвы дает возможность *легко сбывать* своих детей в Воспитательный дом. Поэтому, к сожалению, мы, рассматривая метрические данные Раменского прихода, совершенно не имеем этих цифр».

Этот «легкий сбыт» детей в Москву производится самым бесхитростным образом. Недавно в «Русских ведомостях» было напечатано о проезде по железной дороге бабы, которая везла в Москву в двух плетеных корзинках целые кучи «секретных» ребятишек, которые пищали и кричали в этих корзинках, как цыплята, отправляемые курятниками в Охотный ряд. Нельзя останавливать производства! Да и конкуренции, следовательно, нельзя задерживать! Прямо в корзину, в Москву, в общую ссыпку детей.

Я однажды сам ехал со старухой-крестьянкой, которая везла в мешке под скамейкой в вагоне третьего класса целую кучу мертвых детей. Она ехала к доктору просить свидетельство на погребение. В то лето свирепствовала какая-то эпидемия, и, по обыкновению, стояла рабочая пора. Бабы заняты были на работе, и им самим нельзя было везти взятых ими и умерших питомцев. Вот они и снарядили старуху, заплатив ей за хлопоты 30 коп., а она, чтобы начальство дороги не протестовало против ее товара, свалила мертвых детей в мешок, засунула его под лавку и поехала. Вот эта (между прочим) невозможность тратить много денег на перевозку даже по железной дороге служит также доказательством того, что перевозка детей в сто-

личные воспитательные дома производится из таких пунктов, которые недалеко отстоят от столицы. Привезти ребенка, напр., из какой-нибудь деревни Тульской губ., то есть верст за сто от Москвы, это значит истратить на него столько денег, что на них можно его прокормить дома. И, следовательно, везут только из ближайших и притом фабричных мест. В пользу этого соображения говорит еще и следующее обстоятельство.

В брошюре г. Н. Михайлова на стр. 4 сказано, что в настоящее время новыми правилами в воспитательных домах дозволяется *самим матерям* вскармливать своих детей *и на дому* до трех лет, с производством такой платы: в первый год 108 руб., во второй 72 руб. и в третий 36 р. Как видите, мера чрезвычайно гуманная; но в отчете о количестве детей, взятых собственными их матерями, не показано никакой цифры, а это было бы непременно, если бы матери, отдающие детей в воспитательный дом, *могли* бы, имели бы *право* быть матерями. В том-то и дело, что они бросают детей потому, что им нельзя *«отойтить»* от дела, от станка, от папиросы, что им *нельзя* заниматься ребенком ни дома, ни в воспитательном доме. Этого не дозволит работнице папироса, ситец — словом, товар! Не будь папиросы, будь просто голая бедность — и тогда бы она непременно кормила ребенка. Принимаются также в воспитательные дома дети, и даже законные, таких родителей, которые по бедности не могут кормить, а потерять не желают. И таких бедных родителей, не облагодетельствованных фабричным станком, оказалось в Петербурге (в 84 г.) 544 человека. Очевидно, такие родители имеют надежду когда-нибудь сами продолжать воспитание своих детей. Фабричная женщина, которой нельзя «отойтить» от своего дела, не может рассчитывать на какое-либо иное будущее, кроме той же беспрестанной невозможности «отойтить», оторвать рук своих, и, следовательно, ни временно ни тем менее даже в течение трех лет ей невозможно думать пользоваться правами матери.

Итак, фабричная женщина, имея право хоть и *секретно* (!) родить, матерью несекретной быть не может! Ей надобно, если она хочет «пить-есть», свалить ребенка в корзинку с другими такими же секретными детьми и отправить их в Москву. На этом материнские обязанности ее прекращаются. Она получает из воспитательного дома «квитанцию» и опять становится к станку. Этим исчерпывается все ее материнское дело. Но ребенок, уехавший в Москву по железной дороге, не так просто расстается с фабрикой

и начинает шибко мстить всем и всему за свое беспомощное положение.

Он — живой человек и желает жить. Его необходимо кормить «хоть из приличия». И вот для двадцати шести тысяч детей требуется и двадцать шесть тысяч *кормилиц* точно так же, как и на фабрике требовались, вместо родных матерей, нанятые няньки. Таким образом, для этих брошенных детей надо, чтобы еще и другие двадцать шесть тысяч матерей тоже бросили бы своих собственных двадцать шесть тысяч детей и оставили их также без материнского молока. Но такого огромного количества кормилиц никогда воспитательные дома двух больших городов, Петербурга и Москвы, не имели. В 1882 году, 3 апреля, говорит г. Михайлов, в московском воспитательном доме недоставлено 695 кормилиц, и в среднем выводе было на каждую кормилицу по два ребенка, а у 262 — по три ребенка; круглый год недоставало 192 кормилиц.

1884 год, замечательный неурожаем и *закрытием фабрик* не привлек, однако, в воспитательный дом кормилиц. «13 апреля было 1395 детей, а кормилиц — только 580». Медицинский отчет на это время говорит: «Дети хронически голодают», значительная часть кормилиц должна была кормить по трое детей.

Кстати, обратите внимание на этот факт «закрытия фабрик», который, как видите, *убавил* приток кормилиц в воспитательный дом. «Бабье чутье» тех бедных крестьянских женщин, которых гнала бы в кормилицы нужда, подсказало им, что теперь, когда фабрики закрываются, матери волей-неволей, *из совести* будут *сами* кормить своих детей, хоть и впроголодь, а секретных будет совсем мало, так как девки будут волей-неволей сидеть дома... «Незачем и иттить в Москву!»

Возвратимся, однако, к кормилицам.

«Ненормальное душевное состояние кормилиц,— говорит г. Михайлов (стр. 9),— которым нередко приходится оставлять деревню помимо собственного желания, не может оставаться без влияния на их молоко. Женщина, идущая в воспитательный дом, иногда могла только что потерять своего ребенка и находиться под впечатлением свежего горя. Все эти обстоятельства прямо влияют на здоровье кормилиц и детей, которых они кормят». Кроме истощающего кормилицу душевного гнета, мы видели, что недостаток в них вынуждает начальство воспитательного дома давать иной кормилице по два и даже по три ребенка, то есть истощать ее сверх всяких мер.

Из всего этого выходит следующее: кормилица, идущая в воспитательный дом «из нужды» и, следовательно, материально плохо обеспеченная, дома плохо питавшаяся, да удрученная горем, да вынужденная кормить двух-трех, изнуряется, во-первых, сама, между прочим и вследствие различных искусственных способов развить молоко (селедка, двойные порции пищи и т. д.), и не питает в должной степени ни одного из брошенных детей, находящихся на ее руках. Смертность поэтому в воспитательных домах такая: в Петербурге 31%, в Москве 40 % (это смертность в воспитательных домах, а не в деревнях).

Но в то же время и дети кормилиц мрут в деревнях в неменьшем количестве, чем мрут их питомцы в воспитательном доме. «Верейское земство попыталось раз собрать сведения о тех местностях, где принимаются питомцы, относительно смертности как этих последних, так и детей местных жителей». Получились, по словам г. Михайлова, *поражающие данные*. В приходах, где отсутствуют питомцы, замечается прирост населения, *а где были питомцы*, там не только не оказывается приросту, но даже обнаруживалась значительная убыль населения. Смертность *своих* детей шла прогрессивно с приемом питомцев в семью (стр. 18).

Таким образом, «смерть», «изнурение», «истощение» идут от язвы «купона» во все стороны. 26 тысяч *секретных* матерей, 26 тысяч *брошенных* детей, около той же цифры тысяч матерей, *бросивших* своих детей, и еще такое же количество детей, оставленных матерями для воспитательного дома!

Но это еще не все.

При распространении в фабричном населении проституции и сифилиса, естественно, что в этих десятках тысяч выброшенных им детей немалое количество таких, которые родятся зараженными этой болезнью. И вот от них, этих больных детей, заражаются наемные кормилицы; эти кормилицы, возвращаясь в деревню, заражают собственных детей, и таким образом гибельная болезнь широко раздвигает пределы своего владычества в народной среде.

Не все еще и это!

Бедность, которая гонит крестьянку-мать в кормилицы, заставляя ее бросить своего ребенка, чтобы кормить чужого, тоже брошенного, в конце концов надоумила ее извлекать из этих детских смертей и несчастий по крайней мере материальную выгоду. Плату кормилицы-воспитательницы получают за детей от 1-го до 3-х рублей в месяц, сообразно возрасту ребенка. До первого года платят 3 рубля, затем

плата постепенно уменьшается. Многим кормилицам, с более меркантильным воззрением на дело, конечно, невыгодно иметь ребенка за пониженную плату, поэтому они стараются сбыть подросшего, то есть *рублевого* ребенка и получить взамен его помоложе, то есть трехрублевого. *То есть* сбывают подросшего уже ребенка в такие семьи, бедность которых рада и рублю, а сами берут себе новых питомцев. Таким образом, кроме смерти, сифилиса — пришло с брошенным ребенком в деревню и бесчеловечное барышничество людьми — разврат, которому нет имени.

Наконец не дремлет в этом царстве смерти и деревенский столп — кулак. И он прочно и твердо держит в этом деле свое кулацкое барышническое знамя.

При выдаче денег кормилицам существует то неудобство, что они должны *сами* являться в воспитательный дом за получением. Исключения, когда кормилица может получить плату на месте,— весьма редки. Где же бедной женщине, имеющей кучу своих детей и взявшей питомца, пускаться в Петербург или Москву, которые иногда отстоят от деревни, где она живет, на сто и более верст? Вот тут-то на помощь бедной женщине и является кулак. Так как выдаваемые кормилицам на питомцев билеты, по которым они могут получать деньги, представляют известную ценность, то эти билеты и сделались предметом наживы местных ловких людей, которые, во-первых, получают деньги за кормилиц по сотням билетов, взимая за это хорошие проценты, и, во-вторых, принимают эти билеты в заклад. «Мы знаем, говорит г. Михайлов, один город в Московской губернии, где все почтенное купечество и «уважаемые» кабатчики широко промышляют питомническими билетами, принимая их в залог по 10 коп. за каждый месяц и отпуская под них товар. Не редкость встретить в одних руках таких цапких людей по 300 и по 500 билетов».

Итак, вот какие вещи творят разные «ситчики» и «папироски» с женщиной и вокруг нее, раз поставив ее в невозможность просто быть хозяйкой своего дома. Но все, что здесь сказано, на основании брошюры г. Михайлова, положительно *капля* в море тех ужасов, о которых эта брошюра повествует и на размышления о которых наводит вас. Обильный материал, собранный г. Михайловым, захватывает это темное дело нашего строя жизни во всех отношениях, и вы, прочитав его брошюру, будете удивлены, узнав, что все рассказываемое им не только еще *не все,* но что он, «при краткости» срока на рефераты, *не мог нарисовать картину во всей полноте.* Со временем автор обещает сделать это, то есть представить темное

дело во всех подробностях. Но для нас, простых читателей, должно быть вполне довольно и того, что и теперь нам мог сообщить г. Михайлов, чтобы хоть на мгновение задуматься над несомненно видимым нами злом и просто по-человечески опечалиться теми печалями, которые сейчас прошли перед нашими глазами.

Зло это — дело «рук человеческих», но неужели те же руки человеческие не могут быть направлены и на его прекращение?

4

А попытки к этому иногда уже начинают встречаться и в наше трудное время. Около двух лет среди газетных объявлений стала появляться публикация о «саратовской сарпинке». Вот об этой-то сарпинке мне и пришлось услышать нынешним летом, во время поездки по Волге, следующие сведения, которые сообщил мне один из саратовских мануфактурных торговцев.

Немецкие колонисты, «дом» и хозяйство которых устроены, как известно, несравненно устойчивее и прочнее, чем у наших крестьян, и которые вследствие этого, спокойно занимаясь своим хозяйством, не ощущают кругом себя того холода и стужи одиночества, какое ощущает наш расстроенный в хозяйстве мужик,— не пошли на призыв новоявленного купона, не улетели на этот мертвый свет из своих теплых и уютных домов и не отдали своих жен и дочерей на съедение этому владыке нашего века.

Нимало, однако, не брезгая деньгами, которые сулил начавший развиваться фабричный труд, они стали брать фабричную работу на дом, и вместо фабричных станков образовались станки домашние, за которыми и работают колонистские девушки и женщины в свободное от других домашних занятий время. Продукт этих трудов, по словам мануфактурных торговцев, и по качеству и по цене сразу победит не только такой же продукт, производимый московскими фабриками, но и продукт заграничного производства. Саратовская сарпинка оказалась и лучше, и прочнее, и дешевле как заграничной, так и московской. Когда я разговаривал об этом с торговцем мануфактурными товарами, рассказывавшим мне этот новый опыт производства, он, простой человек, может быть никогда не думавший о том, как делается этот ситец и сарпинка, и умевший только торговать им,— сам, очевидно, был удивлен этим блестящим опытом и сам завел речь о том, какая бездна мерзости и неправды, неразлучной с производством фабричным, избегнута этим домашним способом производства.

Не только о дешевизне и о прочности говорил он, а о том,— и это гораздо больше, чем о дешевизне,— как это все хорошо, справедливо вышло; вышел дешевый товар, и не оказалось ни тени фабричного распутства и греха!

Не человек ушел к станку из своего дома, а станок пришел к нему в дом.

А разве в нашей крестьянской семье есть хоть малейший признак нежелания осложнить домашний труд присоединением к нему новых родов труда! Вся семья, вся духовная жизнь семьи держится силами трудовой жизни, и ничего, кроме удовольствия иметь заработок, могущий дать возможность облегчить тяжеловесные, первобытные приемы современной крестьянской трудовой жизни, не принесет этому дому никакой станок и никакая машина, добром вошедшая в крестьянский дом. Крестьянская семья *любит работу* и даже самые трудные, тяжкие дела умеет облегчать песнью [1].

---

[1] В числе песен, собранных С. М. Пономаревым в Приуралье, напечатанных в 11 и 12 №№ «Северного вестника» 1887 года, есть одна, как нельзя лучше выясняющая взгляд народа, между прочим, и на женский *фабричный труд.* В песне рассказывается о бегстве казаков с Дона на Дунай-реку вследствие того, что на Дону получились такие приказания, которых не могла вынести казацкая душа. *(Прим. Г. И. Успенского.)*

НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ

В городе Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа. В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все *Заречье* и целую слободу *Чулково.* Это сторона совершенно особенная: обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост!» говорил один, «огурцом зарезался», отвечал другой, и оба с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера или *казюка*, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены особенные клички, например: «стрюцкий» или «точеные ляшки» и прч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот между прочим в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, «кукольница». Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулек с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно-пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут *сверлильщицы, наждашницы,* женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут *гармонщики, токари, наводильщики* и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темно-красного кирпича — самоварная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то вперемежку, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с «перехватом»; жужжание токарного станка — и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня. В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя — нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела дня и среди улицы, — все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узна́ем его постепенно и, как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совестью может сказать о себе:

— Чего ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был пистолетный мастер, молодой малый, по прозванию Прохор Порфирыч, обитавший в собственном домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместе с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...

I. ПРОХОР ПОРФИРЫЧ

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынянчила его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особливо неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет, с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству. Глафира, впрочем, не рассталась с барином: низведенная на степень кухарки, она решилась скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у нее было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался при доме, в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с запертыми в нижнем этаже окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевавших светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской заставой один, на себя, приготовляя на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего «благородства», или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий-мастеровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке,

с разбитым глазом, или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи. Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, с свалявшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что «жизнь — копейка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, носящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплевывания на носки грязноватых сапог, все это говорило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека, и главное, человека благородного. Вообще он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического[1] сына; у него не было только этого довольства фильдекосовыми перчатками, этого страстного желания распластать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь им во всех поступках. Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. «Случись, — говорит он, — пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!» И действительно, в то время, когда руки полицейских (по-растеряевски «хожалых») тащили за шивороты толпы разных чуек и чемерок[2] и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть, — в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

— ... Изволите видеть, столб-от... белый-с?

— Да?

— Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а а снизу-то... уж она опять тоже отшибку дает... Изволите взглянуть, как оттуда понесло...

---

[1] Благочинный — священник, наблюдающий за несколькими приходами.

[2] Здесь имеются в виду люди, одетые в чуйки (длинные суконные кафтаны) и чемерки, чемарки, то есть рабочие, ремесленники, крестьяне, мелкие торговцы.

И Прохор Порфирыч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия. Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырым, почернелым стенам. «Черти! право, черти! — слышалось тогда в мастерской. — Ваше дело — путать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!..» Но если случалось, что Прохор Порфирыч забегал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность, и все тайные размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы. Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и, не переставая, говорил:

— Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать — времена-то теперь тугие-с.

— Д-да! — вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

— Д-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее... Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом — рай!

— Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

— Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада — не с чем взяться!.. Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять, как есть — первое дело!.. Одно: умей наметить, расчесть!.. Приложился — «навылет». Вот говорят: «хозяева задавили!» Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем до малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие — как вы полагаете, очувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

— М-мудрено!

— Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пущает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу,

потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

— Что там!.. Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

— Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели б без полоумства». Понижая почти до шепота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа ходчей», и «сам бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», шептал он, — и как ни был сообразителен и чиновник, он поддавался своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»; но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убеждался, что «их, чертей», надоумить нет никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, последовавшая за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

— Надоумить! — возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося лица. — Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду... Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать смаху. Скажет он им: «Черти! аль вы очумели?.. Так и так...» и такое, и прочее... В единую минуточку они отойдут... от хозяина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не мешкая... «Отбить — отбил, а работы нету!» Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхо-то, оно — первое дело — в кабак!.. В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсеместного виду: «Ребятушки!» Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их нажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова — «водка!».. Порфирыч на этот раз даже засмеялся... Чиновник не знал, что и подумать.

— Водка-с! — ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч. — Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак!.. И пьет он «на спор», «кто боль-

ше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята, а потом товарищи и тащат по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

— Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначал взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе — и то сдуру; пакость — и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему на козе не подъедешь, потому он три полштофы обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство [1].

— Перекабыльство? — переспрашивает чиновник.

— Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем — они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уже и вовсе ничего не понимает... Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку — только пятачком помахивай... Ходи да помахивай — твое!.. Горе мое — не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хоть бы мало-мало силенки. Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю, да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытаращил глаза даже сам Прохор Порфирыч; чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание...

— Время-то теперь, Порфирыч,— нерешительно бормотал чиновник, — время, оно...

— Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь в самую точку!..

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного труда будешь не богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то пословицу, и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и, наконец, уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего со-

---

[1] Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается часто (кабы то-то да кабы другое... Кабы ежели и т. д.),— очевидно, разговор не дельный; таким образом, «перекабыльство»— то же, что бестолковое «галдение» в разговоре и бессмыслица в поступках. *(Прим Г. И. Успенского.)*

беседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь сказать.

— Так перекабыльство? — спрашивал он.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя:

«Однако этот Прошка — значительная язва будет в скором времени!..»

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах выносил и выносит всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло прийти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает в нравах своих собратий (питье водки *на спор,* битье жены «безо время»), что все это порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила надо всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которою только-только справиться: «Душа пить-есть хочет, да штаны сшей!» — говорил он и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

— Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хоть, признаться сказать, вся моего братца эта учеба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку... И дрались они, братец, не то чтобы с сердцов, а даже от большого уныния... Скука. Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергеевна от сидельцев[1] без памяти — «лучше житья нету», барин говорят «как знаешь», а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был

---

[1] Сиделец — приказчик в магазине, торгующий по доверенности хозяина.

я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал — «иди, говорит, к нам...» Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет — откуда что возьмется... замлел! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру! Никуда больше не пойду!..» Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил — ну все же отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим... Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней порошинки. Только что же случилось: как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступу не получил, потому, собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была непокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера... Вся избенка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученье удивляться, отыскал ребят — было нас учеников трое — говорю «Что же, ребятушки, когда же это ученье будет?..» А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщатся, шепчет мне ровно бы басом: «Ты, говорит, не говори про это... А лучше того, ноне ночью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу...» — «С какой с покражи?» — «Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это все воруем с суседских огородов...» Тут я бога вспомнил... залился, залился — поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: «Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и ноне скажу сказку про Ефиопа... Я их и по ночам вижу...» Хозяина все дома не было. Подошел вечер, Ершишка говорит: «Пора, Проха, на кражу... Перва пойдем дров добывать». Пошли мы все троичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Пёрва́ мимо пройти боялись, потом посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались: лежит на полу мертвый петух и тряпка с кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался... А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь — и пошли таскать... Так что изба эта целой улице была отопление... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народа: тащат что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братью — гнать; мы на них пошли; они — дубьем... А Ершишка словно

полковой: «Ребята, говорит, не отставай!» Как пошли они этого беднягу, Ершонка, трепать — только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают — как есть в лапту... Но Ершонок немало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит; «Нет, врешь! посмотрим, кто кого...» Нахожу я Ерша на крапиве — лежит он и шипит: «Башку ушибли!» Стал я его жалеть. «Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил.. А этому Ефремову, унтеру, я докажу, как он меня ноне избил... А тебе я за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен...» Отсюда пошли мы в другое место воровать: репу, капусту, огурцы... Тут дело обошлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слыхал... Целую ночь Ершонок все мне сказки сказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шептаньем, под конец начал даже, ровно сумасшедший, домового мне показывать: «Вон, говорит, я вижу». Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водой до костей, по улице вода гудела... А хозяина все еще не было. Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сенную дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. «Поглядите-ко, братцы, не ваш ли это человек, бабы подняли...» Сейчас Ерш вскочил. «Я это все, говорит, знаю!» Побегли и мы... Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась: нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул. «Наш, говорит, осторожней; за мной!» Принесли они его в избу, свалили мокрого наземь; хотели было нищие награждения попросить, но только хозяйка сказала: «За что я вас буду награждать, в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!» По правде сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... Кой-чем прислуживала...

Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал все как было, какое началось ученье... Но маменька еще того пуще меня огорчила, так как совсем от меня отказалась. Стал я братца умолять, но и братец, разогорчившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал. — Надо, стало быть, как-никак терпеть!

Между прочим, к ночи хозяин очувствовался. Хозяйки не было... Подзывает он меня и говорит:

— Смотри у меня, старайся...

— Буду! — говорю...

— То-то!

И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть, для весу, чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность...

И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

Если мы, когда что случится да когда своруешь; спали на мокроте, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набежит, вот набежит... А покуда что, все он хмельной, все нет-нет да вытянет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка — в ножницах винт поправить или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: «Будьте покойны!» Но подумавши, полагал так, что это дело «успеется», и звал Ерша шутку шутить...

— Ершило! — говорил он, — можешь ты мне эту палку заговорить?..

— Могу! В лучшем виде!

— Чтобы ее никакая сила не взяла?..

— Могу!

— Ну, заговаривай!

Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) — не поймешь, откуда это он их набрался. Сыплет-сыплет...

— Готово! — говорит.

— А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..

— Я, — говорит Ерш, — в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо...

Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

— Ах ты, идолова порода, — закричит Ерш, — что я сделал! Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палки не утащить... Ах я, разиня, разиня!..

А хозяину, главное, «к случаю» как бы прицепиться: «ведь проспорил!»

Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... На нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас норовит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин начнет шастать, искать; найдет — драка! И вся эта битва с женой — «зачем спряталась»!

Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

Тут мы к нему, бывало, пристанем:

— Дяденька, когда ж ученье-то?..

— Ребятушки, говорит, дайте вы, ради господа, мне маленечко в ум войти. Может, говорит, хоть чужие молитвы

об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника. Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выучу, еще у всякого прощения попрошу...

Тут, случается, жена заговорит:

— Заступника тебе? А чиновник палку дал, чем бы выработать что, заместо того пропил?

— Милая! Супруга Анна Федоровна! Как же может эта палка нас от нашего несчастья сохранить? Тут на двугривенный дела не справишь! Ежели б палкой-то этой голову мне кто прошиб, тогда бы я за это ему ручки поцеловал...

— У нас все так-то!..

И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошинки не оставит.

— Анюта! — заговорит хозяин, — ради царя небесного, не души ты меня этими разговорами!.. Я это все в тысячу раз складней знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мне опомниться, всех вас в золотые наряды разукрашу... Ах, боже мой!

И не пройдет с час места, а уж опять от него жена под кровать прячется, а наш брат кто куда разбежимся.

И все мы этой работы дожидаемся, все бога молим. Кажется нам, что как только эта работа навернется, в ту же минуту все и пойдет благополучно. Случается так, и в самом деле, вдруг откуда ни возьмись работа, и большая... Дом, что ли, какой чиновник строит — сейчас, бывает, навалят нам замков чинить, новые делать, опять к окнам эти приправы, чтобы в лучшем виде, еще какая ни на есть мелочь... Ежели так-то случится, то уж истинная благодать наступала у нас в то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

Как сейчас помню, случился такой заказ; выпросил хозяин задатку и (удивление!) трезвый домой пришел. Сейчас начал он на образ креститься и передо всеми нами клялся:

— Вот разрази меня гром, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино то есть)! Жена! Ребятушки! Всем вам теперича я удовольствие сделаю!..

Сейчас отпускает жене на расходы целковый; на свечку казанской божией матери тоже рубль серебра, остальное себе на материал. Самовар закипел, все мы радуемся, бога благодарим; только и слышно:

— Слава богу! Слава тебе, господи, заступнику!.. Ах, как мы, ребятушки, наголодались с вами!..

Очень я в это время радовался, только Ерш этот шипит:

— Погоди, говорит, не торопись; ты меня только слушай одного!

И точно. Пошел хозяин в кабак инструменты выручать и нас взял с собой: такая была дружба у нас. Идем и разговариваем. Входим в кабак. Все чинно... Вручил инструменты. Вина ни-ни!.. Хочем мы уходить, а целовальник так, между делом, и говорит:

— Игнатыч, говорит, что это мы слышали, кабысь у тебя расстройка по работе-то?

Хозяин ка-ак на него зарычит:

— Расстрой-ка-а?.. Из каких же это местов слухи такие?..

И сейчас он, чтобы кабацкой канпании на удивление было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

— Расстройка! Деньги-то вот они... Сла-ва богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого мастера сыщешь, чтобы в полном комплекте?..

Сейчас он полу откинул, картуз заломил, как есть миллионщик!..

— Какая же может у меня быть расстройка, когда я вот все эти деньги в пропой отделил?

— Ну, — говорил целовальник, — уж и в пропой!

Тут дяденька от обиды такой весь зеленый сделался и потребовал сразу «монастырский», то есть уж самый превосходительный стакан...

Ну, и пошло!..

Только поддает, только поддает, и такой форс в нем проявился, что даже на удивление.

— У меня, говорит, работы навалено! У меня всегда без остановки! у меня на двадцати станах идет!

Истинно глазам моим не верю! А дяденька только покрикивал:

— Д-давай!.. Полно зубы-то полоскать! Расстройка!..

Под конец того инструменты эти он опять же в прежнее место препроводил и очень вином нагрузился: сидит на лавке, еле держится и все бормочет:

— Я гррю, васскарродие, на двац-пять-цалковых в сутки... Я гррю, васскарродие... может, по всей империи...

Тут целовальник видит — время позднее, говорит:

— Голубь! Время, запираю.

Взял его под мышки и потащил к двери.

— Я перрвый мастер?..

— Ты-ы! — говорит целовальник. — Кто ж у нас первый-то!.. Ты и есть!..

— Масей!.. — это хозяин-то наш ему. — Признайся по совести, доказал я тебе свое могущество?..

— Ты, Игнатыч», — отвечал ему на это целовальник,— так меня ноне уничтожил, так сконфузил... То есть истинно победил своим богатством! Я думал, ты бедный, а ты поди-кось!

— Я-а-а!..

— Да уж ты-ы-ы!..

И оставил нас целовальник на крыльце; дождик шел, и темно было...

— Ребятушки! Видели, как я его победил?..

— Видели, говорим.

Не могли мы его тащить с собой, повалился он на улице и тут же заснул...

Стали мы ему в трезвый час говорить:

— Дяденька! Что же это вы себя роняете? Перед богом божились, так хорошо выговаривали, а заместо того еще хуже?

— Ребятушки, говорит, знаете, что я вам скажу?

— Я знаю! — заговорил Ерш...

— Нет, тебе этого не узнать!.. А вот что я скажу: кажется мне, сколько зароков на себя не клади, никогда мне себя не удержать.. Потому радости на своем веку только я и видел, когда ладыжки играл махоньким еще... Люди добрые в мою пору и хозяйство знают, и семью и почет получают... Ну, а мне этого в своей избе не сыскать! Нет!.. Окромя ладыжек-то я еще, ребятушки, ни единою радостью не радовался... По этому случаю как малого ребенка можно меня обмануть, лишь бы только единую минуточку представить мне по моему желанию... Так-то!..

Так мы и жили, а бесперечь хозяин себя через свое безголовье до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся, ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же таки через слабость свою домой не доносил... Под конец входил квартальный: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж мы все в ноги валимся; тут народу копошится страсть!.. Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-а-ется!.. То есть не то что работой можно это назвать, а истинно ужас какой-то всех в это время обхватывал... Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то уж, господь его знает, доставал он инструменты, и так-то ли принимался орудовать ими, что уж нашему брату только в пору глаза вытаращить, не только для себя замечать. И день и ночь, и день и ночь только опилки летят, только молотки постукивают; ни водки в это время, ни даже крохи не брал и уж так-то работал, без разгибу. В этом запале нам в мастерскую нос показать опасно бы-

ло: «Прочь, кричит, черти! Так промежду ног и суются! Пррочь, расшибу!..»

Мы разбежимся обнаковенно... Кто где ежимся...

Кончит работу он беспременно к сроку и все денежки до копеечки пропьет, даже домой не скажется... Дней по крайности пять пропадает...

Так я вздыхал в это время, так я убивался о своей жизни! Который, думаю, мне теперича год, никакого я мастерства не знаю... Только-только колотушки и треухи в исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходит. Где обиды не ждал и не чуял совсем — втрое тебе ее, безо всякого заправского дела... Что это, думаю, господи?

Хотел я сбежать... Ну, только в скорости история одна случилась, и так обошлось. Однова смотрим мы, что такое, по нашей улице воза едут: с перинами, с сундуками, столы, например, разные накручены, стулья... Все вообче разное имущество... И идут с боков этих возов бабы и все у встречных спрашивают что-то... Ну, только встречные от них с испугом бегут... Что за удивление? Пошли мы за ворота с Ершом, стали нас бабы спрашивать:

— Где тут, ребятушки, солдатка покойница Караулова жила?

— Я знаю где! — говорит Ерш.

— Авдотья Кузьминишна?

— Знаю! Знаю... Я все знаю! Только вы меня слушайте!..

— От нее нам в наследство дом есть...

— Есть!.. Пойдем!..

Повел он их на пустошь: так кое-где щепки валяются, и печка с трубой вытянулась. Только и сохранено от дому.

— Вот! — говорит Ерш. — Получите!..

— А дом-то?.. Где же дом-то?..

— Дом точно что тут был, — отвечал Ерш, — ну, только теперь отыскать его мудрено... хошь я, признаться, словцо одно знаю...

Между прочим бабы по этой пустоши заметались, как угорелые... Руками машут, бросаются туды, сюды... «Ах-ах-ах, ах-ах-ах... Ах, дома нет! Ах, где дом!..» Тут народу собралось множество, стали все удивляться, где дом: — я, говорит один, только поленце; я, говорит другой, только щепочек отсюда чуть-чуть взял. А тут целый дом пропал! Стали баб этих жалеть. Бабы те заливались слезами и рассказывали:

— Она тетка нам; она, Авдотья-то, нам этот дом отказала. Жили мы в ту пору в дальнем Сибире, на самом

конце; покуда дошло туда извещение, с год места протянулось, а уж нас в то время на Капказ перегнали; покуда опять в здешние палаты извещение-то вернули, покуда отсюда на Капказ дали знать, время-то два года и ушло; летошний год мы в октябре месяце собрались из черкесской земли, да покуда доползли, ан всего три года! Ах, ах, ах, дома нету!..

И выть!

Начали бабы через начальство орудовать. Губернатор говорит, чтобы этот дом отыскать, — «из горла вырви, да вороти». Стали нашу Растеряевку потрошить: кто избу разбирал? Никто не признается, один на одного сворачивает... Что тут делать? Хозяин наш дрожит: «Ну, говорит, ребята, доигрались мы!»

Однова́ пришло к нам в сени народу страсть: квартальный, будочники, бабы эти и Ефремов, ундер... Потребовали к суду: сейчас Ефремов этот солдат — усищи... — во! — снимает перед квартальным фуражку и говорит:

— Ваше высокородие! Я богу и царю служу верой и правдой, извольте посмотреть, нашивка, и опять же царь билет мне на красной бумаге дал, это чего-нибудь стоит...

— Говори, в чем дело!

— А в том дело-с, что весь этот дом вот эти мальчонки (мы-то) разнесли... Особливо один, Ершом звать...

— Это я! — сказал Ерш.

— Вот он-с! Я, лопни глаза, сам видел, как он крышу с дому воротил... Будь я проклят!

— А ты, Ефремов, — сказал Ерш, — забыл, как ты меня дубиной охаживал?

— За то я его, васскородие, точно с осторожностью коснулся, чтобы он казенное добро не воровал! Вы, васскородие, с них, с мальчонков, да и с хозяина-то ихнего требуйте, а мы, видит бог, ни в чем не причинны!

И стали нас с этого времени побеспокоивать. Уж и не помню, как после того все мы разбрелись — кто куда. Куда Ерш девался — так и не знаю.

Ушел я от хозяина и, признаться сказать, горько заплакал. Господи, думаю, что я такое? Кто мне на всем свете есть помощник? Никого не было. Беззащитен я в то время был вполне, тем прискорбнее, что мастерства-то совсем не знал никакого: правда, кое-как мог самоварную ножку подпилком обойти, да ведь уже такое дело, что и малый ребенок не испортит, потому никак невозможно испортить. Только всего и знал-то я... Куда я с этими науками денусь?..

...Года четыре шатался я с одной фабрики на другую, с завода на завод: там одно узнаешь, там другое... Все настоящего-то мастерства не получил; а шатался-то я, собственно, потому, что уж оченно было мне отвратительно хозяйское безобразие: что он мне деньги какие-нибудь пустяковые платит, то должен я, изволите видеть, совсем себя забыть; до того мучения было, что, верите ли, выйдешь в субботу с расчета, посмотришь на народ-то, как все движется, огоньки горят, так весь и расстроишься, и смеешься, и чего-то будто радостно, и не подберешь об этом никакого стоящего понятия, а как-то, не думавши, глядь — в кабаке! Было мне очень оскорбительно, что я почесть что (сами изволите знать) благородный и такое терплю гонение, и зачем только живу — сам не знаю... «Ах, — думал я в то время, — ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчас бы они со мной подружились и стали бы меня уважать!» Начал я маленько опоминаться, ребят своих сторониться, ну, все же справиться не мог, потому платят на ассигнации четыре рубля в неделю, извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю все жалованье пропивали. Потому некуда его деть... А мне, по моему благородству, куда ж с этим жалованьем деваться?.. Хотелось мне жить, хошь бы как приказный живет: сейчас у него гости, трубочку покуривает, как ваше здоровье? Тихо, чудесно... Стал я думать так: стану-ка я один работать? На себя... Думаю себе, тогда и барыш мне сполна идет, и буду я жить с рассудком. Был у меня товарищ Алеша Зуев, друг и приятель. Сказал я ему об эфтим, и он обрадовался: «Лучше нет, говорит. Давай вместе». — «Давай...»

Кой-как да кой-как сколотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себе конурку, стали жить. Трудно нам, по правде сказать, пришлось слесарным мастерством заняться. Дело новое; ну, все же радовался я, что теперича совсем я по-благородному жить начну, потихоньку; между прочим, полагаю, что от пьянства я уж избавлен... Однако же нет. Живши более шести лет в этом пьянстве да буянстве, в прижиме да нажиме, достаточно я свое благородство исказил... Случай такой случился.

Зачалась эта у нас работа, а наипаче того пошла дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, все я стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того наседается... Так он тихости и спокою обрадовался, что когда, бывало, сидим мы с ним на завалинке, все он меня благодарит. Попросит он меня стих какой

сказать (я стихов много знаю), я ему стих скажу; и так я, признаться, умею этими стихами человека пробрать, даже невероятно. Я главнее стараюсь жалобными; голос у меня для этого есть тонкий такой. Так я, бывало, этого Алеху стихом проберу, что только вздыхает он и говорит:

— Господи! Подумаешь, подумаешь, удивление!

В ту пору ему кажется, словно он самого себя впервой увидал, начнет думать, только ужасается: «Господи, говорит, что ж это такое?.. Как же это все?..» И на дерево смотрит и на небо. И никак ничего не сообразит... Так он в этой жисти заржавел. Тогда как я, при моем благородстве, довольно хорошо все это понимал: примерно — дерево... Я это мог.

Я его стихом пробираю, — он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал.

Ну, истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили.

Только что же. Продали мы работу, первую, и с радости маленечко того — пивца... Дальше да больше — глядь и шибко подгуляли... Наутро тоже. Потом того, Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и пропил... Жестоко я этим оскорбился, хоть, признаться по совести, сам я тоже (уж истинно не знаю, как меня бог не защитил!) у Алехи из сундука выхватил что было и тоже пропил... Хмельны мы были; оскорбившись, подхожу к Алехе, на улице встрел, и в досаде на его такой поступок говорю:

— Ты как смел воровать?

— Ты сам вор!

— Врешь — ты!

— Ка-ак, я вор!

Кэ-эк я-а е-в-вво-о!..

На оборотку сколупнул он меня торчмя головой в канаву; упал я, лежу и думаю: «Господи! Что ж это такое?»

Ничего не пойму!.. Осерчал я, вскочил и так ему заговорил:

— Ты зачем в мой сундук залез?

— А ты зачем?

— Нет, ты-то зачем?

— Нет, зачем ты?..

Я развернулся... р-раз!

Потому смертельная мне была обида, что я так себя унизил и никак настоящего первоначатия нашему безобразию не сыщу... Теперь я так думаю, что ежели который на

двадцати языках знает, заставить его это дело расчесть, и то он пардону попросит...

Тут меня Алеха, признаться, помя-ал!..

После этого Алеха закрутился где-то, Сижу я один дома тверёзый и все раздумываю: «Как же это я-то?» И стало мне, признаться сказать, от таких размышлений смерть как жутко... Стал я кажинного человека опасаться: что у него на уме? Может, так-то говорит он с тобой и по душе быдто, а заместо того, что он сделает? Господь его знает!

Не дознавшись ничего в своем уме, вспомнил я свое благородство и тут же перед господом побожился, что с этого времени ни друзьев, ни недругов промежду нашим мастеровым народом не заведу; и стал я вроде как затворник: в прежнее время хоть с хозяевами слово какое скажешь... или с ихней свояченицей, девушкой... Очень она мне в то время нравилась, но чтобы у нас промежду собой что-нибудь этакое происходило — ни боже мой! (мне, я вам доложу, на этот счет, верно, такое несчастье: чуть мало-мало какое касание... «Нет, ты, говорит, женись!») Так, докладываю вам, в прежнее время хоть с нею... А теперича, даже когда она прибежала ко мне однова́ в мастерскую и почала реветь, будто цырюльник с ней неладно поступил, обманом, то я тотчас же ее из мастерской удалил и дверь захлопнул.

Да в самом деле? Что я ввяжусь?.. Опять, кто их разберет, а мне по тюрьмам шататься некогда...

Но все же я ее пожалел!

Случалось еще, что через эту мою робость тогдашнюю немало я ругательств перенес. Иду, примерно, по переулку, вдруг солдат попадается.

— Не знаешь ли, спрашивает, милый человек, где тут Дарья-солдатка! — На это я только молчанием ему отвечаю: потому, ну-ка он скажет: «А, знаешь! а пойдем-кось, скажет, в часть: Дарья-то эта фальшивыми делами занималась!» Так по глупости своей опасался тогда... Начинает меня солдат поливать — я все не оборачиваюсь, иду; он того злее — я все иду... Грозит, грозит, наконец я быдто не вытерплю: повернусь — «вот я, мол, тебе...» Тою же минутою солдат исчезал, ровно сквозь землю проваливался.

Начал я маленько разгадку понимать!

Подходит время, надо что-нибудь пробовать! Все я мытарства видел, ото всего в убытке остался... Порешил я работать один; трудно, ну по крайней мере хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тут я, признаться, братцу и маменьке в ножки поклонился, дали они мне денег — с Зу-

евым за его половину в станке расчесться... Стал я Алешке деньги отдавать, плачет малый!

— Ах, говорит, Проша, как ты чуден! Ну, пьян человек, чужое добро пропил, эко дело! А ты, говорит, уж и бог знает что... Лучше бы в тыщу раз стали мы с тобой опять дело делать.

— Нет, говорю, шалишь!

— Опять бы песни, стих бы какой... Неужто ж я зверь какой? Я все понимаю это... А уж против нашей жизни не пойдешь: вот я теперь чуйку пропил, должон я стараться другую выработать.

— И другую, говорю, пропьешь.

— Может, и другую... Я почем знаю?.. Я вперед ни минуточки из своей жизни угадать не могу...

Жалко мне его стало, но, поскрепившись, я его спросил:

— Куда мое-то пальто девал?

— Я почем знаю!.. Я об этом тебе ничего не могу сказать... Эх, Проша!

Однако же я с ним жить не стал. Страсть как мне было тяжело одному! Две недели с неумелых-то рук над работой покоптеть, а выручки, барышу то есть, — три рубля. С чего тут жить? Ну кое-как перебивался, платьишко начал заводить, например, манишку, все такое, нельзя! Познакомился с чиновником... Кой-как! К братцу я в то время не ходил, или ежели случится, то очень редко: по той причине, что окроме уныния завели они другую Сибирь: гитару... Иной человек возьмется на гитаре-то, восхищение, душа радуется, но братец мой изо всего муку-мученскую делал. Постановит палец на струне у самого верху и начнет его спускать даже до самого низу. Воет струна-то, чистая смерть! По этому случаю я у него не бывал. Начал было я в это время Алеху Зуева вспоминать, не позвать ли, мол? А он, не долго думая, и сам ко мне привалил... Пьяный, распьяный.

— Ты! — заорал на меня.— Подлекарь! подавай деньги!

— Как-кие, говорю, деньги?

— Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... Какие! — передразнивает. — За станок! Вон какие!

Тут я, признаться сказать, в такое остервенение вошел, что, не помня себя, тотчас за горло его сцапал и грохнул на землю. Вижу: малому смерть, но все же я еще ему коленкой в грудь нажал. И как же я его в это время полыскал!.. Ах, как я над ним все свои оскорбления выместил! Зажал ему горло и знаю, что ему теперича ни дохнуть — между прочим кричу на него: говорри!

— Прроша, — хрипит... — Ппуссссти!

— Говорри! Анафема!..

В то время я себя не помнил и истинно мучил его, как зверь... С час места я с ним хлопотал, наконец пустил... Отрезвел он... Помню, стоит этак-то в дверях, картузишком встряхивает...

— Сейчас драться, говорит: нет у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!

— Ладно, говорю, мне к суду с тобой идти не время!

— Я почем знаю! «деньги», «получил»... Я почем знаю?

— Дьявол! кто ж у вас знать-то будет? Че-ерт!

— Я почем знаю... За горло!... Эко диво какое!

— Проваливай!

— Обрадовался!

Кой-как ушел он... И между прочим скажу, что о своем добре Зуев и не спросил, потому знал он, что искать его негде, ибо где его сыщешь?.. Вздохнул я маленько после таких забот, и, говорю вам по чистой совести, стало мне страсть как легко на душе, когда я его победил... Тут уж я совсем понял! Из-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я не согласен!.. Н-нет-с!.. Мне желательно жить по-людски... С этим я и решил, что в чернонародии — без разговору, ручная расправа, а в благородстве — всякое почтение...

II. ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Еще немного подобных случаев, узаконявших силу кулака в глазах благородного человека, и физиономия Прохора Порфирыча приняла тот оттенок «себе на уме», который так часто проглядывает в умных, умеющих *обделывать* свои дела русских людях: деревенских дворниках, прасолах, которых простой, добродушный и оплетаемый народ потихоньку называет жилами, жидоморами и проч. По ходу дела Прохор Порфирыч тоже был жидомор, но жидомор чуть-чуть не благородный, вежливый, что, впрочем, с большею подробностью мы увидим впоследствии. Мысль о разживе не покидала его: то представлялось ему, что идет он по улице, вдруг лежат деньги, «отлично бы, хорошо», — сладко думал он. По ночам снились тоже деньги. Кто-то выкладывал перед ним вороха и сизых и серых бумажек и говорил: «Получай!» Прохор Порфирыч в ужасе раскрывал глаза и узнавал свою холодную комнату...

— Ах, чтоб тебе провалиться! — с досадой вскрикивал он тогда.

А времена все трудней становились. Помещики съежились; опустели трактиры, цыганские певицы напрасно поджидали «графчика», зевая и пощипывая струны гитары.

Торговля приутихла всякая: рабочие, наподобие Зуева, шли охотой в солдаты. Шли также и неохотой.

— Ах, теперича бы силенки! Ах бы хоть немножечко!.. — тосковал в эту пору Порфирыч.

Во время такой страстной жажды лишнего гривенника, своего угла, вообще во время жажды обделывать свои дела, умер растеряевский барин (отец Прохора Порфирыча). Дело случилось темным вечером. Поднялась суматоха, явились душеприказчики, дали знать Порфирычу. При этом известии в глазах его сразу, мгновенно прибавилась какая-то новая, острая черта, какие являются в решительные минуты. Он сразу понял, что настало время. Одевшись в свое драповое пальто с карманами назади, он почему-то поднял воротник, сплюснул шапку, и строгая фигура его изменилась в какую-то юркую, готовую нырнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирыч делал *первый шаг*.

Вечером в нижних окнах дома «барина», долго стоявших забитыми наглухо, светился огонь. На столе лежал покойник, в мундире; две длинные седые косицы падали на подушку; стояли высокие медные подсвечники; солдаты, бабы пришли смотреть «упокойника». Унылая фигура последней фаворитки барина, Лизаветы Алексеевны, в огромной атласной шляпе, с заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платок, ныряла в толпе там и сям, пробивая плечом дорогу к одному из душеприказчиков.

— Семен Иваныч, — слезливо говорила она,— неизвестно... мне-то?.. хоть что-нибудь?..

— Я вам сто тысяч раз говорю — не знаю!

— Не сердитесь! ради бога не сердитесь!.. Голубчик!

— Что вы пристаете? Сидите и дожидайтесь!

— Буду, буду, буду! Боже мой! Ах, господи!

Лизавета Алексеевна садилась в угол, тревожно бросая глазами туда и сюда. Заметив, что душеприказчики разговорились, она минуточку подумала и вдруг без шума шмыгнула в другую комнату.

Горели свечи, лампадки. Дьячок с широкой спиной приготовлялся читать псалтырь, переступая в углу тяжелыми сапогами. В виду покойника толковали шепотом. Было упомянуто о том, что хоть и все мы помрем, но всё «как-то»... к этому присовокуплялось: «ни князи... ни друзи...» А затем, после глубокого вздоха, следовал какой-нибудь совершенно уже практический вопрос, хотя тоже шепотом.

— А вот, между прочим, не уступите ли вы мне рыжего мерина? под водовозку?



— Ох, мерина, мерина! — глубоко вздыхал душеприказчик, думавший, может быть, крепкую думу о том же мерине. — Погодите, Христа ради, немножечко!

Дьячок кашлянул и зачитал:

— «Блажен му-у-у-у...»

— Караул!!! Краул! Стой! — раздалось под окнами.

— Господи Иисусе Христе! Что такое? — зашептала публика, и все бросились на улицу...

— Стой! Стой! Н-нет вврешь! Брат! Брат!

Народ, сбежавшийся со свечами, увидел следующую сцену. Прохор Порфирыч старался вырвать из рук Лизаветы Алексеевны огромный узел, в который та вцепилась и замерла. Из узла сыпались чашки, стаканы, серебряные ложки и проч.

— Брат, брат! Краденое!..

— Мадам, — сказал значительно душеприказчик, — пожалуйте прочь!..

Прохор Порфирыч налег на врага узлом и потом сразу рванул его к себе. Лизавета Алексеевна грохнулась оземь. Толпа повалила вслед за победителем. Надо всеми колыхался огромный узел.

— Как? Воровать? — громче всех кричал Порфирыч. — Нет, я тебя не допущу! Извини!..

Узел свалили на крыльцо с рук на руки душеприказчику, который говорил Порфирычу:

— Спасибо, спасибо, брат!

— Помилуйте, васскородие, — говорил Прохор Порфирыч, обнажая голову и в ужасе раздвигая руки. — Как же эт-то только возможно? Я — все меры!.. Ка-ак? Воровать?.. Нет, это уж оставь!

— Ты тут ее схватил?

— Да тут-с, васскородие, как есть у самых у ворот. Баррское добро, д-да боже меня избави!.. Что тебе по бумаге вышло — господь с тобой, получай!

— То другое дело!

— Да-с! то совсем другое дело! А то, скажите на милость!

— Спасибо! Молодец!

— Всей душой.

Порфирыч осторожно пощупал у себя за пазухой и подумал: «Здесь!»

— Я, васскородие, видит бог!

Душеприказчик ушел. Порфирыч долго еще толковал брату: «А то, скажите на милость, такой поступок... целый узел, неэ-эт!» Потом пошел под сарай, запихнул между дров

какой-то сверток, подхваченный в бою, и, возвращаясь оттуда, говорил:

— Каак? воровать? Нет, ты это оставь!

Лизавета Алексеевна долго билась и истерически рыдала за воротами:

— Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего я всю-то молодость — всю, всю, всю... Господи! Грех-то! Грех-то!..

Вдруг она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась в комнату.

— Мадам! — говорил душеприказчик.— Пожалуйста отсюда вон... после таких поступков!

— Н-не пойду!..

Лизавета Алексеевна села на стул, прижалась спиной к углу, плотно сложила руки и вообще решилась «ни за что на свете» не покидать своего места.

— С вашим поведением здесь не место... Здесь покойник.

— Н-не пойду! н-не пойду! — твердила Лизавета Алексеевна дрожа.

— А! не пойдете...

— Голубчик!

Она бросилась на колени.

— Есть в вас бог! не гоните меня! Ради бога... Я ведь с ним, с покойником-то, восемь лет... Ах, ах, ах, ах!

Душеприказчик ушел, махнув рукою.

Поздно вечером душеприказчик, отправляясь спать, поручил за всем надсматривать Порфирычу; на унылого, нерасторопного Семена надежды было мало: где-нибудь непременно заснет. Разошлись все, даже и Лизавета Алексеевна. Прохор Порфирыч вступил в свои права: надсматривал и распоряжался. В кухне дожидалась приказаний стряпуха. Порфирыч, для храбрости «пропустивший» рюмочку-другую водки, вступил с ней в разговор.

— Как в первых домах, — говорил он, — так уж, сделайте милость, чтобы и у нас.

— Слава богу, на своем веку видала, бог привел, разные дома... Вот купцы умирали Сушкины, два брата.

— Да-да-с! Потому наш дом тоже, слава богу... Будьте покойны!

— Не в первый раз... На сколько, позвольте спросить, персон?

— Персон, благодарение богу, будет довольно! Нас весь город знает...

— Дай бог, а завтра утренничком надыть пораньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

— И грибнова! Мы этим не рассчитываем.

Молчание.

— Я полагаю, — говорит стряпуха, — кисель-то с клеем запустить?

— И с клеем. Как лучше... как в первых домах.

— А не то, ежели изволите знать, со свечкой для красоты.

— Как в первых домах! И с клеем и со свечкой... Запускайте, как угодно!.. чтобы лучше!.. Мы не поскупимся.

Бодрствование во время ночи Прохор Порфирыч тоже выдержал вполне. Расставшись со стряпухой, он направился в дом, уговорив братца лечь спать.

— И то! — сказал братец и лег на крыльцо в кухне.

В освещенной комнате раздавалось тягучее чтение псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирыч босиком тихонько подходил к дьячку, засунув одну руку с чем-то под полу, и придерживая это «нечто» сверху другой рукой, шепчет:

— Благодетель!

Дьячок обернулся.

— Ну-ко!

Дьячок сообразил и произнес:

— Вот это благодарю! — Тут он нагнулся к уху Порфирыча и зашептал: — Грудь! На грудь ударяет ду-ду-ду-то!..

— Прочистит!

— Это так! Оно очистку дает! В случае там в нутре что-нибудь...

— Вот, вот! Она ее в то время сразу. Ну-ко!

Пола полегоньку приподнимается; дьячок говорит:

— О, да много.

— Что там!

Нечто поступало в дрожавшие руки дьячка.

— Сольцы, сольцы!

— Цссс... Сию минуту.

— Гм-м... кхе!

— Готово!

— Ах, благодетель! Я тебе, друг, что скажу, — прожевывая, шептал дьячок, — ты по какой части?

— Слесарь.

— А мы по церковной части. Я тебе что скажу: наше дело — хочешь не хочешь!

Дьячок пожал плечами.

— Смерть!

— Ты думаешь, всё на боку да на боку лежим? Нет, брат!

Долго идет самое дружественное шептание. В комнате раздается опять тягучее чтение.

Прохор Порфирыч в это время уже в мезонине; он нагибается под кровать, кряхтя, что-то достает оттуда, потом на цыпочках спускается с лестницы и идет через двор к саду. Брешет собака...

— Черной!

Порфирыч посвистывает.

— Как! воровать? — говорит он, возвращаясь из саду и проходя мимо брата. — Нет, гораздо будет лучше, ежели ты это оставишь... Братец, не спите?

— О-ох!.. Не сплю! — вздыхает Семен, поворачиваясь на своем ложе.

Порфирыч подсаживается к нему, тоже вздыхает, присовокупляя: «ох, горько, горько!», и затем тянется долгий шепот Порфирыча:

— Ах ты, говорю... Да как же ты, говорю, только это в мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоит над городом; небо очистилось, в воздухе сыро. В стороне по небу скатилась звезда, оставив светлый след.

— О-ох, господи! — шепчет кто-то в кухне.

На крыльце явилась стряпуха.

— Я все беспокоюсь, — заговорила она, — как кисель?

— Как в первых домах!

— Опять можно и полосами его пустить, с клюквой, как угодно?

— Как вам угодно, и с клюквой!.. Как в первых домах!

— Я все беспокоюсь! — заключила стряпуха уходя.

Усталый дьячок еще медленнее читал псалтырь; из отворенного окна на него изредка налетал свежий воздух.

— Ссссс... — раздалось под окном.

Дьячок обернулся.

Прохор Порфирыч облокотился на подоконник локтями, прищуривал глаз и кивал головой в сторону.

— Не мешает! — сказал дьячок.

Следовало повторение «нечто» и опять монотонное чтение. Прохор Порфирыч снова исчезал куда-то. Дьячок, у которого начинали слипаться веки, иногда закрывал глаза и прерывал чтение, пошатываясь вперед и назад. Тишина была мертвая. Вдруг где-нибудь, не то вверху, не то внизу, с каким-то нытьем щелкал замок. Дьячок выпрямлялся, широко раскрывал глаза и едва успевал произнести два-три слова, как начинал дремать снова.

Послышалось какое-то шуршанье. Дьячок снова встрепенулся.

— Я, я, я! — успокоительно шептал из сеней Порфирыч, осторожно таща по земле какую-то шкуру, или ковер, или шинель. — Завтра, брат, и без того хлопот полон рот!

Начинали петь петухи. Дьячок совсем заснул, положив голову на кожаный аналой и приседая. Его разбудил какой-то шум, происходивший на дворе... В окно он увидел Прохора Порфирыча, расправлявшегося с Лизаветой Алексеевной, которая-таки не вытерпела до утра и тихонько успела пробраться в мезонин.

— Уйду! Уйду! Уйду... Ради бога! Ах, не увечьте! Сама! Сама! Сама!

С такою же точно рассудительностью проводил Прохор Порфирыч и следующие дни; в дни похорон, почти в одно и то же время, он распоряжался в кухне, подавал к столу тарелки, бежал за водкой, утешал маменьку, выводил из-за стола пьяного, подтягивал вместе со всеми «вечную память!» и тут же засовывáл в карман какую-то вещь, присовокупляя про себя: «ременная, аглицкая» и т. д. Без Прохора Порфирыча никто не мог дохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирыч, Прохор Порфирыч!», и в ответ на них Порфирыч беспрестанно сыпал: «Ссию минуту-с, ссию минуту-с... Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, дом опустел: везде были открыты окна и двери, ветер свободно гулял повсюду, вытаскивая в отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую стору и подгоняя ее под самый князек крыши; в комнате, где так долго умирал барин, было все взрыто: старые тюфяки и перины, рыжие парики с следами какой-то масленой грязи вместо помады, банки с какими-то мазями, прокопченные куревом трубки и чубуки, все это наполняло душу отвращением, гнало из комнаты, уже опустевшей. Внизу и вверху лопались обои, и за ними то и дело шумели потоки сору.

Прохор Порфирыч это время постоянно находился при маменьке, изредка заглядывая в дом, где через несколько времени начался аукцион. Порфирыч долго рассматривал вещи, долго молчал, и когда решался, наконец, просунуть в толпу голову и произнести: «пятачок-с!», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающие, «охотники», дадут несравненно больше. Зацепив какую-нибудь подобную вещицу, он скромно возвращался к маменьке, покупал ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира) и к чаю брал у растеряевского лавочника Трифона тоже любимые Глафирой грецкие орехи и винные ягоды...

— Кушайте, маменька! сделайте милость, — говорил он.

— Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы без эвтого без сладкого... Изюмцу или бы чего...

— Кушайте, на доброе здоровье, не томитесь...

— Что ж это, Проша, будет ли нам какое награждение от покойника?..

— Надо быть. Я так думаю, чем-нибудь же должен он свое поведение оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!.. — намекал он на душеприказчиков.

— То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, как бы они чего не наплели там...

— Авось бог! Кушайте, маменька, кушайте!

После аукциона душеприказчик позвал Прохора Порфирыча наверх.

— А, ты! — сказал чиновник, когда Порфирыч вошел и поклонился. — Вот вас барин наградил.

Порфирыч осторожно подвинулся к столу и упорно смотрел в валявшуюся там бумагу. Он что-то прочитал в ней.

— Вот деньги. Отдай матери.

— Покорнейше благодарим, васскородие!

Порфирыч поцеловал у чиновника руку...

— Ну, ступай!

— Слушаю-с...

Порфирыч стал у двери.

— Больше ничего; ступай!

— Слушаю, васскородие!

И все-таки остался у двери.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Так точно-с; потому, васскородие, самые пустые деньги вы изволили отдать-с...

— Как?

— Так точно-с... Мы это знаем-с. Сделайте милость, извините.... барин по бумаге отделили третью часть на сирот; следовательно, пожалуйте нам полностью. На что нам такая безделица? Вы, васскородие, сделайте вашу милость, доложите, что следовает...

— Ступ-пай! Я тебе говорю!

— Слушаю-с...

И опять-таки стал у двери.

— Ты не уйдешь? — через несколько минут злобно закричал чиновник.

— Сделайте божескую милость, васскородие, пожалуйте деньги-с полностью!

— Вон!

— Я, васскородие, по суду буду искать... Как вам будет угодно!

Грозное молчание...

— Как вам угодно-с... Я к господину губернатору... Опять же мы и Федор Федорыча довольно хорошо знаем... Как вам угодно!

— Я сам Федор Федорыч! Что ты мне грозишь! Плевать я на него хотел!

— Как вам будет угодно... Ну, только я этого грабежа не оставлю!

Порфирыч, весь зеленый от гнева, спускался с лестницы. Чиновник нагнал его и бросил в лицо пачкой бумажек.

— Ты деньги-то не швыряй! — заговорил Порфирыч во все горло. — Ты свою рожу-то береги...

— Дьявол! — послышалось сверху...

Блистательная победа над чиновником завершилась не менее блистательной попойкой в кухне. Брат Порфирыча уезжал в деревню, в конторщики; в кухне по этому случаю кипели самовары, на столе стояли полуштофы, валялись орехи, винные ягоды, рыба, куски ветчины, и шло веселье и плач. Брат Порфирыча, никогда не пивший водки, сильно охмелел с двух рюмок, лез обниматься и кричал:

— Брат!.. Бррат! Я доверяю!..

— Проша! — приставала хмельная мать.

— Господи! — умиленно говорил Порфирыч... — Братец!

— Брат!

— Братец! видит бог!

— Брат! Я доверяю! Маннька!.. Брат!..

— Всей душой!.. Боже мой!

— Брат!

Порфирыч обнимался с братом, прижимая к его спине полштоф.

— Брат!

Лакей совсем осовел и валялся как сноп, не переставая повторять: «Бр-рат!» Наконец его ввалили вместе с гитарой в мужичью повозку, присланную из деревни, и Прохор Порфирыч остался с матерью вдвоем...

— Ну, маменька, — говорил он ей на другой день. — Надо думать!.. Не сегодня завтра в шею погонят...

— О-ох, надо, надо!

— Я так думаю, домик бы? Деньги, они, не увидишь, разбегутся...

— Уж как ты знаешь!.. Куда мне, я не пойму ничего... Еще изобьют, пожалуй, и суда не сыщешь... Мне бы где свой угол...

— Я так думаю, домик... Я похлопочу... По крайности будет у вас свое имение...

— О-ох, давно своего-то не было!..

— То-то и есть! Братец, дай бог здоровья, доверяют мне.

— Да я-то нешто зверь какой?.. Ты меня не ограбишь... Не выдашь... Из моего дому не выгонишь...

— Пом-милуйте!.. Ведь тоже вашего заводу-то. Слава богу! — и Прохор Порфирыч целовал у маменьки ручку.

Душеприказчик ходил с купцами вокруг дома умершего барина, пробовал стены топором, мерял землю цепью и, сердито постукивая в кухонное окно, говорил:

— Выбирайтесь, выбирайтесь, выгоню!

— Не беспокойтесь, сделайте вашу милость, уйдем-с! — отвечал Прохор Порфирыч.

Несколько дней он употребил на отыскивание дома, наконец нашел. В лачуге жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свет божий. Ходили слухи, что она с мужем занималась когда-то «нехорошими» делами, вследствие чего муж и умер без покаяния, без причастия. Не захотел. Поэтому старуху все боялись, и никто не старался узнать, что с ней делается: в окнах у нее никогда не светился огонь, печь не топилась, и чем питалась она, тоже было неизвестно. Умри старуха — все бы побоялись войти к ней. Но Прохор Порфирыч зашел. Старуха превратилась в какое-то совершенно одичалое существо. Долго не понимала она, что такое толкует ей Порфирыч, но когда он показал ей деньги, старуха заговорила:

— Давай! Давай!.. Я зарою...

— А сама уйдешь?

— Давай... Уйду! уйду!..

Кое-как Порфирыч, наконец, растолковал ей, в чем дело, и дал целковый. Старуха с жадностью схватила его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забилась за печь в самый угол...

После того как был отыскан дом, действия Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характер. Притащив матери из кабака сладенькой, он просил у ней позволения сходить на минутку в одно место и поспешно направился в какой-то глухой закоулок. Здесь жил известный городской кляузник-приказный. Прохор Порфирыч вежливо раскланялся с хозяином и, отведя его к столу, объявил, в чем дело.

— Однако, извините меня, — говорил приказный, внимательно выслушав шепот Порфирыча, — как вы молоды и какая у вас в душе подлость!

— Что делать! Время не такое!..

— В первый раз в таких молодых летах встречаю такую низость...

— А я так думаю, надо бы мне бога благодарить!

— Раненько-с... Чего доброго, еще нашему брату горло перекусите... вот обидно что!

— На этом будьте покойны. Ну, а дело через это все-таки, я полагаю, само собой?

— Это до дела не касающе. Вы остаетесь при вашем свинстве...

— А вы при вашем!..

— А я-с при моем. Посылайте за полштофом!

Приказный с шумом перевернул лист бумаги.

С этого дня между Порфирычем и приказным начались какие-то непостижимые отношения: они никогда не были вместе, но и не разлучались; в то время, когда Порфирыч сидел с маменькой и угощал ее, вдруг в окне, как молния, мелькала рожа приказного, делавшая какие-то ужимки и гримасы. Порфирыч срывал с гвоздя фуражку и исчезал. А то можно было их встретить еще так: Порфирыч стоял на одном конце улицы, а приказный на другом, и разговор шел тоже непостижимыми жестами: приказный махал куда-то головой в сторону, Порфирыч показывал ему кулак; в ответ приказный тряс головой, крестился и вынимал из бокового кармана бумагу... Порфирыч почему-то плевал сердито в землю, но шел к приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлял под окном или начинал петь. Днем стоило Порфирычу выйти на улицу, как тотчас же раздавалось откуда-то «ссссе... сссс...» и в стороне показывалась фигура приказного, поднимавшего почему-то три пальца; Порфирыч также иногда показывал ему в ответ три пальца; только в другой комбинации... После таинственных сцен приказный на минуту зачем-то явился в кухне у Глафиры вместе с Прохором Порфирычем, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: «да я этого ничего не понимаю», приказный вдруг развернул на столе бумагу, опрокинулся над ней, зачеркал пером и что-то заговорил. Та же сцена произошла в доме старухи, у которой покупали дом. Затем приятели снова разошлись в разные стороны. Стоя на крыльце гражданской палаты, Порфирыч манил приказного, торчавшего где-то, бог знает как далеко... Приказный показал что-то руками, Порфирыч еще поманил. Тогда приказный напра-

вился к палате зигзагами, почему-то миновал палатское крыльцо, потом повернул назад, поплелся по стенке и, снова поравнявшись с крыльцом, вдруг юркнул туда, как рыба в воду.

Порфирыч исчез за ним...

Результатом таких таинственных деяний провинциальной адвокатуры было то, что Прохор Порфирыч воротился из палаты хмельной, постоянно улыбающийся, выложил перед матерью из кармана совершенно смятые ягоды, яйца и все хихикал.

— Все ли, батюшка, Прошенька, теперича-то?..

— В-всссе! Будьте покойны! Кушайте на здоровье... Теперь... уж все! уж теперича, маменька, вполне!

— Ну, и слава богу!

— С-слава богу!.. Эт-то справедливо. Да-с! уж все!.. Порфирыч вдруг хихикнул.

— Маменька!— сказал он, зажимая рукою рот и фыркая...— А что я вам скажу... Дом-то... Дом-то, ведь он мой-с!..

— Ах!..— вскрикнула Глафира и обомлела...

Прохор Порфирыч попробовал было сделать серьезную физиономию, но вдруг фыркнул и рванулся в дверь, повалив на ходу скамейку и оставив Глафиру в каком-то оцепенении.

Скоро Глафира и Прохор Порфирыч перебрались в купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

— Маменька,— сказал на это Порфирыч строго,— ежели вы так продолжать будете, я, ей-богу, в полицию не постыжусь...

После этого Порфирыч перенес ругань от брата, нарочно приехавшего из деревни.

— Я с тобой, с подлецом, и говорить-то бог знает чего не возьму!— заключил свою речь брат и пошел к двери...

— Сейчас самовар готов, братец...— произнес все время молчавший Порфирыч и проводил разгневанного брата до ворот.

Преодолев такие трудности, Порфирыч приступил к старухе:

— Ну, старушка, ступай с богом...

— Что ты, очумел, что ли?

— Как очумел? Дом мой! Ступайте с вашим капиталом.

— Куда я пойду? Да я тебе все глаза выцарапаю, только ты заикнись.

Порфирыч порешил это дело повести через полицию, а старуха безмолвно скорчилась на печи.

Сознав, наконец, себя полным хозяином, Прохор Порфирыч с истинным благоговением произнес:

— Боже! Благодарю тя!..

III. ДЕЛА И ЗНАКОМСТВА

Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице. Ветхая и забытая изба старухи оживилась, приосанилась; около нее несколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдат, с засученными рукавами и панталонами, густо смазал ее глиной, таская за собой наполненное глиною корыто и шайку, из которой он по временам брызгал водою на стену; плотник с своей стороны усердно охаживал избу кругом, тщательно выбирая местечко, куда бы, не опасаясь падения избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду множеством светлых планок, досок, дощатых четырехугольников, ярко вылегавших на почерневших и полусгнивших досках крыши, ворот и забора. И несмотря на такие старания, изба все-таки напоминала физиономию обезьяны, если посмотреть на нее сбоку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнам в фундаменте, вследствие чего окна верхним концом уходили в глубь избы, а нижним выпирали наружу. В одно и то же время с преобразованием наружного вида избы шли и внутренние реформы. Прохор Порфирыч неутомимо вводил разные «положения»; для маменьки было «положение»: знать свое место, сидеть и дожидаться последнего часу; изюмы и сладкие малиновые наливки были отменены — «не такое время»; насчет старухи, которую не выжила никакая полиция, было положение «не касаться»: «хочет издохнуть — издыхай, не хочет — как угодно»; из домашних харчей ей не отпускалось ничего; маменька, убитая сыном, выговорила у него дозволение хотя в спокое доживать век и не трепаться около печки; Прохор Порфирыч попятился, припомнил маменьке ее недобропорядочную жизнь, но все-таки взял в стряпухи бабу, которая была тоже оплетена положениями: солдат не водить и не таскаться по соседям, нечего «слоны слонять» попусту»; баба тотчас заступилась за свое правое дело и выговорила только одного солдата, и тот обещался жениться на ней после святой.

Скоро явился солдат, расстегнул сюртук, закурил трубку, начал поплевывать по сторонам, запахло махоркой, послышались слова: «фитьфебиль», «чихаус», «каптинар-

мус». За солдатом потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «Что, нашей курицы не видали?» и села. За ней другая, тоже насчет курицы, третья — пошел говор, дружба, словом, житье, которое Прохор Порфирыч не мог замуровать никакими положениями. Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: «Черти! аль вы очумели?» Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.

Прохор Порфирыч выбрал себе на житье другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом. Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнилы и не так вваливались внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане; на этом же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка, собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях, болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все «последние» растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самомалейших признаков какого-нибудь печатного лоскута по этому предмету Прохор Порфирыч всегда умел «поддеть» самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещиц, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил такого проезжего дать вещицу «на фасон»; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома. Таким образом, в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адамс и Кольт, есть слово «система»,

которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преображалось в «исцему». Мало того, пистолеты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent», смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.

Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими пожитками и, наконец, на лежанке, издали казавшейся грудою кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой и оплывший сальный огарок в низеньком жестяном подсвечнике. Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили *о собственном его* хозяйстве.

Сени также не пропали даром: в них было «положено» спать подмастерью, которого Порфирыч скоро «припас» для себя. Подмастерье этот был не из т-ских; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел благородную жену, которая и помутила всю его жизнь, доведя, наконец, до того, что он, Кривоногов, бежал из родного города куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастиям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сделали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:

— Присматривайте за этим молодцом-то!

Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом благодаря им тянулись долгие разговоры шепотом, ибо грозная тень Порфирыча

невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что «всего было», как он с полицеймейстером пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шепотом присовокуплял, как жена его била и ругала. При этом дело происходило так: «Харя!»— говорила ему жена, на что будто бы Кривоногов отвечал: «Покорнейше вас благодарю!» — «Рогожа!» — «Чувствительнейше вас благодарю!..» Разлетится, разлетится, по щеке — хлоп! «Сделайте вашу милость, еще...»

После разных мытарств, перенесенных им от супруги, последняя однажды пожелала с ним помириться... «Я, говорит, тебя, Федя, ни на кого не променяю...» «О?» — «Провалиться! Потому, я тебя без памяти обожаю...»

— Обрадовался я, признаться,— рассказывал Кривоногов.— «Пройдись со мной под ручку...» Подхватил, пошли. Шли-шли... «Зайдем сюда на минутку, вот в этот дом...» Изволь, говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то военному, да и говорит: «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?» Я как услыхал — прямо в окно да бежать. Вот от этого-то и здесь очутился; не знаю, как отсюда-то бог вынесет...

Кривоногов вздыхал и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать, что сам господин хозяин перед ним ничего не стоит, то хозяин, то есть Прохор Порфирыч, брал его за шиворот, тащил в амбар и, толкнув туда, запирал дверь на замок.

— И покорнейше вас благодарю!— говорил на это Кривоногов, очутившись где-нибудь в углу среди корыт и пустых мешков.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал целые дни, и под защитою его двужильных трудов Прохор Порфирыч не спеша обделывал свои дела. Главною задачею его в ту пору было оставлять в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьвер, то есть отделять из нее *по возможности* как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые участвуют своими трудами, и уплачивать им, если можно, натурою, в «надобное» время. Сообразно с такими планами, Прохор Порфирыч особенно ценил только два дня в неделе: понедельник и субботу.

Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для прочего рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал дела свои потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил

ударить палец об палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины детки», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать душу дьяволу, только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча несколько таких недужных субъектов живьем. Но для этого им приходилось пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цепких и много способствующих успеху Порфирыча. Дело совершалось примерно таким путем.

Приятный для Прохора Порфирыча субъект пробуждался в понедельник в какой-то совершенно неизвестной ему местности. Только самое тщательное напряжение разбитой «после вчерашнего» головы приводило его к заключению, что это или архиерейская дача, за пять верст от города, или засека, за четырнадцать верст, или, наконец, родная улица и жена со слезами, упреками или поднятыми кулаками. Успокоившись насчет местности, бедная голова мастерового успевает тотчас же проклясть свое каторжное существование, дает самый решительный зарок не пить, подкрепляя это самою искреннею и самою страшною клятвою, и только выговаривает себе льготу на нынешний день, и то не пить, а опохмелиться. Такое богатство мыслей совершенно не соответствует внешнему виду мастерового: на нем нет ни шапки, ни чуйки, куда-то исчезли новенькие «коневые» сапоги, но почему-то уцелела одна только «жилетка». Мастеровой понимает это событие так: около него возились не воры-разбойники, а, быть может, первые друзья-приятели, которые, точно так же, как и он, проснулись с готовыми лопнуть головами и такие же полураздетые или раздетые совсем. Тот, кто оставил на мастеровом «жилетку», думал так: «Чай, и ему надо похмелиться-то чем-нибудь!» И пошел искать в другое место.

Сожаления о коневых сапогах и чуйке, терзания больной головы, проклятия мало-помалу исчезают в размышлениях над «жилеткой» и в особенности в сомнении относительно того, как на этот предмет посмотрит Данило Григорьич.

Полная, здоровая фигура Данилы Григорьича уже давным-давно красуется на высоком кабацком крыльце. Поправляя на животе поясок, исписанный словами какой-то молитвы, он солидно раскланивается с «стоющими» людьми или, понимая смысл понедельника, принимается набивать стойку целыми ворохами *переменок*. Под этим именем разумеется всякая *ношебная* рвань, совершенно негодная ни для какого употребления: старые халаты, сто лет тому назад пущенные семинаристами в заклад и прошедшие

огонь и воду, лишившись в житейской битве полы, рукавов, целого квадрата в спине и проч. Вся эта рвань предназначается для несчастных птиц понедельника, которые то и дело залетают сюда, оставляя в заклад чуйки, жилетки и облачаясь в это уродское тряпье для того, чтобы хоть в чем-нибудь добраться домой.

Весело похаживает Данило Григорьич; по временам он запевает какую-нибудь духовную песнь: «Господи, помилуй...» или идет за перегородку, откуда скоро, вместе с его смехом, слышится захлебывающийся женский смех.

— Грех!— слышно за перегородкой...

— Эва!..— басит Данило Григорьич.

На крыльце кто-то оступился от слишком быстрого вбега, и перед Данилою Григорьичем, солидно обдергивающим подол ситцевой рубахи, вырастает полуобнаженная и словно на морозе трясущаяся фигура. Данило Григорьич спокойно помещается за стойкой.

— Сделл... милость! — хрипит фигура, подсовывая жилетку, и более ничего не в силах сказать.— Сделл... милость!

— Покажь-ко, за что миловать-то еще?

Начинается самая мучительная ревизия всех дыр жилета. Данило Григорьич трет его мокрым пальцем, рассматривает на свет, словно фальшивую бумажку.

— Сделл... милость! Ах ты, боже мой! а?— царапая всклокоченную голову, хрипит фигура. — Данило Григорьич! Сделл... милость... Ах тты, боже мой!

Мучитель швыряет жилет под стойку и говорит мастеровому, тыкая себя пальцем в грудь:

— Только един-ствен-но моя одна доброта!

— Отец!.. Да разве... Ах ты, боже мой!..

Данило Григорьич с сердцем откупоривает кривым шилом полштоф, с тем же ожесточением сует маленький стаканишко, склеенный и сургучом и замазкой, почему потерявший очень много в своем и без того незначительном объеме.

Ужас охватывает мастерового.

— Данило Григорьич! Побойся бога!

— Я, говорю, истинно только из одной жалости... Поверь ты мне... Я с тебя бог знает чего не возьму божиться... Для того, что видеть я не могу этого вашего мучения!

— Данило Григорьич! Отец! Да ты что же это мне?.. Опять, стало быть, на неделю испорчен? Данило Григорьич!

Целовальник[1] молча ставит полштоф на прежнее место.

— Данило Григорьич!— умоляя, хрипит мастеровой.— Ради самого господа бога... Данило Григорьич!

— Я теб-бе говорю,— хочешь, а не хочешь...

— Сто-сто-стой! Что ты? Сделай милость!.. Ах ты, господи...

— Для господа, я так полагаю, пьянствовать нигде не показано... Ну-кось, поправляйся махонькой.

Мастеровой долго смотрит на стаканишко с самым жестоким презрением, с горя плюет в сторону и, наконец, пьет...

Долго тянется молчание. Слышно хрустение соленого огурца.

— Нет,— говорит, наконец, мастеровой, немного опомнившись:— Я все гляжу, какова обчистка?..

— Спроворено по закону...

— А?.. Одну жилетку?.. Это как же будет?..

— Скажи еще за жилетку-то «слава богу»!

— И, ей-богу, скажешь!..

— Еще как скажешь-то...

— Ей-ей... Еще, слава богу, хоть жилетку оставили! Ах ты, боже мой!.. а?.. Обчи-и-стка-а... ай-ай-ай... а?.. Канёвые сапоги одни,— душа вон — пять цалковых, одни!.. Да ведь какой конь-то!..

— Эти, что ль?

Целовальник вынес из-за перегородки два сапога...

— Он-ни! он-ни!— завопил мастеровой, простирая руки.— Ах, братец ты мой!.. Как есть они самые.

— Ну, теперь не воротишь...

— Где воротить!.. не воротишь!

— Теперь нет!

— Теперь, избави бог, ни в жисть не вернуть... Они как есть!.. Обчистка!

Мастеровой развел руками.

— То-то и есть: говорил я тебе... ой, не больно конями-то своими вытанцовывай...

Идет долгое нравоучение.

— И опять же скажу, это на вас от господа бога попущение... Докуда вам мамоне[2] угождать?.. — заключает целовальник.

Мастеровой вздыхает и скребет голову.

---

[1] Целовальник — кабатчик; в старину кабатчики присягали «целованием креста».

[2] Здесь в значении: утробе, желудку.

— Данило Григорьич!— умильно начинает он, голос его принимает какой-то сладкий оттенок.— Сделай милость!.. маленькую!

Данила Григорьича охватывает гнев. Не отвечая, он в одну секунду успевает нарядить посетителя в *переменку* и за плечи ведет к двери.

— Маленькую! отец!

— Ступ-пай! Ступай с богом!

— Полрюмочки!

— Ступай-ступай!

— Как же быть-то?

— Думай!

— Думать? Ведь и то, пожалуй, надо думать...

— Дело твое!

— Надо думать!.. Ничего не поделаешь!..

Черной тучей вваливается мастеровой в свою лачугу и, не взглянув на омертвевшую жену, нетвердыми ногами направляется к кровати, предварительно с размаху налетая на угол печки и далеко отбрасывая пьяным телом люльку с ребенком, висящую тут же на покромках, прицепленных к потолку. Не успела жена всплеснуть руками, не успела сдавленным от ужаса голосом прошептать: «разбойник!»— как супруг ее, с каким-то ворчаньем бросившийся ничком на постель, уже заснул мертвым сном и храпел на всю лачугу. Испуганный этим храпом ребенок вздрагивал ногами и плакал. Оцепененье бедной бабы разрешается долгими слезами и причитаньями... А муж все храпит... Наконец рыдающая жена решается на минуточку сходить к соседке. Наскоро рассказывает она приятельнице, в чем дело, занимает до вечера хлеба и тотчас же возвращается домой. Прямо под ноги ей бросаются из избы три собаки, с явными признаками молока на морде. Чуя погибель молока, припасенного ребенку, она делает торопливый шаг через порог и наталкивается на пустой сундук с отломанной крышкой; в сундуке нет платья, на стене нет старой чуйки, на кровати нет мужа, а люлька с ребенком описывает по избе чудовищные круги, попадая то в печку, то в стену. Окончательно убитая баба долго не может ничего сообразить и вдруг пускается вдогонку...

В это время муж ее с каким-то истинно артистическим азартом выделывает в дальнем конце улицы удивительные скачки: иногда он словно подплясывает, а вместе с ним пляшет и хвост женского платья, выбившегося из-под «переменки».

— Держи, держи!..— голосит баба, путаясь в подоле отнявшимися и онемевшими ногами.— Ах, ах, ах... Разбойник! Грабитель!

Какой-то лабазник стал ей поперек дороги, растопырив руки, словно останавливал вырвавшуюся лошадь. Прохожий солдат обнял на ходу и раза два повернулся к ней. Остановился и засмеялся чиновник с женой... А супруг в это время уж поравнялся с храминою Данилы Григорьича и с разлета всем телом распахнул обе половинки дверей.

Добралась, наконец, и баба. Мужа не было.

— Где муж?— едва переводя дух, закричала она.— Подавай! Слышишь? Сейчас ты мне его подавай, кровопийцу...

— Я с твоим мужем не спал!— категорически ответил Данило Григорьич.— Ты его супруга, ты и должна его при себе сохранять...

— Подавай, я тебе говорю!

Баба вся помертвела от негодования.

— Ссию минутую мне мужа маво!.. Знать я этого не хочу!..

Целовальник усмехнулся.

— Малаша!— произнес он, направляя слова за перегородку.— Вот баба мужа обронила... Сделайте милость, присоветуйте?

— Ххи-хи-и-их-хи-хи-хи!— раскатилось за перегородкой.

— Шкура!— заорала баба.— Мне на твои смехи наплевать!.. Твое дело распутничать, а я ребенку мать!

— Чтоб те разорвало!..

— Ах ты!..

— Что за Севастополь такой?— громче всех закричал целовальник.— Ишь, генерал Бебутов какой... мутить сюда пришла? Так я опять же тебе скажу,— мужа твоего здесь не было!

— Не было-о?

— Нету! Проваливай с молитвой! К Фомину убежал!

— К Фомину-у?

— К нему. С бог-гом! В окно выскочил.

Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла к двери.

— Все ли взяла? Как бы чего не забыть?..— подтрунивал целовальник.

— А я вот-он, а я во-о...— вдруг запел кто-то...

Баба узнала голос мужа. Но где раздавалось это пение,— на чердаке ли, под полом ли, или на улице,— реши-

тельно разобрать было нельзя. Тем не менее баба бросилась на хохотавшего целовальника.

— Подавай! Сейчас подавай! Я тебе голову разобью!

Хохотал целовальник, хохотала баба за перегородкой, и пение опять возобновилось.

— Разбойники? Дьяволы! У меня корки нету... Поддав-вай сейчас!..

— А я вот-он, а я во, а я во, а я во, — хооо!..

Смех, гам, слезы...

— Ну, с богом!— заговорил целовальник решительно и повел бабу на лестницу.

— Я на тебя, изверг ты этакий,— доносилось с улицы,— во сто раз наведу, ма-ашенник! Я тебя, живодера этакого, начальством заставлю...

— Ду-ура! Нету такого начальства, башка-а! Где же это ты такое начальство нашла, чтобы не пить? Рожа-а!— резко и внушительно говорил целовальник, высовывая голову на улицу.— В начальстве ты на маковое зерно не смысли-ишь!.. Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда, падаль!

Баба долго кричала на улице.

Целовальник, разгоряченный последним монологом, плотно захлопывал дверцы.

— Не торопись!— остановил его Прохор Порфирыч, отпихивая дверь.— Совсем было прищемил!..

— А! Прохор Порфирыч! Доброго здоровья... Виноват, батюшка! С эстими с бабами то есть, не приведи бог... Прошу покорно.

— Ай ушла?— шепотом проговорил мастеровой, приподымая головой крышку маленького погреба, устроенного под полом за стойкой, у подножия Данилы Григорьича.

— Ушла!.. Ну, брат, у тебя ба-аба!

— О-о!.. У меня баба смерть!

Мастеровой выполз из погреба весь в паутине и стал доедать пеклеванку...

— Какую жуть нагнала-а?— спросил он, улыбаясь, у целовальника.

Тот тряхнул головой и обратился к гостю:

— Ну, что же, Прохор Порфирыч, как бог милует?

— Вашими молитвами.

— Нашими? Дай господи! За тобой двадцать две...

— Ну, что ж,— сказал мастеровой:— эко беда какая!

В это время из-за перегородки выползла дородная молодая женщина, с большой грудью, колыхавшейся под белым фартуком, с распотелым свежим лицом и синими глазами; на голове у нее был платок, чуть связанный кон-

цами на груди. По дородности, лени и множеству всего красного, навешанного на ней, можно было заключить, что целовальник «держал при себе бабу» на всякий случай.

Прохор Порфирыч засвидетельствовал ей почтение.

— Что это, Данило Григорьич,— заговорила она,— вы этих баб пущаете... Только одна срамота через это!

— Будьте покойны!— вмешался захмелевшийся мастеровой.— Она не посмеет этого. Главное дело,— обратился он к Порфирычу шепотом,— я ей сказал: Алена!.. Я этого не могу, чтобы каждый год дите!.. чтобы этого не было!.. Мне такое дело нельзя!

— Ну и что же?— спросил целовальник.

— Говорит: не буду! Потому я строго...

— Малань!— ухмыляясь, произнес целовальник.— Вот бы этак-то... а?..

— Вы все с глупостями.

— Ххе-ххе-ххе!..

Мастеровой тоже засмеялся и прибавил:

— Нет, надо стараться!.. И так голова кругом ходит!

Целовальничья баба отвернулась. Прохор Порфирыч кашлянул и вступил с ней в разговор:

— Ну, что же, Малань Иванна, по своем по Каширу тужите?

— Чего ж о нем... Только что сродственники...

— Да-с... родные?..

— Родные! Только что вот это. Конечно, жалко, ну, все я такой каторги не вижу, когда братец Иван Филиппыч одним мастерством своим меня задушил... Они по кошачьей части... одно погляденье на этакую гадость... тьфу!

— А все деньги!..

— Ну-у уж... гадость какая!

— Данило Григорьич — шептал мастеровой, колотя себя в грудь.— Перед истинным богом...

— Ты еще мне за стекло должен! Помнишь?..— гудел Данило Григорьич.

— Данило Григорьич!

— Ну, Малань Иванна! а в нашем городе что же вы? пужаетесь?

— Пужаюсь!

— Пужливы?..

— Страсть, как пужлива... Сейчас вся задрожу!..

— Да, дда, да... Место новое...

— Да и признаться, все другое, все другое... За что ни возьмись... Опять народ горластый...

— П-па каакому же случаю я тебе дам?— восклицает в гневе Данило Григорьич.

— Данило Григорьич! Отец!

— Народ горластый и опять же, чуть мало-мало, сейчас драка! Норовит как бы кого...

— В ухо!.. Это верно! Потому вы нежные?..— покашиваясь на мастерового, ласково произносит Прохор Порфирыч.

— Нежная!..

— Умру! умру!— заорал мастеровой, упав на колени.

— А, чудак человек! Ну, из-за чего же я...

— Каплю, дьявол, каплю!

— Что? Что такое?— заговорил, нехотя повернув голову к спорящим, Прохор Порфирыч.— В чем расчет?

— Да, ей-богу, совсем малый взбесился... Просит колупнуть, но как же я ему могу дать?

— Любезный, заступись!.. Я ему, душегубу, за бесценок цвол (ствол ружейный). Цена ему два целковых... Прошу полштоф, а?

— Что же ты, Данило Григорьич!— произнес Порфирыч.

— Ей-ей не могу. Мы тоже с этого живем...

— Покажь!— сказал Порфирыч.— Что за цвол?..

У мастерового отлегло от сердца.

— Друг!— заговорил он, осторожно касаясь груди Порфирыча.— Тебе перед истинным богом поручусь, полпуда пороху сыпь.

— Посмотрим, попытаем.

Целовальник вынес кованый пистолетный ствол, на котором мелом были сделаны какие-то черты. Прохор Порфирыч принялся его пристально рассматривать.

— Сейчас околеть, — говорил мастеровой, — Дюженцеву делал!.. Еще к той субботе велел... Я было понадеялся, понес ему в субботу-ту, а его, угорелого, дома нету... Рыбу, вишь, пошел ловить... Ах, мол, думаю, чтоб тебе!.. Ну, оставить-то без него поопасался!..

— Да ко мне в сохранное место и принес! — добавил целовальник. — Чтобы лучше он проспиртовался... чтобы крепче!

Мастеровой засмеялся...

— Оно одно на одно и вышло, — проговорил он, — Дюженцев этот и с рыбкою-то совсем пьяный утоп...

— Вот так-то!

— Ах, и цвол же! ежели бы на охотника...

— Это что же такое?.. — произнес Порфирыч, отыскав какой-то изъян.

— Это-то? Да друг ты мой!
— Я говорю, это что? Это работа?
— Ну, ей-богу, это самое пустое: чуть-чуть молоточком прищемлёно...
— Я говорю, это работа?
— Да ты сейчас ее подпилком! Она ничуть, ничево!
— Все я же? Я плати, я и подпилком? Получи, брат...
Прохор Порфирыч кладет ствол на стойку, садится на прежнее место и, делая папиросу, говорит бабе:
— Так пужаетесь?
— Пужаюсь! Я все пужаюсь...
— Ангел! — перебивает мастеровой. — Какая твоя цена? Я на все, только хоть чуточку мне помощи-защиты, потому мне смерть.
— Да какая моя цена? — солидно и неторопливо говорит Порфирыч. — Данилу Григорьичу, чать, рубль ассигнациями за него надо?..
— Это надо!.. Это беспременно!..
— Вот то-то! Это раз. Все я же плати... А второе дело, это колдобина, на цволу-то, это тоже мне не статья...
— Да я тебе, сейчас умереть...
— Погоди! Ну, пущай я сам как-никак ее сравняю, все же набавки я большой не в силах дать...
— Ну, примерно? на глазомер?
— Да примерно, что же?.. Два больших полыхнешь за мое здоровье; бóльше я не осилю...
— Куда ж это ты бога-то девал?
— Ну, уж это дело наше.
— Ты про бога своими пьяными устами не очень! — прибавляет целовальник.
Настает молчание.
— Так вы, Малань Иванна, пужаетесь все?
— Все пужаюсь. Место новое!
— Это так. Опасно!
— Три! — отчаянно вскрикивает мастеровой. — Чтоб вам всем подавиться...
— Давиться нам нечего, — спокойно произносят целовальник и Порфирыч.
— А что «три», — прибавляет последний, — это я еще подумаю.
— Тьфу! Чтоб вам!
— Дай-кось цвол-то!
— Ты меня втрое пуще моей мýки измучил!
Порфирыч снова рассматривает ствол и, наконец, нехотя произносит:
— Дай ему, Данило Григорьич!

— Три?

— Да уж давай три... Что с ним будешь делать... Малый-то дюже тово... захворал «чихоткой»!

Мастеровой почти залпом пьет три больших стакана по пятачку, обдает всю компанию целым проливнем нецеремонной брани и, снова пьяный, снова разбитый, при помощи услужливого толчка, пущенного услужливым целовальником, скатывается с лестницы, считая ступени своим обессилевшим телом. Прохор Порфирыч спокойно прячет в карман доставшийся ему за бесценок ствол и снова обращается к целовальничьей бабе, предварительно вскинув ногу на ногу.

— Так вы, Малань Иванна, утверждаете, что главнее по кошачьей части, то есть на родине?..

— По кошачьей! Такие неприятности!

— Конечно! Какое же удовольствие?

Такой образ действия Прохор Порфирыч называет уменьем потрафлять в «надобную минуту», и в понедельник мог им пользоваться в полное удовольствие, употребляя при этом почти одни и те же фразы, ибо общий недуг понедельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием.

Побеседовав с целовальничихой, Прохор Порфирыч отправлялся или домой, унося с собою груду шутя приобретенных вещей, или же шел куда-нибудь в другое небезвыгодное место. Между его знакомыми жил на той стороне мещанин Лубков, который был для Порфирыча выгоден одинаково во все дни недели.

Мещанин Лубков жил в большом ветхом доме с огромной гнилой крышей. Самая фигура дома давала некоторое понятие о характере хозяина. Гнилые рамы в окнах, прилипнувшие к ним тонкие кисейные занавески мутно-синего цвета, оторванные и болтавшиеся на одной петле ставни, аляповатые подпорки к дому, упиравшиеся одним концом чуть не в середину улицы, а другим в выпятившуюся гнилую стену, все это весьма обстоятельно дополняло беспечную фигуру хозяина. В летнее время он по целым дням сидел на ступеньках своей лавчонки. Вследствие жары и тучности ноги были босиком, на плечах неизменно присутствовал довольно ветхий халат, значительно пожелтелый от поту и с особенным старанием облипавший выпуклости на тучном хозяйском теле. Такой легкий летний костюм завершался картузом, истрепанным и засаленным с затылка до последней степени. Беспорядок, отпечатывавшийся

на доме и на хозяине, отмечал едва ли не в большей степени и все действия его. Сначала он занимался разведением фруктовых дерев; дело тянулось до смерти жены, после чего Лубков вдруг начал для разнообразия торговать говядиной, но, не умея «расчесть», стал давать в долг и проторговался. Кризисы такие Лубков переносил необыкновенно спокойно, и в тот момент, когда, например, торговля говядиной была решительно невозможна, он вел за рога корову на торг, продавал ее, на вырученные деньги покупал водовозку и принимался не спеша за водовозничество. Точно с таким же нерасчетом завел он кабак, который сам же и посещал чаще всех, хлебную пекарню и проч., и на всем спокойно прогорел. К довершению своей добродушно-бестолковой жизни, он опять женился на моладенькой девушке, имея на плечах пятьдесят лет, и благодаря этому пассажу имел возможность хоть раз в жизни чему-нибудь удивиться и вытаращить глаза. У него родился сын. Событие было до того неожиданно, что Лубков решился оставить на некоторое время свое любимое местопребывание, крыльцо, и направился к жене.

— Наталья Тимофеевна, — сказал он ей, почесывая голову, — это... что же такое будет?

— Убирайся ты отсюда... знаешь куда? Много ты тут понимаешь!

— Да и то ничего не разберу...

— Пшел!..

Через минуту Лубков по-прежнему сидел на крыльце. Спокойствие снова осенило его. Раздумывая над случившимся, он улыбался и бормотал:

— К-комиссия...

Шли годы, и нередко ребята, то есть мастеровой народ, имея случай посмеяться над Лубковым, извещали его о близкой прибыли в то время, когда он, казалось, и не подозревал этого.

Несколько лет таких неожиданностей и насмешек снова нарушили покой Лубкова. Он вторично покинул свое седалище с целью поговорить с женой.

— Наталья Тимофеевна! — сказал он ей. — Вы, сделайте милость, осторожнее...

— Нет, ты сперва двадцать раз подавись, да тогда и приходи с разговорами!

— Хоть по крайности сказывайтесь мне... в случае чего...

— Пошел!..

Постигнув, наконец, что ему безвинно суждено быть отцом многочисленного семейства, Лубков на шутки ребят отвечал:

— А ты бы, умный человек, помалчивал бы, ей-богу! Во сто бы тысяч раз было превосходнее, ежели бы ты молчком норовил... так-то!

В настоящее время у него по-прежнему существовала лавка, но род промышленности был совершенно непостижим, потому что лавка была почти пуста. В углах висели большие гирлянды паутины, с потолка свешивалась какая-то веревка, которую Лубков собирался снять в течение десяти лет, а на полках помещались следующие предметы: ящики с ржавыми гвоздями, куски железа, шкворень, всякий железный лом и полштоф с водкой. Более ничего в лавке и не было, кроме дивана, покрытого рогожей. На этом диване любила сидеть жена Лубкова и обыкновенно во время этого сиденья занималась руганьем мужа на все лады. Неподвижная спина Лубкова, подставленная под ругательские речи жены, ленивое почесыванье за ухом или в голове, среди самых патетических мест ее, смертельно раздражали разгневанную супругу.

— Демон! — вскрикивала она в ужасе.

Муж встряхивал головой, и сдвинутый на сторону картуз снова сидел на прежнем месте.

Другого ответа не было.

В понедельник в лавке Лубкова было довольно много посетителей и происходило что-то вроде торговли. Дело в том, что потребность опохмелиться загоняла даже к Лубкову целые толпы беднейших подмастерьев, которые, за неимением своего, тащили добро хозяйское; в сапогах или потаенных карманах, приделанных внутри чуйки, тащили они к Лубкову медную «обтирню» или дрязгу [1], целые вороха всякого сборного железа по копейке или по две за фунт. Все это у него тотчас же покупали люди понимающие. Иногда и сам Лубков принимался как будто делать дело: он выбирал из сборного железа годные в дело петли, крючки, ключи, откладывал их в особое место и при случае продавал не без выгоды. Иногда в общей массе железного лома попадались какие-нибудь редкостные вещицы, например, замок с фокусом и таинственным механизмом. Ради этих диковинок заходил сюда и Прохор Порфирыч, имея в виду «охотников», которым он сбывал любопытные вещи за хорошую цену, платя Лубкову копейками, на что, впрочем, тот не претендовал.

---

[1] Дрязга — медный сор, опилки, мелочь.

Лубков, по обыкновению, молча сидел на ступеньках крыльца, когда с ним поравнялся Порфирыч.

— А-а! Батюшка, Прохор Порфирыч! В кои-то веки!..

— Что же это ты в магазине-то своем не сидишь?..

— Да так надо сказать, что приказчики у меня там орудуют...

— Торговля?

— Хе-ххе-хе...

Порфирыч вошел в лавку и, поместившись на диване, принялся делать папироску.

— Подтить маленичка хлебушка искупить, — произнес хозяин, кряхтя поднимаясь с сиденья, и пошел в лавчонку напротив; под парусинным пологом торговал хлебник, на прилавке были навалены булки, калачи, огурцы и стояла толпа бутылок с квасом, шипевшим от жары. Подойдя к лавчонке, Лубков долго чесал спину, глубоко, по-видимому, вдумываясь и в квасные бутылки, и в огурцы, и в ковриги хлеба. Наконец он коснулся пальцем о белый весовой хлеб и сказал:

— Ну-кося! замахнись на три фунтика!

В то же время в самом «магазине» происходила следующая сцена. Рядом с Прохором Порфирычем на диване поместилась молодая черномазенькая смазливая жена Лубкова, в маленькой шерстяной косынке на плечах, изображавшей красных и черных змей или, пожалуй, пиявок.

— Ты что же, домовой, — говорила она Порфирычу, — когда же ты мне платок-то принесешь?..

— Да ты и без платка выйдешь!

— Ну, это ты вот, на кось!

— Ей-богу, выйдешь! Потому я на тебя твоему главному донесу!

— Мужу-то? Лешему-то?

— Н-нет, Евстигнею....

— Прошка! — ошарашив по плечу еще глупее улыбавшегося Порфирыча, воскликнула собеседница. — Я тебе тогда, издохнуть! башку прошибу...

— Хе-ххе-хе!

Молчание...

— Прохор! — заговорила опять жена Лубкова. — Если это твой поступок, то я с тобой, со свиньей... Тьфу! Приходи вечером... Черт с тобой!..

— Без платка?

— Возьмешь с тебя, с выжиги...

И она еще раз огрела его по плечу.

Порфирыч улыбался во все лицо.

В это время на пороге показался Лубков; он нес под мышкой большой кусок весового хлеба, придерживая другой рукой конец полы своего халата, которая была наполнена огурцами. Свалив все это на стойку, он взял один огурец и, шмыгая им по боку, говорил Порфирычу:

— Какая, братец ты мой, комедия случилась... Алешку Зуева, чать, знаешь?

— Ну?

— Ну. То есть истинно со смеху уморил!.. Малый-то замотался, опохмелиться нечем. Что будешь делать!.. Сижу я, никак вчерась, вот так-то на крылечке, гляжу, что такое: тащит человек на себе ровно бы ворота какие. Посмотрю, посмотрю — ко мне!.. «Алеха!» — «Я». — «Что ты, дурак?» — «Да вот, говорит, сделай милость, нет ли на полштоф, я тебе приволок махину в сто серебром...» — «Что такое?» — «Надгробие», говорит. Так я и покатился! Это он с кладбища сволок. «Почитай-кось, говорит, что тут написано?..» Начал я разбирать: «Поммя-ни». — «Ну, вот я и помяну», говорит... Хе-хе-хе!

Смех...

Лубков откусывает пол-огурца.

— Каммедия! — говорит он, усаживаясь снова на крылечке.

Настает общее молчание. Жена Лубкова грозит кулаком около самого носа Порфирыча. Тот сладко улыбается, полузакрыв глаза...

В обиталище Лубкова он делал дела пополам с шуткой; но я не стану изображать, каким образом тут в руки Порфирыча попадала та или другая нужная ему вещица, отрытая в ящике с сборным железом. Все это делается «спрохвала́», тянется от нечего делать долго, но вместе с тем благодаря талантам Порфирыча не носит на себе ничего отталкивающего. Самый процесс обирания Лубкова весьма мил. Жадности или алчности не было вообще заметно в действиях Прохора Порфирыча: на его долю приходилось слишком много такого, что можно было брать наверняка, без подвохов и подходов; да кроме того, даже при таком тихом образе действий, Порфирыч мог еще подготовлять себе *надобную* минуту. Уходя от нужного человека домой, он находил полную возможность сказать ему: «Так смотри же, *за тобой* осталось. Помни!» Вообще особенность Прохора Порфирыча состояла в уменье смотреть на бедствующего ближнего одновременно и с презрительным сожалением, и с холодным равнодушием, и расчетом, да еще в том, что такой взгляд осуществлен им на деле прежде множества других растеряевцев, тоже понимавших

дело, но не знавших еще, как сладить с собственным сердцем.

Взяв от понедельника все, что можно взять наверняка, Прохор Порфирыч, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, он присел на лавочке, закурил папироску и разговорился с своим соседом. Это был старик лет шестидесяти, с зеленоватой бородой, по всем приметам заводский мастер. На коленях он держал большой мешок с углем.

— Что же, ты бы работы поискал, — говорил внушительно Прохор Порфирыч.

— Друг! Работы? По моим летам теперича надо бы по-настоящему спокой, а я вон...

Старик как-то пихнул мешок с углем.

— Стало быть, нету, — прибавил он. — Что я знаю?

Всю жизнь колесо вертел, это разве куда годится?..

— Плохо! Ну, и... того, потаскиваешь уголек-то?

— И — да! братец мой... Я в эфтом не запираюсь: которые господа у меня берут, те это знают: «Что, старичок, подтибрил?» — «Так точно, говорю, васскородие!..» Так-то! Ничего не поделаешь!

Старик замолчал и потом что-то начал шептать Порфирычу на ухо, но тот его тотчас же остановил.

— Ты, старина, таких слов остерегайся!

Старик вздохнул. Лодка причалила к берегу, и в нее вошла толпа пассажиров: «казючка» (женщина зареченской стороны), больничный солдат с книгой, два мещанина, старик и Прохор Порфирыч. Лодка тихо отплыла от берега.

— Вытащили его? — спрашивал один мещанин другого.

— Вытащили... Главная причина, пять дён сыскать не могли: шарили, шарили... Раз двадцать невода закидывали, нет, да на поди... А он, что же? Какую он штуку удрал!..

— Н-ну?

— Знаешь ключи-то у берега? Он туда и сковырнись, засел в дыру-то, нет — да и полно!

— Вот тоже наше дело, — заговорил солдат с книгой.— Я говорю: васскородие, нешто голыми людей хоронить показано где? А он мне...

— Это к чему же речь ваша клонит? — иронически перебил Порфирыч.

— Чево это?

— В как-ком, говорю, смысле?

Старик прищурился и, видимо, не расслышал иронических слов соседа.

— Он-то, что ль? — заговорил старик. — О-о-о! Он смыслит! Еще как концы-то прячет! Ты, говорит, богом тоже в наготе рожден. Вона ка-ак!..

Порфирыч, откинувшись к краю лодки, с презрительной улыбкой глядел на полуглухого старика, который начал медленно набивать табаком свой золотушный нос.

— Он, брат, пон-нимает!..

Выйдя на берег, Порфирыч повернул налево, мимо каменной стены архиерейского двора. У задних ворот, выходящих на реку, стояло несколько консисторских чиновников [1] в вицмундирах; одни торопливо докуривали папиросы, другие упражнялись в пускании по воде камешков рикошетом и делали при этом самые атлетические позы. У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками. Порфирыч пошел городским садом. На лавке, среди всеобщей пустынности, сидел какой-то отставной чиновник, в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Это современный капитан Копейкин. Принеся на алтарь отечества все во время севастопольской кампании, то есть съев сотни патриотических обедов, устраивавшихся для ополченцев, он и теперь как будто ожидает возвращения такого же счастливого времени. Рядом с ним была женщина подозрительного свойства; она как-то особенно пристально всматривалась в лицо проходившего Порфирыча и делала томные глаза.

— Костенька! — сказала она. — Мне скучно!

— А мне черт с тобой! — злобно прорычал собеседник.

— Как вы вспыльчивы!

Скука, жара...

В середине сада, в кругу, обставленном разросшимися акациями, сидит несколько темных личностей, что-то оборванное, разбитое; одни дремлют, прислонившись спиной к дереву, другие лежат на лавке, подставив спину солнцу.

— Посмотрите-ка, голубчики, что он со мной сделал,— говорит какой-то мастеровой и отнимает от локтя огромный газетный лист. Локоть оказывается разбитым, льет кровь.

— Хло-обысн-ул! — говорит кто-то.

— А? И за что же, голубчики вы мои, он меня этак-то изувечил, как вы полагаете, а? Прросто удивление! Вхожу я к нему, и только два словечка всего и сказал-то; одолжи, говорю, мне Тимофеюшко, на копеечку хренку! Только всего и сказал-то, а? И заместо того, что же?

---

[1] Консистория — церковное управление с административными и судебными функциями.

Все удивились. Прохор Порфирыч понял, что у Тимофеюшки, наверно, теперь расшиблены оба локтя. Он закурил папироску и вышел из сада.

Пошли длинные безмолвные улицы, длинные заборы, взрытые тротуары.

Тишина. Скука. Жара.

— Держи! Держи! — раздавалось вдруг, и на перекрестке мелькала фигура улепетывавшего от жены мастерового.

«Понедельничают еще!..» — думал Прохор Порфирыч.

Наставал отдых. Под защитою «двужильных» трудов Кривоногова, Прохор Порфирыч имел возможность иногда ничего не делать целую неделю, вплоть до субботы. Время отдыха, проводимое другими мастеровыми обыкновенно в кабаке, непьющему мастеровому решительно некуда деть. (Так было двадцать лет назад.) Предоставленный самому себе, он чувствует себя очень неловко: что-то, глубоко задавленное трудом, в эту пору как будто начинает оживать, чего-то хочется, какие-то странные мысли залетают в голову и, застывая в форме неразрешенного вопроса, еще более тяготят малого: дело оканчивается или сном, или кабаками.

Прохор Порфирыч в свободное время принимался посещать знакомых и таким образом избегал обоих несчастий. Зеленый, довольно объемистый сундук его мог указать еще другую пользу знакомств: наполнявшие его разного рода, длины и вида брюки и сюртуки были подарки за ту или другую услугу от разных знакомых. Правда, все эти подарки были довольно дряхлы и засалены, но Прохор Порфирыч умел скрыть эти недостатки не только от глаз посторонних, но, можно сказать наверное, и от самого себя; он был уверен и мог уверить кого угодно из растеряевцев, что это вот, например, сукно аглицкое, этот жилет французского покроя, а такого сукна с искрой, которым покрыто пальто, теперь нигде отыскать невозможно. Знакомился Прохор Порфирыч только с благородными, потому что сам он тоже благородный, и еще потому, что благородный человек не скажет: «угости», а, напротив, угостит сам.

Иногда он был до того глупо доволен своими «благородными» знакомствами, что, казалось даже терял некоторую долю расчетливости, чего в сущности никак бы не могло быть.

После обеда, когда Кривоногов лег в сенях отдохнуть, Прохор Порфирыч тщательно украсил себя чем мог, запас-

ся коротенькою сломанною тросточкою, подарок растеряевского живописца, и не спеша отправился попить чайку и посидеть к чиновнику Богоборцеву.

Знакомство с этим чиновником завязалось благодаря кахетинской курице, забежавшей к Порфирычу и доставленной им в целости хозяину, то есть Богоборцеву. Кроме непреодолимой страсти к курам, Богоборцев имел множество особенностей, совершенно выделявших его из класса «чиновников». Его не интересовали канцелярские тайны и чиновнические разговоры столько, сколько конная, оранье прасолов и цыган; любимым зрелищем его была драка, которую он всемерно старался «подгвазживать», то есть раззадоривать. Любил слушать двухорные концерты и с глубоким вниманием смотрел, как гоняют «сквозь строй», и проч. Книг он не читал ни одной, хотя был уверен, что духовные книги неизмеримо выше светских, но все-таки не читал и духовных. Относительно политики полагал, что «все наши». В двенадцатом году *мы* всех взяли. На поляков сердился и советовал их уничтожить. Насчет внутреннего устройства собственной персоны он не имел никакого понятия; знал, что в человеке есть сердце, «душа», живот, но в каком порядке размещены эти предметы: душа, живот и сердце, — объяснить не мог. Среди сменяющихся поколений, или так называемой «реки времен», господин Богоборцев представлял собою скалу, о которую разбиваются всякие «направления», «плоды реформ», «отрадные явления» и явления, над которыми «можно призадуматься». Все это, бушующее около него даже в провинции, не имело сил хоть на волосок оттянуть его от любимого окошка, где по вечерам Богоборцев неизменно присутствовал и при этом обыкновенно пел весьма нежным голосом:

— «Вво об-облаце ле-эхце-э...» [1]

От жары в квартире Богоборцева были заперты ставни. Раскаленный, отвратительный воздух наполнял сени. Прохор Порфирыч вошел в горницу. Хозяин сидел в полуосвещенной комнате около стола и доедал обед.

— А! Приятель! — радостно сказал он.

— Здравствуйте, Егор Матвеич! Кушайте!

Хозяин отодвинул блюдо и почувствовал, что сыт по горло.

— Ффу, батюшки...

— Жарко-с! — говорил Порфирыч, отирая лицо платком...

— Беда! — сказал хозяин.

---

[1] В легком облаке (церковно-славянск.).

Начался вялый разговор, поминутно прекращавшийся за отсутствием всяких новостей. Обоюдные усилия хозяина и гостя завязать разговор были напрасны. Наконец ударили к вечерне.

— Э-э-э! — радостно произнес хозяин. — Самоварчик пора. Авдоть! Авдотья-а!..

Ответа не было.

— Что она, никак оглохла?

Хозяин вышел в другую комнату, потом в сени. Порфирыч сел посвободнее, оглянул комнату — на стенах висели рамки с разными редкостями: птица, сделанная из настоящих перьев, наклеенных на бумагу; «отче наш», написанный в виде креста, с копьями по бокам; «верую», в виде пылающего сердца. Только такого рода редкостные вещи интересовали Богоборцева в области искусств. Во всей комнате была одна картина, изображавшая людей, но и та попала сюда совершенно случайно. Не понимая ее содержания, Богоборцев был глубоко уверен, что теперь таких картин уже нет нигде. Как любителю редкостей, Прохор Порфирыч часто «всучивал» Богоборцеву разные таинственные замки и прочие вещи, добытые у Лубкова.

Хозяин возвратился с прежним упорным желанием завязать разговор. Прохор Порфирыч, ужаснувшись предстоявшей каторги, прямо ударил в любимую тему хозяина.

— Как куры, Егор Матвеич? — спросил он.

— Что, брат! Горе мое с этими курами! Главное дело, негде держать!

— Это неловко-с!

Хозяин вынимал из шкафа чайную посуду.

— Курице надобен простор, — говорил он, — а я ее в бане морю... Коли хочешь, пройдемся?

Гость и хозяин пошли. Егор Матвеич прошел двор, нагнувшись под веревкой, протянутой для белья, вошел в сад и направился к бане.

— Негде им разойтись-то! — оборачиваясь, говорил он. — Вот!.. Выпусти — украдут!

В темной бане бродило по полу с писком и криком несколько породистых кур и множество цыплят; все это население загомозилось при виде хозяина. Цыплята начали пищать почти не переставая. Один цыпленок забрался на бочку со щелоком и поминутно взмахивал крыльями, опасаясь опрокинуться в пропасть.

— Эко у вас, Егор Матвеич, кочет-то богатый!

— Горлопан-то? о-о-о! Он у меня беда. Ка-агда глаза-то продерет, почнет голосить, смерть!.. Кочет бедовый!..

Вот кахетинки меня сконфузили... Цыпляки как есть все зачичкались.

Хозяин подхватил одного цыпленка с полу и вынес к свету.

— Вот. Погляди-кось!

Цыпленок еле раскрывал глаза и чуть-чуть издавал плаксивые звуки.

— С чего же это они?

— Скука! со скуки... тоска!.. взаперти, выпустить боюсь, народ, сам знаешь, какой?

— Это что!..

— Вот то-то! Ну, и грустит!..

Хозяин пустил цыпленка, отворил передбанник и показал породистую индюшку.

— Вот тоже охота у Филипп Львовича! — проговорил Порфирыч, но вдруг был поражен неожиданной переменою, происшедшей в хозяине.

На лице его выразилось презрение. Филипп Львович был тоже охотник и, стало быть, соперник.

— Много вы с твоим Филипп Львовичем в охоте смыслите?.. О-о-хота! Много вы постигаете в охоте-то!.. — покраснев, в гневе произнес хозяин.

— Егор Матвеич! — испуганно проговорил совершенно струсивший Порфирыч. — Я это истинно, перед богом упомянул, то есть так...

— Вам еще до настоящей охоты-то сто лет расти осталось! У Филипп Львовича охота!..

— Егор Матвеич! Богом вам божусь, я даже сам *обезживотел* со смеху, когда этот Филипп Львович сказал: «У меня, говорит, охота»... Ей-ей... Так и покатился! Собственно, только для этого и упомянул!

— У него охота!

— Ей-богу... Просто обезживотел! У меня, говорит, охота!.. Так я и покатился!.. Ей-ей!

Прохор Порфирыч оробел.

— Знает ли он, — продолжал хозяин, — что такое охота? Настоящая охота, гляди сюда...

Хозяин для примера взял в руки цыпленка и заговорил с расстановкой, отделяя каждое слово:

— Первое дело порода: это ведь он ни шиша не постигает. Потому, есть курица голландская и есть курица шампанская...

— Это верно!

— Погоди! Это рраз! Ежели, храни бог греха, повалят ублюдки, это для охотника что?

Порфирыч молча и испуганно смотрел на хозяина.

— Видишь, вон щепка валяется? Вот что это для охотника!

— Трудно! — сказал Порфирыч, не найдя другого слова.

— Второе дело! — продолжал хозяин. — Шампанская курица бурдастая, из сибе король... бурде — во! Понял?

Порфирыч кашлянул и переступил с ноги на ногу...

— Филипп Львович! Чижа паленого смыслит он! Опять, индюшка: ежели в случае ее по башке: тюк! она летит торчмя головой! Но аглицкий петух имеет свой расчет: он сперва клюет землю...

— Егор Матвеич! — вопиял Прохор Порфирыч, чувствуя только, что он виноват. — Перед богом, я это упомянул только ради смеху, сейчас умереть! Какая же может быть у него охота?

— Болван он! Вот ему цена!

Хозяин бросил цыпленка и вышел.

— Я так и покатился! — говорил Порфирыч, следуя за ним.

Богоборцев не отвечал, хотя и успокоился.

В комнате на столе уже кипел самовар.

Началось долгое и дружное чаепитие.

Через несколько времени Порфирыч остановился у ворот дома, принадлежавшего отставному «статскому генералу» Калачову. Прежде нежели войти во двор, он тщательно осмотрел свой костюм, спрятал под жилет концы галстука, растопыренного в разные стороны «для красоты», и несколько раз откашлянулся. Все это делалось на том основании, что генерал Калачов считался извергом и зверем во всей Растеряевской улице; чиновники пробирались мимо его окон с какою-то поспешностью, ибо им казалось, что генерал «уже вылупил глазищи» и хочет изругать не на живот, а на смерть. Словом, все, от чиновника и семинариста до мастерового, или боялись, или презирали его, но ругали положительно все. Растеряевой улице было известно, что он скоро в гроб вгонит жену, измучил детей и проч. Порфирыч, спасенный генералом от рекрутства, считал обязанностью задаром чинить ему садовые ножницы, разные столярные инструменты, и был тоже убежден в его зверстве. Приведя в порядок свой костюм, он осторожно входил в калитку; представление о генерале разных ужасов почему-то подкреплялось этой необыкновенной чистотой двора, всегда выметенного, этими надписями, начертанными мелом на сырых углах и гласившими: «Не сметь» и проч.

Порфирыч встретил генерала на дворе: он торопливо шел из сада с большими ножницами.

— А! — сказал генерал. — Милости просим! — и скрылся в дом.

Порфирыч зашел зачем-то в кухню и потом робко пробрался в комнату.

В маленькой комнатке, с старинною, но чистою и блестевшею мебелью, сидело семейство генерала: около яркого кипевшего самовара сидела дочь с бледным болезненным лицом и равнодушным взглядом; рядом с ней брат, молодой человек, с изморенным лицом, боязливым взглядом и сгорбленной спиной; он как будто прятался за самовар и нагибал голову к самой чашке. У окна, завернувшись в заячью шубку, грелась на солнце жена генерала, протянув ноги на стул. Лицо ее, действительно, было полно грусти, болезни и скорби. Она постоянно вздыхала и говорила: «О-ох, господи-батюшка!»

При появлении Порфирыча все сказали ему «здравствуй».

— Садись, Проша! — сказал генерал, помещавшийся по другую сторону самовара.

Порфирыч кашлянул и сел. Настала мертвая тишина. Стучали часы, бойко кипел самовар. От самовара и от солнца, ударявшего прямо в окна, в комнате делалось душно. Генерал большой костлявой рукой вытирал огромный запотевший лоб с торчавшими по бокам седыми косицами.

Гробовое молчание. Сын все больше и больше прячется за самовар. Ему понадобилась ложка.

— Ма... Маш... — шепчет он чуть слышно.

— Мм? — спрашивает девушка.

Следуют знаки руками.

— Ло... Лож...

— Что там? — громко спрашивает генерал.

Все замирает. Сын начинает опрометью хлебать чай.

— Нет, это Сеня... — тихо говорит дочь.

Сеня в ужасе вытаращивает на сестру глаза.

— Что ему? — допытывается генерал. — Что тебе?

— Нет-с... это...

— Ты что-то говорил?

— Нет... я...

— А?

— Ничего!..

Сеня высовывает сестре язык.

— Что ж ты там шепчешь?

— Скат-ти-на! — пригнувшись к самому столу, шепчет Сеня, посылая это приветствие сестре.

Снова мертвое молчание.

Порфирыч как-то и сам привык бояться этого громкого и твердого голоса генерала, если бы даже он говорил самые обыкновенные вещи. В мертвой тишине Порфирыч чуял ежеминутно бурю. Такую же бурю чуяли все.

Генерал начал тереть лоб, словно собираясь что-то сказать, но нерешительность и тревога, вовсе не соответствовавшие его энергическому лицу, останавливали его.

— Пашенька! — наконец мягко произнес он.

Жена вздрогнула; дети тоже.

— Там в саду у нас... вербочка. Она так разрослась, и я думаю... что ее необходимо... срубить...

Жена отчаяннно махнула рукой.

— Я знаю, ты ее любишь... но...

— Руби! — нервно и почти визгливо прервала жена.

— Ты, ради бога, не сердись понапрасну... Мне самому ее смертельно жаль... Но я хотел тебе сказать...

— Что мне говорить? — напрягая всю силу горла, заговорила взволнованная жена. — Зарубил одно, захотел?

— Ради бога! Не захотел! Пойми же ты хоть раз в жизни, что я ничего не хочу!.. *Необходимо* срубить... Она задушила у нас две вишни...

Грозное молчание. Жена вся дрожит от новой прихоти мужа, потому что вербочка — ее любимое деревцо.

Прохор Порфирыч подался к двери.

Через несколько времени генерал начал было опять:

— Итак, мой друг, я... принужден...

— Всех руби! — завизжала и закашлялась жена. — Всех режь!..

— Фу т-ты!

Блюдечко с горячим чаем полетело на стол; генерал быстро вышел, хлопнув дверью.

Порфирыч пятился. Жена генерала была близка к истерике, дети были парализованы зверством родителя и сидели с вытаращенными глазами. Тяжесть свинца висела надо всеми.

А генерал между тем заперся в своем мастеровом кабинете и, утирая большим костлявым кулаком слезы, думал: «Господи!.. За что же! за̀ что же это?.. Отчего?» — спрашивал, наконец, он вслух... И все-таки он не знал этого «отчего». Надо всем домом, надо всей семьей генерала парило какое-то «недоразумение», вследствие которого всякое искреннее и, главное, действительно благое намерение его, будучи приведено в исполнение, приносило суще-

ственнейший вред. В те роковые минуты, когда он допытывался, отчего он безвинно стал врагом своей семьи, он припоминал множество подобных нынешней сцен и ужасался... Горе его в том, что, зная «свою правду», он не знал правды растеряевской... Когда он перед венцом говорил будущей жене: «Ты должна быть откровенна и не утаивать от меня ничего, иначе я прогоню тебя или уйду сам», он не знал, что на такую в устах жениха необычайную фразу последует следующий комментарий, переданный задушевной приятельнице: «Признайся, говорит, зарычал на меня ровно зверь... прогоню, говорит...»» Он не знал, что слова его, всегда требовавшие смысла от растеряевской бессмыслицы, еще более бессмыслили ее. Страх, который почувствовала жена генерала перед громким голосом и густыми бровями мужа, она как-то бестолково передала детям. Если, например, случалось, сидела она с ребенком и вертела перед ним блюдечком, то при звуках мужниных шагов считала какою-то обязанностью украдкой бросать блюдце и вертеть ложкой. «Ты что-то бросила?» — говорил муж. «Господи! Вовсе я ничего не бросала». — «Я видел, что ты бросила что-то. Зачем же ты утаиваешь? Отчего ты не хочешь сказать мне?» — «Господи, да вовсе я ничего не бросала». — «Я сам видел». Муж, рассерженный ложью, сердито хлопал дверью. «Господи,— рассказывала жена приятельнице, — пришел, наорал, накричал, изругал... как какую самую последнюю... и за что? Ей-богу, только что вот этак-то блюдцем с Сеней играла... Господи, пошли ты мне смерть». Дети, устрашенные ужасом сцен, происходивших при появлении родителя, привыкли видеть в нем лютого зверя и врага матери. От «папеньки» старались прятаться, потихоньку думать, потихоньку делать и проч.

Так и пошло дело. Страх въедался в детей, рос, рос; бестолковщина растеряевских нравов, намеревавшихся идти по прадедовским следам не думавши, запуталась в постоянных понуканиях жить сколько-нибудь рассуждая. Растеряева улица, для того чтобы существовать так, как существует она теперь, требовала полной неподвижности во всем: на то она и «Растеряева» улица. Поставленная годами в трудные и горькие обстоятельства, сама она позабыла, что такое счастье. Честному, разумному счастью здесь места не было.

Не имея охоты оставаться в чайной, Порфирыч потихоньку спустился вниз, где были устроены две комнаты для детей. У маленького продолговатого окна стояла дочь генерала с лицом, убитым какою-то тупою ненавистью. Яр-

кое вечернее небо так приветно сияло перед ней, и чем больше прелести прибавлялось в нем, тем тупее, злее делалось лицо девушки, потому что бестолково возмущенная душа ее упорно отталкивала эту, посылаемую небом ласку.

— Семен! — нетерпеливо и раздраженно заговорила она. — Отдай мою книгу... я читаю... Отдай!

Семен лежа держал в руках книгу, бегал глазами по строкам и не видел ничего, подавленный тою же, висевшею надо всем домом тупою тоской...

— Отдай мою книгу-у! Семен!

Книга с шумом летит в угол.

— Свинья!

— Скатина!..

Прохор Порфирыч потихоньку поднялся с дивана и ушел. На дворе он увидел генерала, который вытащил из сада и молча бросил под сарай срубленную вербу.

Очутившись за воротами, Порфирыч вздохнул свободнее, снова выпустил и растопырил концы галстука и весело тронулся в путь, намереваясь сделать еще один визит, столько же веселый, сколько и необходимый в видах расчета.

Стоял душный летний вечер; скромные обыватели переулков, по которым шел он, не зажигали огней и все «высыпали» за ворота или высунулись в окна, полураздетые от духоты. В открытое окно из неосвещенной комнаты доносились звуки гитары, и кто-то пел:

Н-не ад-дной ли мы природы
С ттабой, Фе-ня, раждены?

Становилось темнее и свежее...

Прохор Порфирыч стоял под окном маленького домика, выходившего окнами на площадь, носившую название «плац-парада»: обыкновенно здесь происходят разного рода военные упражнения гарнизонных солдат; окно, с большим косяком кумачу в виде занавески, было открыто. Перед ним сидела девица с папироской и с необыкновенно аляповатой грудью, подпиравшей в подбородок.

Распространяя вокруг себя удушливый запах душистого мыла и розового масла, девица едва касалась губами папироски и пискливо говорила Порфирычу:

— Вы бы его привели сюда.

— Помилуйте, Таиса Семеновна! Тогда для них не будет этого, так сказать, рвения... Капитон Иваныч не такой человек. Им много будет приятнее, когда ежели в случае, тайно!

Девица улыбнулась.

— Именно правда! — подтвердила изнутри комнат «тетенька». — Для мужчины первое дело — не подавай виду! Особливо из купеческого сословия, он готов, кажется, себя заложить.

— Да как же-с! Дело известное! Он в ту пору, то есть в случае интерес... Он тут голову прошибет, а уж доберется. По этому случаю, Таиса Семеновна, вы с Капитон Иванычем обойдитесь строго!..

«Эт-то что такое? Как вы осмеливаетесь?», а потом маленечко сдайтесь: «А конечно, мол, я точно без памяти от вашей красоты...» Ну, и прочее...

— Именно правда! — прибавила тетка. — Дай тебе господи за это всякого счастья... Как ты нам от души, так и мы тебе.

— Я истинно только из одного, что вижу я вашу доброту...

— И господь тебя не оставит... Это все зачтется.

— Я так думаю!

Тетенька удалилась в другую комнату; Прохор Порфирыч облокотился на подоконник и покуривал папироску, пуская дым в сторону, для чего всякий раз поворачивал голову назад. Разговор принял более умозрительное направление: толковали о том, что вероломнее. Девица доказывала против «мускова полу», Порфирыч выводил начистоту «женскую часть».

В другой комнате послышалось бульканье наливаемой жидкости.

— Тетенька! — сказала девица. — Хоть бы вы чуточку подождали... Ну, приедет кто?..

— Я каплю одну. Да опять и так думаю, пожалуй, что никто и не приедет, время постное.

Заскрипела кровать; тетенька легла спать.

— О-о, господи-батюшка, — шептала она, изредка икая... — сохрани и помилуй нас!

В это время к дому с грохотом подкатила пролетка, и с нее свалилось на землю три человека.

Послышалось непонятное мычанье.

— Тетенька! Гости! — вскрикнула девица, подлетая к зеркалу и оправляя волоса. — Запирайте ставни.

IV. СУББОТА

В субботу мрачная физиономия Растеряевой улицы несколько оживает: в домах идет суетня с мытьем полов и обметаньем потолков, молотки на фабрике валяют с особенной торопливостью, на улице заметно более движения.

Все полагают, что завтра, в воскресенье, почему-то будет легче на душе, хотя в то же время все вполне достоверно знают, что и завтра будет такая же смертельная тоска и скука, только слегка подрумяненная густым колокольным звоном да огромными пирогами, густо намасленными маслом. У генерала Калачова топят баню вскладчину — кто дрова, кто воду; вследствие этого через улицу бегают девки, кучера, солдаты с водоносами, ушатами. В бане, по причине стечения множества субъектов обоего пола, идут веселые разговоры. Между вкладчиками, людьми благородными, вследствие разных «амбиций» происходят стычки за первенство обладания баней прямо после выхода генерала. Случаются поэтому ссоры.

Часов с шести вечера оживление еще приметней. Вместе с трезвоном колоколов поднимается стук дрожек и пролеток, развозящих по церквам православных христиан. Торопливо возвращаются с фабрик работницы, женщины и девушки; самоварщики целыми фалангами тащат ярко вычищенные самовары в склады; у каждого в руках по две штуки; изредка они останавливаются, становят ногу на тумбу и поправляются с своей ношей, подталкивая ее коленом. На фабриках идут расчеты.

В огромной комнате с низкими сводами столпился рабочий народ с книжками в руках и с крайне тревожными лицами: ждут расчета. И странное дело: как нетерпеливы они в то время, когда хозяин как-то бестолково оттягивает минуту расчета, разговаривая с приказчиком о совершенно посторонних предметах, столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда, наконец, настает самая минута расчета и хозяин принимается громыхать в мешке медными деньгами. Начинается шептанье; передние ряды ежатся к задней стене; иные закрывая глаза и заслонившись расчетной книжкой, какимто испуганным шепотом репетируют монолог убедительнейшей просьбы хозяину: «Самойл Иваныч!.. ради господа бога! Сичас умереть, на той неделе как угодно ломайте... Батюшка!..» Другие, рассматривая книжки один у одного, фыркают и исчезают в толпе.

— Пожалуйте лащет! — произносит мальчишка лет девяти, в синей рубахе, босиком, с растопыренными волосами. Хозяин удивленно взглядывает на него через очки и обращается к приказчику:

— Это что ж такое? Откуда он?

— Да я, признаться, Самойл Иваныч, — говорит приказчик, тронув шею и складывая руки назади, — признать-

ся сказать, в эфтим не могу вас удостоверить... то есть откуда он взялся.

— Давно ли он?

— Да боле, пожалуй, недели... Эт-та, ежели изволите вспомнить, на прошедшей неделе хлеб у нас ссыпали... Ну, я обнакновенно в сарае-с! хлопоты... Вижу, стоит посередь двора вот этот самый кавалер... Я, признаться, крикнул ему: «Будет, мол, тебе башку-то чесать, иди помогай!..» Ну-ну, он и стал... Дали ему потом в кухне поесть... Так вот и того... кое-что помочи дает-с...

— Пожалуйте лащет! — настоятельно повторил мальчик.

— Тебя кто это научил расчету-то просить?

— Большие научили...

— Большие? Ну, это они для смеху.

В толпе смеются, мальчишка молчит...

— Мать-то есть у тебя? — спросил хозяин.

— Нету, я теткин.

— Стало быть, от тетки родился?

Раздался дружный смех толпы, и сам хозяин весело закряхтел от своего смешного вопроса. Мальчишка в первый раз задумался над своим происхождением.

— Что ж ты у тетки-то делал?

— Побирались...

— Где ж она теперь?

— Она упала... ушиблась, в больницу увезли...

— Все молчали.

— Как же теперича его считать? — спросил хозяин у приказчика.

— Да так, я полагаю, считать, что собственно, приблудный-с... на этом счету его и оставить... Бог с ним — пущай... Куда ему?

Хозяин подумал.

— Все, я чай, приставу надо сказаться?

— Н-н-ет-с!.. Я так полагаю, господь с ним... Пущай его. Все что-нибудь в хозяйстве поможет... Бог даст, вырастет, получит свое понятие, тогда уж его дело-с... а может, и еще кто из «своих» сыщется.

Хозяин дал мальчику гривенник. Тот бросился ему в ноги, брякнувшись об пол всем, чем только можно брякнуться: лбом, локтями, коленками...

Толпы рабочих, выходя из ворот фабрики, разделялись на партии: одни шли прямо в кабак, другие сначала в баню и потом в кабак. Бани полны народом: вся река покрыта телами купающихся; в купальнях идет гам, крик, хохот, народу тьма, от большинства отдает водкой; все это

норовит забраться «под самый перемет» купальни и оттуда нырнуть в воду. Берег реки около бань запружен купающимися. Черные фигуры мастеровых торопливо срывают с плеч чуйки, рубашки, слышен говор, смех.

— Ну-ко, господи благослови! — говорит мастеровой и с разбегу летит в воду, откинув напряжением ноги большой кусок земли от берега; вытянутыми вперед руками он врезывается в воду почти вертикально — и исчезает, взболтнув ногами...

— Нырок! — говорит кто-то...

Мастеровой выныряет среди реки и принимается отмеривать саженями, взмахивая головой в сторону, чтобы откинуть мокрые, закрывшие лицо волосы.

Дальше за банями, где берег уложен высокими стенами навоза, в мутных лужах полощутся мещанские девицы, опасаясь на аршин отделиться от берега, так как платье их может быть ежеминутно похищено разного рода юношами. Какая-то смелая баба, с головой, обвязанной платком, решается выплыть из лужи на реку.

— Ха-а, ха-а, ха-а! — грозно вскрикивает мастеровой и пускается за ней вдогонку, необыкновенно сильно и искусно работая руками. Баба в испуге поворачивается назад, взбивая ногами целые фонтаны.

На Большой улице с шумом железных засовов запираются лавки; мастеровые с работами рыщут от одной лавки к другой. Новые времена, отозвавшиеся в торговле, не поддаются на единственное доказательство мастерового: «Христа ради!»

В ярко освещенной лавке стальных изделий сидит на диване молодой хозяйский сын в пестрых брюках; у прилавка, с ящиками разных стальных мелочей, стоит приказчик. Тут же, в качестве посетителя, присутствует лакей, держа под мышкой целый узел разного оружия.

— Так уж я так барину и передам-с, — говорит он.

— Так и скажи, — говорит хозяин.

— Конечно, мне какое дело, мне приказано: скажи, говорит, ему (вам-то), что у меня этого оружия в избытке... Я так вам и передаю... хоть достоверно понимаю, что у них этого избытку не токмо в оружии...

Лакей шепчет.

— То-то и есть! — говорит хозяин.

— Верите ли? — многозначительно произносит лакей, скрестив руки.

— Ихнее дело прошло-о!

— Это как есть!.. Я теперь вижу, к чему идет-с... Теперь попрет купечество... вот-с! Оно теперича еще не очувствовалось как следует. Дай ему обглядеться, беда! Оно теперь робеет... Вот я вам скажу, — один купец купил у нашего барина коляску... а ездить-то боится... Еще робеют-с!

— Капитон Иваныч! — громко произносит мастеровой, появляясь на пороге лавки. — Отец! Что ж мне, околевать, что ли, на улице-то?

— Черти! Что у меня, бык, что ли, с позволения сказать, отелился? Из-за чего я должен разоряться? Ну, купи ты у меня! Видел товару-то? Ну, купи!

— Куда ж это деваться мне теперь?

Хозяин молчал.

— Толкнись к Шишкину... Аль уж, в самом деле, у меня монетный завод? Только и прут, что ко мне... Ступай!

Мастеровой уходит, отчаянно тряхнув головой...

В отворенные двери лавки видно еще несколько мрачных фигур, медленно лавирующих мимо. Они сходятся на углу; слышны слова: «Как тут быть, а?», «Дух вон, — хлеба не на что купить», «Ну, время!..»

Скоро между ними показывается чинная фигура Прохора Порфирыча. Товар его завернут в платок и засунут в рукав, а рукав, в свою очередь, засунут в карман, так что все-таки Прохор Порфирыч ничуть не теряет благородного вида. Неумелые в современных разговорах мастеровые обступают его со всех сторон; слышны просьбы, какие-то клятвы, «за что ни отдать».

— Я, ребята, обещания вам не даю, — говорит чрез несколько времени Порфирыч, — а попытать попытаю.

— Отец!

— Погодите, друзья; сами вы разочтите, какая в этом деле нужна словесность... раз! Окроме того, должен я под него, ирода, подводить махину не маленькую... два! Все это хлопоты! Дело это, приятели, нелегкое... По этому случаю я уж с вас, ангелы, по полтинничку получу...

— Гряби! Хоть бы мало-мало... Палтинник! Гряби смело!

— То-то... Ну-кось вали сюда!

Пять пистолетов падают в расставленный платок.

— Ну, — говорит, улыбаясь, Порфирыч, — творите молитву!

И чинно входит в лавку...

— Мое почтение! — провозглашает хозяин.

— Все ли в добром здоровье? — произносит Порфирыч, почтительно снимая картуз.

Хозяин почему-то таинственно прищуривает один глаз. Порфирыч утвердительно кивает головой. Между ними, очевидно, какое-то тайное дело.

— Так уж вы так вашему барину и доложите, что, мол, у нас у самих товару некуда девать... Опять же, это ихнее оружие не по нас, нам в теперешнее время нужна вещь грошовая, ярмарочная.

— Это само собой...

— Вот что-с! Нам теперича нужна вещь, лишь бы кое-как сляпана. Убьешь — хорошо; не убьешь — еще того лучше: зачем бить?

— Именно, правда ваша! — подтвердил лакей. — Я так вам докладываю: мое дело — исполняй: приказано сказать «от избытка», я исполняю, но достоверно знаю, что не токма...

Следует шептание: хозяин поддакивает, издавая какие-то звуки вроде: «гм... гм...» или: «д-да! во-от!» и проч.

— До приятного свидания, — заключает лакей.

— Будьте здоровы!

Лакей уходит. Лицо Порфирыча превращается в радостную улыбку...

— Ну? — спрашивает строго и любезно хозяин, отводя его в сторону.

— Готово-с!

— Врешь, мошенник!

— Сейчас умереть!.. Я вам, Капитон Иваныч, такую девицу разыскал, истинно пшено! Провалиться!

— Прохор! Я тебя убью!

— Как вам угодно! Это именно уж сам бог вам помогает...

— Ежели ты в случае врешь, — сейчас умереть, так и разнесу!

— Что угодно! Я ей, Капитон Иваныч, так говорю: Таинька! Вы их любите? Вас то есть!..

— Ну?

— «Даже, говорит, до бесчувствия влюблена...» А когда, говорю, вы влюблены, то вы и должны удостоверить Капитона Иваныча в полном размере...

— Ну?

— «Мне, говорит, стыдно: пущай, говорит, они меня сами вовлекут...»

— Первое дело!

— Н-ну-с; по этому случаю завтрашнего числа назначено вам быть в рощу... Там дело ваше! Главная причина, маменька их очень строга, а насчет Таисы, — вполне готова! Можно сказать одно: влюблена.

— А ежели врешь?

— Как вам угодно! Я подвел дело. Теперь трафьте сами...

— Я натрафлю!.. Верно ты говоришь?

— Издохнуть на месте! У меня, слава богу, одна спина-то...

Приятное молчание.

— Ну, Капитон Иваныч, — затягивает Прохор Порфирыч, — с вас тоже могарычу надо будет получить...

В дверях мелькают нетерпеливые фигуры рабочих. Порфирыч грозит кулаком; фигуры исчезают.

— Какой же это могарыч тебе? любопытно!

— Я много не прошу... Нам бы только как-никак перебиться... На вас вся надежда...

Порфирыч, не торопясь, вытаскивает свой револьвер.

— Ах т-ты, идол эдакой, подо что подвел! Небось, опять красную?

— Да уж что делать!

— Клади! Погоди, я тебя и сам подсижу!

— А вот эти рублика по четыре, что ли...

Следует развязывание узла.

— Неси-неси-неси-и-и-и!..

— Капитон Иваныч! Что ж это вы говорите?.. Ради субботы-то хоть снизойдите! Ведь посмотрите вы на эту лузгу, издыхают! А вам все годится... Четыре целковых! Он в работе шесть стоит... Это я вам истинную правду говорю... Капитон Иваныч?..

— Клади! Пес с тобой!

Прохор Порфирыч получает деньги и, отделив себе что следует и даже что вовсе не следует, собирается уйти.

— Погоди, — говорит хозяин, — мы с тобой того...

— Слушаю-с, я сию минуту...

Радостно приветствуют своего избавителя неумелые люди. И потом так рассуждают:

— Экой у этого Прохора ум, братцы мои!

— Чево это?

— Я говорю, у Прохора ума: страсть!

— О-о! У него ума страсть!

Мастеровые медленно разбредаются в разные стороны.

— Прощай!

— Прощай! до свидания... Ты куда?

— Домой. А ты?

— Я-то? Я, брат, домой... довольно!

Но медленность в походке, остановки и размышления над трехрублевой бумажкой, совершающиеся на каждых двух шагах, весьма ясно рисуют борьбу добра и зла, про-

исходящую в душе мастеровых. При этом добро является в фигуре разваленной избы, в которой на трехрублевую бумажку почти невозможно получить ни единой крупицы радости, настоятельно необходимой в настоящую минуту: а зло — в форме кабака, где означенная бумажка может сделать чудеса.

Мастеровой делает еще два медленных шага, зло преодолевает, шаги принимают совершенно обратное направление... и скоро только что расставшиеся приятели с громким смехом встречаются у стойки кабака «Канавки».

К ночи над городом нависла большая туча, и пошел тихий теплый летний дождь... Улицы были совершенно пустынны; нигде ни огонька; ярко горели только кабаки и харчевни. В «Канавке» были растворены окна; из них, вместе с криками и звоном стекла, лились на улицу яркие полосы света и удушливый воздух, раскаленный плитою, на которой клокотали пятикопеечные пироги и селянки; в отдаленной комнате неистово играла шарманка, и огромный бубен ежеминутно и как-то тяжело охал под напором ядреного пальца севастопольского героя. Ближе, среди хохота, раздававшегося с неудержимою силою, по временам шло-пение. Какой-то тощий портной, оцивилизовавший свой почти прародительский костюм разорванным до воротника сюртуком, пел песенку про *вольника* [1], приправляя ее некоторыми жестами. Прежде всего он сделал грустную физиономию, изображая собой старуху, мать вольника, прижал руку к щеке и, всхлипывая, тянул:

Да и что-о же ты, ди-и-тятко...
Будешь тама наси-и-ти?..

Тут певец вдруг встрепенулся и с отчаянным ухарством и присядкой торопливо запел:

Мма-минька — сертучки,— ох!
Сударынька — сертучки,— ох!

Пусс-кай сертучки-и!..
Ну что ж? сертучки-и!
Носить буд-ду серртучки-и!

Прохор Порфирыч, щедро упитанный Капитоном Иванычем, нетвердыми шагами возвращался домой и вследствие непроходимой грязи, растворявшейся в Растеряевой улице, поминутно поскользался на глинистой тропинке и хватался рукой за забор.

---

[1] Человек, охотой идущий в солдаты. *(Прим. Г. И. Успенского.)*

— Эт-то кто такой?.. — вскрикнул он, натыкаясь на что-то живое...

— Да что, друг, шапки никак не сыщу...

— Кто ты такой?

— Я, брат, не здешний. Никак, провалиться, не сыщу этого демона, шапки...

— Что же ты, леший, безо время шатаешься?

— Да все, друг, теплого места ищу, которое ежели бы место, иной раз, сухое...

— Смотри, не попади в теплое-то!

— Я сам, братец, так полагаю... Надо быть, попадешь... во-во-во... Ах ты, анафема! вот она, шельма... ишь! Запотела!

Раздается хлясканье об забор мокрой шапкой...

Прохор Порфирыч пробирается далее... Усилившийся, но такой же тихий дождик чуть-чуть шумит в листьях дерев.

Совсем темно.

У одних ворот возится с лошадью пьяный извозчик; в темноте он растерял вожжи; лошадь переступила через оглоблю и, подаваясь назад, подвернула передние колеса под дырявые и изломанные дрожки, которые вследствие этого свалились набок.

— Тпрр... Тпр!.. — ласково говорит извозчик, засев по колено в грязь и отыскивая во тьме лошадиную морду. — Тпррръю... Трр... Нич-чего!... Трр... Милая!

Прохор Порфирыч, видя беспомощное положение хмельного человека, хотел было сначала посоветовать ему: постучись мол. Хотел потом сам постучаться, но раздумал... «Шут их возьми!» И заключил размышлениями о том, какой человек свинья, ибо завсегда рад облопаться и насчет водки не имеет меры...

Извозчик все копошился в грязи. Лошадь поминутно шлепала в грязь переступившею ногою. Дрожки скрипели.

В непроницаемо темных сенях избы Прохора Порфирыча стояли Глафира и подмастерье. От Кривоногова отдавало вином.

— ... Это разве возможно, — шептал он над самым ухом Глафиры, — извольте послушать. «Хочу в маскарад, ты пьяница, немытая мочалка, вонючая рогожа». — «Я?» — «Ты...» — «Изволь! Ступай с богом». — «В лучшем костюме!» — «Сделайте вашу милость...» — «Я благородная! Ты харя!» — «Как вам будет угодно: на бал — на бал, харя — харя! Как ваша душа желает...» Дверью хлоп, ушла... Потом, того, слышу, с офицерами... Доброго здоровья!.. Это как же?

Вопросительное молчание. Глафира вздыхает.

— Или, — говорит Кривоногов снова, — как вам покажется... Повенчались мы с ней; все как следует: гости, шампанское (околеть, было-с!). Отходим в спальню: как есть муж и жена... Я... Ну, она же, например: «Прочь отсюда... тварь!..» Благородно! Иль как по-вашему?..

Опять молчание.

— Ну, и валялся, как пес у порога... «Вон отсюда!» И уйдешь в кухню... Это жизнь?

Шум дождя начинал слышаться яснее среди безмолвия улицы. Около повалившихся дрожек и спутавшейся лошади возился другой извозчик, уже сам хозяин квартиры и лошади, с фонарем в руках. Он сердито дергал лошадь за узду и злобно кричал: «Ног-гу! н-но!» Слышалось ярое хлясканье кнутом об лошадиную морду. Лошадь билась. Извозчик торопливо и сердито бормотал:

— Прр-апоица!.. Мало ты учен?.. Жживотное! Но-но!

И снова свист кнута...

— Кум! — глухо говорил пьяный извозчик, скрывшись где-то в темноте.

— Право, ненасытная утроба!.. Как ни бьется, как ни бьется, а ж к ночи готов! Па-адлец ты этакой!.

— Кум! — сонно бормотал пьяный.

Извозчик с фонарем молча возился около дрожек. Сальный огарок в фонаре разливал тусклый свет на небольшое расстояние кругом, отчего три большие осины, кучей столпившиеся за забором и слегка освещенные снизу, уходили в темноту своими вершинами и казались бесконечными.

Отворив окно, Прохор Порфирыч присел к окну с папироской; хмельная голова его клонилась на грудь. С крыши лил дождь; где-то вдали с легким гулом вода била в пустую еще кадушку.

— Господи! — шептал Порфирыч. — Сохрани и помилуй ррра-ба твоего!

Лил дождь.

— Ка-арра-у-у-ул! — бушевало где-то далеко.

V. ИДУТ ДНИ И ГОДЫ

«...Горе по горю», — говорит пословица, а стало быть, и в Растеряевой улице все по-старому. Только вид ее и физиономия изменяются сообразно временам года: вот отошли ясные, свежие, осенние дни, поднялись со всех концов неба сизые тучи, заморосил нескончаемый осенний дождь— подошла глубокая осень. Растворилась грязь, настала непроходимая топь, и отовсюду навалилась какая-то непро-

глядная тоска. Ежатся голуби под князьком крыши, пряча носы в перья, и встряхивают в студеных просонках мокрыми крыльями. Ежатся обыватели и устами старух говорят: «Господи! хоть бы зима поскорей!..»

Но вот начались крепкие утренние заморозки: подошел Варварин день, и повалил пухлый, рыхлый снег. В одну неделю покрыл он и улицу, и крыши, и верхушки заборов нежным и рыхлым снежным пологом, из-под которого, словно лица мертвецов из-под савана, смотрят черные, гнилые полуразрушенные растеряевские лачужки. Ударил мороз, повисли на крышах сосульки, понеслись ледянки, зашумела метель и завыла по-волчьи в развалившейся трубе.

— Эка стыдь, эка стыдь! — твердят старухи, кутаясь на холодной печи. — И когда это только весна придет!..

А тут, глядь-поглядь, и весна: вдоль всей улицы с шумом несутся потоки, унося с собою, в какую-то неизвестную сторону, все, что только накопилось, все, что было выкинуто на улицу зимою. Но эта картина топи и разрушения не производит, однако, того мертвящего впечатления, какое бывает осенью. Теплые блестящие греющие лучи солнца, воздух, окрашенный золотом этих небесных лучей, зовут жить. Безумолку трещат воробьи, громко, хоть и устало, каркают отощалые вороны; насильно выпихнутая из закуты корова, еле передвигая ноги, выползла на середину улицы, да так и закоченела под благодатными солнечными лучами; по целым часам не ворохнется она ни одним членом; впалые бока ее, подставленные солнцу, чуть колышутся едва приметным дыханием; глаза тупо смотрят в одну точку. Иногда, разогретая теплом солнечных лучей, она медленно подгибает колени и валится боком на теплую и мокрую землю, испустив глубокий вздох. Галки и вороны бодро разгуливают по ее дымящейся спине, поклевывая в нее острыми носами, но счастливое в эту минуту животное не замечает обиды.

Подошла страстна́я неделя. Громко загудел звучный колокол, а игривый ветер разнес эти звуки по окрестности.

В эту пору хороша даже и Растеряева улица.

А дни идут все теплей и ярче. В яркой зелени дерев исчезли черные вороньи гнезда; под заборами и посреди улицы пролегли извилистые, крепко протоптанные тропинки; солнце начинает припекать.

— Вот и лето! — говорит обыватель, и, сказать по совести, говорит не без тайного ужаса, потому что впереди, в неизвестном количестве будущих годов, видится ему то же тоскливое ожидание проливных дождей, вьюг и метелей.

И опять все то же!

То же и в жизни. Правда, между постоянной борьбой с нуждой и ежеминутными отдыхами от нее в кабаке, в наших нравах бывают минуты, когда несчастным растеряевцам удается «отчунеть», то есть когда в отуманенные головы гостем вступает здравый рассудок, но область, над которою хозяйничает этот рассудок, так мала, что об ней можно говорить только между прочим, хотя, по-видимому, рассудку есть над чем поработать: в эти минуты весь мир божий, от понимания тайн и красот которого растеряевец почти отвык, является множеством неразрешаемых вопросов. В эту пору ново все, что ни попадается на глаза. Между тем крошечные минуты «отчунения» — плохой помощник в таком множестве запутанных дел... Убитый обыватель наш в ужасе успевает только схватиться за свою разбитую голову и, не устояв под напором нахлынувшей на него тоски, спешит снова успокоиться в том же властительном кабаке. Не обладая способностью изображать всю трагичность этих коротких минут, я тем не менее буду продолжать мой рассказ о Растеряевой улице, удерживаясь *по возможности* в области деяний, совершающихся в трезвом уме и здравом рассудке, хотя и не ручаюсь за то, что желание это может быть осуществлено. Трудно не «пить» в Растеряевой улице. Впрочем, мы познакомимся и не с пьяницами только.

Оставим на время Прохора Порфирыча, — он живет так, как жил и прежде, — и будем рассказывать о других растеряевских «замечательных» личностях. Первое место между ними, без сомнения, принадлежит растеряевскому «и иных мест», то есть иных переулков и закоулков «растеряевской округи», известному врачу, или, как он сам себя называет, «медику» — Ивану Алексееву Хрипушину. О нем мы теперь и поведем речь.

VI. «МЕДИК» ХРИПУШИН

Военный писарь Хрипушин с давних пор слыл в растеряевской окру́ге (и в особенности среди растеряевской чиновной мелкоты) за человека, обладающего весьма большими познаниями, и за искусного врача. Будучи человеком талантливым, он не только умел избежать общей участи наших доморощенных талантов, то есть одиночества и беззащитности, но, напротив, постоянно внушал к себе уважение и даже страх. В объяснение этого должно сказать и то, что он ни в чем не следовал примеру наших доморо-

щенных талантов: он не выдумывал perpetuum mobile[1], не ломал головы над устройством какой-нибудь хитрой машины, из-за которой забываются жена и дети и которая оказывается уже выдуманною. Нет, талант Хрипушина был из непогибающих. Цели его были гораздо проще: ему желательно было каждодневно посещать по возможности все растеряевские кабаки и в каждом проглотить по рюмочке.

Достойные цели эти достигались Хрипушиным весьма успешно. Одною из главных причин этих успехов была, по правде сказать, самая его физиономия. Отроду никто не видывал более убийственного лица. Представьте себе большую круглую, как глобус, голову, покрытую толстыми рыжими волосами и обладавшую щеками до такой степени крепкими и глазами, сверкавшими таким металлическим блеском, что при взгляде на него непременно являлось в воображении что-то железное, литое, что-то вроде пушки, даже заряженной пушки. Эта кованая физиономия была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его короткую шею и выпирала наружу огромные серые глаза, которые сами по себе могли поразить человека робкого. Маленький, как пуговица, нос и выпуклости щек были разрисованы множеством синих жилок. Общий эффект физиономии завершался огненного цвета усами, торчащими кверху наподобие кривых турецких сабель. Все это, взятое отдельно и в совокупности, делало, как увидим, удивительные вещи.

Все другие достоинства Хрипушина терялись перед громадностию впечатления его физиономии и служили только как бы подкреплением ее ужаса. К этим качествам его относилась, между прочим, и медицина, которая никогда бы не получила у растеряевцев должного уважения, если бы об этом не позаботился Хрипушин.

Все, что только способно произвести такой эффект, какой производит на детей сказка о жар-птице, все было тщательно собрано им и в разное время заявлено пациентам: рассказаны были случаи с лягушкой, засевшей какими-то судьбами под череп одной купчихи и искусно вырезанной оттуда доктором-мужиком, и т. п. Первое впечатление, произведенное Хрипушиным на пациента, было всегда так велико, что никакая нелепица не могла повредить его авторитету в глазах слушателей. Напротив, слушатель всеми мерами стремился к тому, чтобы как-нибудь объяснить себе причину только что изображенного Хрипушиным чуда, и, не объяснив, ждал себе спасения все-таки от Ива-

---

[1] **Вечный двигатель.**

на Алексеича. В таких случаях лавировка, которую производил Хрипушин, стараясь избежать объяснения, была опять-таки вполне достойна его таланта. Он начинал, по обыкновению, сыздалека, понемногу отклонялся от предмета и доводил дело до того, что успевал осушить с пациентом не одну бутылку водки, после чего начиналось пение духовных гимнов и было не до объяснений. Бывали, впрочем, случаи, хоть и весьма редкие, когда пациент весьма настойчиво обращался к Хрипушину за объяснением непонятной вещи. Тогда Иван Алексеич, с прежнею бодростью и готовностью, снова брался объяснять дело и снова на средине фразы восклицал:

— Да вы, Иван Иваныч, лучше всего вот как... Вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеечек, а я вам всю эту комиссию в книжке доставлю. Рассказывать — всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку?.. Ей-богу! Все авось почитаете...

— Ну что ж, сделай милость!

Хрипушин получал требуемую сумму, засовывал ее за обшлаг рукава, где хранилась у него целая кипа каких-то бумаг, и говорил:

— И во сто раз будет для вас лучше. Опять книга редкостная (и прибавлял он шепотом), строго воспрещена.

— Э-э?

— Да-с! Следят-с, и даже весьма опасно... так что ежели в случае чего, боже избави...

— Бог с ней и с книгой! — говорил, махнув рукой, пациент. — Попадешься еще... Ну ее! Не носи!

— Как вам будет угодно!

— Нет, нет!

— Ну, как угодно... До приятного свидания!

Таким образом Хрипушин выходил сух из воды.

Между множеством черт, усиливавших влияние Ивана Алексеича, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не знал, какого он происхождения, откуда и как попал в наш город. Вопросы эти рождались в умах пациентов потому, что сам Хрипушин иногда намекал на свое благородное происхождение, иронически и зло подтрунивая над своею солдатскою шинелью. О таинственности происхождения Хрипушина заставляли думать и неимоверные познания, которыми он умел блеснуть где нужно. Растеряевцы полагали, что Иван Алексеич знал решительно все, но полное торжество высокопросвещенного человека Иван Алексеич выносил из бесед с пациентами, состязаясь с ними по предметам, знакомым для них. Главною темою для этих состязаний было священное пи-

сание. Растеряевский обыватель-чиновник всегда с любовью вспоминает свою семинарскую жизнь, вспоминает греческую грамматику, когда-то ненавидимую им, герминевтику, гомилетику[1] и проч. Годы чиновничества, конечно, не давали ему возможности упиться вполне прелестью воспоминаний; они выедали в самое короткое время все прежние познания, так что из греческой грамматики растеряевец помнил только: «альфа, вита, гамма»[2], а из герминевтики и из гомилетики только одни названия наук... С такими учеными Хрипушин мог справляться сразу, несмотря на то, что при всей скудости оставшихся знаний, они были народ задорный и любили спорить о высоких предметах, особливо под пьяную руку. Часто среди глухой полночи, в облаках табачного дыма и неистового оранья песен духовного и светского содержания, на пирушке у какого-нибудь чиновника, Хрипушин нарочно заводил спор о высоких предметах и, махая у потолка фуражкой, кричал, покрывая голоса всех:

— Не соглашусь!.. Нельзя! никогда!

— Иван Алексеич! Позвольте!..

— Не могу! Опровергну!

— Пей!

Верх брал, конечно, Хрипушин, ибо впоследствии все спорящие настолько упивались вином, что языки их прилипали к гортаням, а Хрипушин, которого не могли споить никакие попойки, говорил уже один, и непременно тоном победителя.

— Эх вы! — говорил он, покачиваясь над бесчувственными собратиями, — спорить! Да имеешь ли ты столько ума, чучело?

На пациентов женского пола, с которыми ни о каких науках говорить было невозможно, Хрипушин действовал более осязательною таинственностью. Так, входя, он имел обыкновение бросать фуражку в угол и затем с мрачной физиономией говорил:

— Здравия желаю!

— Иван Алексеич! Зачем вы шапку бросаете?..

— Оставьте без внимания, — мрачно говорил Хрипушин. — Это мое дело... Как ваше здоровье?

— Иван Алексеич, батюшка, возьми шапку на окно: право, душа не на месте!

— Сделайте ваше одолжение, не заботьтесь! это дело мое-с... и взять я ее оттуда не могу... Успокойтесь!

---

[1] Предметы преподавания в духовных семинариях.
[2] Буквы греческого алфавита.

К довершению ужаса, Иван Алексеич, знавший, что пациентка следит с напряженным вниманием за каждым движением его, начинал пристально смотреть своими огромными глазами в угол, шевелил усами, едва заметно качая головой, и принимался грозить пальцем...

— Батюшка! Голубчик! — вскрикивала чиновница, хватая Хрипушина за рукав... — Оставь!.. Брось!.. Ради Христа! не мучь!

— Хе-хе-хе!.. Да будьте покойны, что вы-с?

— Будет, будет, ради Христа!..

— Не беспокойтесь! — улыбаясь, говорил Хрипушин.— Вреда никакого нету... Только что... Да вы, Матрена Ильинична, вот что... вы позвольте мне хоть двадцать пять копеек: сварю я вам одну специю...

Но как при такой неисходной таинственности, окружавшей непроницаемым мраком происхождение Хрипушина и историю его жизни, как, повторяю, при всем этом не возбудить подозрения хотя бы просто-напросто «в беспаспортности» и не попасть вследствие этого в квартал? Хрипушин глубоко понимал это и для охранения своей особы от беспокойств и лишений, причиняемых кварталом, сумел заставить полюбить себя, как родную, необыкновенно умную, но загнанную и заброшенную силу, которую не понимает никто, которую всякий может обидеть и засадить в острог. Пациенты любили Хрипушина и дорожили своим медиком, как раскольники берегут и жертвуют всем ради своих попов. С целью достигнуть этой любви, Хрипушин прежде всего старался поднять упавший патриотизм растеряевцев. Во время севастопольской кампании он производил в нашей стороне неописанный фурор... С каким удивительным искусством передавал он подвиги солдата Кошки, ускользнувшего из-под носа целой французской армии! Не забыта была и баба, которую захватили на английский фрегат, для того чтобы отнять моченые яблоки, которыми она торговала, — без конца! В обыкновенное, мирное время Иван Алексеич действовал тоже при помощи разных иноплеменников, только картины выбирал не столь батальные. В мирное время он упоминал о том, как англичане предложили сто миллионов тому, кто «с одного маху» нарисует вот этакую штуку... И что же! Ни один из народов не мог этого сделать... Взялись «наши» — и в одну минуту! От миллионов наши, конечно, отказались и просили полштоф вина и фунт паюсной икры. Потом благодаря Хрипушину растеряевцам было известно, что те же англичане предложили двести миллионов тому, кто год пролежит на одном месте; наши опять взялись — и пролежали втрое более

назначенного англичанами срока... Рассказы в таком роде тянулись до тех пор, пока слушатели-пациенты вполне не убеждались в превосходстве нашего народа над всеми народами мира. Когда это было достигнуто, Хрипушин тотчас же принимал унылый вид и с грустью говорил:

— А как у нас этаких-то людей ценят? стыдно подумать! стыд! срам!..

И затем начинались доказательства: тут упоминалось и о трех денежках в сутки, и об участи изобретателей разных секретов, о механиках-самоучках и т. п. Затем Хрипушин находил удобным выдвинуть на сцену, наконец, и себя.

— Да вот, — кротко говорил он, — хоть бы и мое дело... Слава богу, пятнадцать али больше годов пользую публику и никогда от нее неудовольствия не видал, а между прочим, позвольте вас спросить, какое же я себе награждение вижу?.. Шинелишка-то эта да фуражка? — это, что ль? Да ведь это и все, на всю жизнь! Еще и теперича, случается, иной раз не евши сутки-двое проходишь; ну, а как старость-то придет, тогда как?

При этом Хрипушин вынимал из обшлага рукава скомканный в кулак изодранный клетчатый платок, торопливо утирал нос и слегка касался глаз, на которых показывались слезы. Благодаря частому морганью заблиставших слезами глаз и в особенности благодаря скомканному, рваному клетчатому платку Хрипушин приобретал полное сочувствие публики.

— А случись доктор какой-нибудь, будь на моем месте немец? И людей бы морил и миллионщиком бы сделался!

— Это верно! — подтверждали слушатели.

— Да уж я вам говорю! А что же он, будьте так добры, особенно-то имеет? Знаем-то мы, пожалуй, и почище его кое-что... Ну, а еще-то чем берет? Н-нет-с, у нас своих не ценят ни в грош! Немцы-с! ученые-с! как можно, чтобы, мол, какой-нибудь Иван Хрипушин с ним поравнялся!.. А Иван-то Хрипушин иной раз, пожалуй, и с ученым бы потягался... А как вы полагаете?.. Да я вот что скажу: насчет заочного лечения навряд ли, чтобы со мной кто равенство имел...

Рассказав несколько действительно изумительных случаев заочного лечения, причем иногда приходилось лечить не видя пациента и не зная его болезни, так как пациент старался держать это дело в секрете, он восклицал:

— А ну-кось, немец-то?.. Что он тут выдумает? Язык смотреть? Э-ге, брат!.. Окроме языка, еще много чего есть... Позвольте, будьте так добры, уж еще рюмочку... Язык!

Нет, ты попробуй этак-то, когда тебе ничего не показывают, тогда я с тобой поговорю!

Хрипушин выпивал вторично и прибавлял:

— А наш брат все без хлеба, все середь улицы валяется!..

Таким образом, при помощи своих познаний, Иван Алексеич достигал того, что каждый день возвращался домой с практики под хмельком. Жил он в глухой улице, и не один, как были все уверены, а с раскольницей-женой, от которой ему не было житья ни днем, ни ночью. Можно не ошибаясь сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа из дому единственно ради его рыжих волос, и была причиною того, что Хрипушин из боязни, чтобы не умереть с голоду, выдумал свою медицину и всю свою изумительную эрудицию. В доме супруги он делался агнцем, терял всю свою солидность и думал только о том, как бы защитить свою голову от ударов супруги, грозивших обрушиться на него каждую минуту.

Ко всему этому мне остается прибавить немного. Костюм Хрипушина был: солдатская старая шинель, с разнокалиберными пуговицами и воротником, затянутым до невозможности. На голове он носил фуражку, внутри которой помещался платок. Насчет способа лечения должно сказать, что Иван Алексеич избирал средства преимущественно радикальные: у одного чиновника, например, с детства сидел в ухе кусок грифеля, — Иван Алексеич предложил ему стать вверх ногами. Один из пациентов его надорвал живот, — Хрипушин брал больного на плечи и, держа за ноги, встряхивал несколько раз. Вообще деятельность Хрипушина была велика и разнообразна, и количество знакомых большое.

VII. ХРИПУШИН ИЩЕТ РЮМОЧКИ

Идет Хрипушин по глухому Томилинскому переулку, одному из бесчисленных переулков «растеряевской округи», и раздумывает, где бы ему выпить рюмочку и закусить икоркой? Кругом стоит полуденная тишина и зной. Где-то, в отдалении, среди густых фруктовых садов скрипят одним концом качели; в стороне слышится удар ладыжкой в забор, и вслед за тем детский голос кричит: «Плоцка!», «Шестер!» Звук шагов, раздавшийся под окном у мастерской сапожника, заставил хозяина, сидевшего за работой, поднять голову и засвидетельствовать Ивану Алексеичу почтение.

— Здравствуй, здравствуй, друг! — говорил Хрипушин, трогая фуражку. — Как бог носит?

— Ничего, Иван Алексеич! Помаленьку... День без хлеба, два дни так... Хе-хе-хе!

— Доброе дело! Ну, будьте здоровы!

— Счастливо!

Сапожник снова принимается за работу и, тихонько попевая, продергивает обеими руками дратву, постукивает о каблук молотком и поплевывает куда надо, а Хрипушин продолжает свое шествие. За несколько шагов до мелочной лавки он снова принужден снимать фуражку, так как хозяин, завидев Хрипушина, оставил свой зеленый стул, помещавшийся на высоком лавочном крыльце, и раскланивался с ним, держа шапку на отлете. После обоюдного приветствия Иван Алексеич, по обыкновению, спрашивает: «Как здоровье?» Хозяин поблагодарит, объявляя, что все слава богу.

Так идет прогулка Хрипушина в ожидании практики. Но вот, наконец, и самая «практика».

— Иван Алексеич! — раздалось над самым ухом Хрипушина.

В маленькое ветхое окно выглянула физиономия старушки-чиновницы Претерпеевой. Старушка кивала головой по направлению во внутрь комнаты и шепотом говорила:

— Зайди, зайди, отец мой!..

— Здравия желаю! — почтительно произносит Хрипушин, столь же почтительно наклоняя набок обнаженную голову.

— Зайди, батюшка, дело есть!.. Одно только словечко сказать...

— С великим удовольствием!

Хрипушин вступил на маленький топкий двор, нагибаясь в низенькой двери, пролез в сени и, наконец, очутился в горнице. Везде на ходу замечал он признаки расстроенного хозяйства, нерадения, неряшливости, везде на глаза его попадались вещи сломанные, разбитые, опрокинутые, грязь, немытые полы и лужи. «Парадная» комната, куда он вошел, веяла тою же пустынностью и отсутствием заботливости; шкаф, предназначенный для посуды, был пуст — на верхней полке болталась позеленевшая медная ложка, на нижней помещались тарелки с иззубренными и заклеенными замазкой краями. Все семейство Хрипушин застал в расстройстве и негодовании. Четыре дочери Претерпеевых, одетые весьма небрежно, ходили, надувшись друг на друга. Самая старшая из них, обладавшая, кроме невзрачного платья, еще каким-то невероятным коком на

самом лбу, наткнулась на Ивана Алексеича в передней и сердитым голосом сказала ему:

— Ах, мусье Хрипушин, ради самого бога, хоть вы усовестите их!.. Это, наконец, невыносимо! Сил нет!

— Что ж такое-с?

— Да тятенька!

Девица вспыхнула и с сердцем толкнула дверь в кухню.

Иван Алексеич, почуяв общую беду, медленно вошел в комнату и осторожно присел на стул около стола.

— Посмотри-кось сюда, отец,— шептала старушка, поднимая из-за стула пустой графин, на дне которого торчал перечный стручок.— Вот эдаких-то три уж!.. а? день-деньской, день-деньской, без роздыху! Эка жизнь! Господи!

Хрипушин молчал и соображал.

— Намедни,— продолжала старушка, нацеживая из другой посуды рюмку водки,— намедни три раза из должности присылали, управляющий спрашивал,— не мог! Ну, без чувств, как есть, и людей не узнает! А? Эка жизнь! Выкушай, Иван Алексеич... Как же быть-то, отец?.. Нет ли чего-нибудь?

Старушка умоляющими глазами смотрела на Хрипушина. Тот вздыхал, кряхтел и прожевывал закуску. Где-то, за перегородкой, слышался невнятный бред спящего человека и злой, нетерпеливый шепот сестер: «Отдай мою шпильку! Это моя шпилька!» — «Вот еще новости!» — «Марья! отдай! я закричу!» — «Очень нужно!»— «У! бесстыжая!» Хрипушин все кряхтел и соображал. В комнату быстро вошла старшая дочь, шлепая стоптанными башмаками; в руках у нее был медный изломанный кувшин с водой; не обращая внимания на плескавшуюся из кувшина воду, она с сердцем толкала коленями стулья около окон, с сердцем тыкала пальцем в засохшую землю запыленной ерани и с таким же ожесточением затопляла забытый цветок водою.

— Да из-за чего вы изволите беспокоиться?— решился проговорить Хрипушин.— Все, слава богу, благополучно!

— О, ну вас, ради бога!

Слезы быстро наполнили ее глаза, и она бросилась в дверь, стукнув кувшином о притолку.

— Обеспокоены!— заметил Хрипушин.

— Да, батюшка!— слезно заговорила старушка.— Какое же тут может быть спокойствие!.. Кажется, дрожим, дрожим!.. Опять, пуще всего в том досада, ничего не говорит...

— Молчит?

— Молчит и молчит!.. Что ни думали, что ни делали, ничего!

— Болезнь трудная...

— Ммм...— послышалось за перегородкой... — Н-невозможно!

— Как запущена!— прищуривая глаз, прошептал Хрипушин и покачал головой.

— Запущена?— плача повторила старушка.

— И весьма запущена!

— Батюшка!..

— Н-невозможж!..— опять раздалось за перегородкой.

В разных углах дома раздалось всхлипыванье.

— Покой-с! Покой дайте больному!— останавливал Хрипушин рыдавшую старушку.

— Видите?— срыву проговорила старшая дочь, на мгновение появляясь в дверях; глаза ее были красны.— Видите?— продолжала она, указывая рукой на перегородку.

Хрипушин изумленно смотрел на нее. Девушка, не говоря больше ничего, повернулась и исчезла, хлеснув пружинами кринолина об стену.

Настало тягостное молчание. За перегородкой не слышно было никаких звуков; слезы исчезли, но общее негодование и грусть говорили, что беда еще не миновалась.

— Так как же, батюшка?— спросила, наконец, старушка, вытирая глаза концами изорванной шали.

— Да надобно, Авдотья Карповна, подумать-с... Что вы-то печалитесь?

— Ох, отец мой!..

— Вы должны показывать собой пример! Вы — мать! Через ваше уныние, может, еще более у Артамона Ильича недугов прибавляется?.. Это нельзя-с!.. Да кроме того, с божиею помощию, сварим мы кой-какую специю: может, оно и полегчает...

— Специю или что-нибудь, что знаешь, батюшка! а не то свози ты его к бабке в Добрую Гору... Многим старушка помочи дала... Сделай милость!.. Век, кажется, за тебя буду бога молить...

— И это можно... Только не унывайте и не ропщите... А насчет старухи как вам будет угодно: могу и за ней съездить и Артамон Ильича свозить...

— Свози! свози ты его, благодетель наш...

— Извольте, извольте-с... Только не будет ли у вас мелочи сколько-нибудь... На первое время...

VIII. СЕМЕЙСТВО ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Лет двадцать тому назад семейство Претерпеевых представляло картину совершенно другого рода. В то время Артамон Ильич и Авдотья Карповна только что перебирались, после брака, на житье в эту Томилинскую улицу. Артамон Ильич, длинный сухопарый чиновник, подновивший женитьбою свою тридцативосьмилетнюю физиономию, отличался высокою кротостью и вполне подчинялся жене. Авдотья Карповна была маленькая черноволосая свежая женщина, насквозь пропитанная хозяйственностью: ни одной щепки, нужной в хозяйстве, она не пропускала без внимания и делала все это без крику, без брани, с лицом постоянно веселым. Впоследствии, когда, наконец, супруги поселились в своем маленьком новом домике, Авдотья Карповна до того предалась хозяйству, что Артамону Ильичу решительно нечего было делать. Авдотья Карповна, не уставая, шныряла из кухни в комнату, из комнаты в погребицу, шила, вытирала стекла, выгоняла мух, сдувала пыль и проч. Артамон Ильич благоговел перед женой и тосковал, не имея возможности хоть чем-нибудь содействовать успеху собственного благосостояния.

Счастье самое полное царило в жилище Претерпеевых. Авдотья Карповна старалась, из угождения к мужу, возвести хозяйство до высшей степени совершенства. Артамон Ильич, не зная, чем угодить жене, безмолвствовал, не пил ни капли водки, не спал после обеда и не носил халатов. Любовь его к Авдотье Карповне, согревшей его сердце, долго стывшее в холостой жизни, была беспредельна. Артамон Ильич, впрочем, не мог с достаточною экспрессиею выразить эту любовь: лицо его оставалось по-прежнему спокойным, даже несколько холодным, и о признательности своей он не говорил жене ни единого слова; тем не менее супруги боготворили друг друга.

Шли годы. У Претерпеевых явились дети, из которых остались живы только четыре дочери. Но и увеличение семейства не было еще в силах поколебать совершенно правдивое боготворение, питаемое супругами друг к другу. Явились новые расходы; Авдотья Карповна завела корову и принялась торговать молоком и творогом. На огороде был разведен картофель, и осенью открыта продажа всех овощей. Все шло как нельзя лучше. Авдотья Карповна одна справлялась с нуждами семейства; Артамону Ильичу оставалось по-прежнему быть покойным и благоговеть. Он так и делал, потому что, когда однажды, в видах соблюдения расходов, он попробовал было отказаться от нового

казинетового сюртука, то Авдотья Карповна мало того что сделала ему внушение, но, кроме сюртука, сшила еще новые сапоги. Сама же Авдотья Карповна, по мере того как подрастали дочери, отказывала себе во всем: она по годам трепалась в двух старых ситцевых платьях и носила шаль, которую за негодностью не хотела надевать даже ее бабушка. Вследствие этих сбережений, в комнате дочерей появились четыре новых сундука для приданого, и в них уже покоилось по нескольку трубок хорошего полотна.

Этими урезываниями собственных нужд в пользу будущего приданого заботы Авдотьи Карповны о дочерях не ограничивались.

Однажды Авдотья Карповна объявила мужу, что желает отдать старшую дочь Олимпиаду в пансион. Артамон Ильич давно уже догадывался об этом желании супруги и, по правде сказать, боялся его. Разные одинокие размышления привели его к убеждению, что «образованность» не принесет его дочерям ничего, кроме погибели. Он обдумал это во всех подробностях, и поэтому что ж мудреного, что, когда жена обратилась к нему за советом, сердце его екнуло. Где возьмет он силы победить этот умоляющий взгляд супруги? Разве хватит у него духа разбить так давно лелеянную ею мечту?

— Как же ты думаешь?— спрашивала убитым голосом Авдотья Карповна, испугавшаяся бледного лица мужа.— Али уж не отдавать?— прибавила она с замирающим сердцем.

— Нет! нет!— воскликнул Артамон Ильич. — Отчего же?

И Олимпиаду отдали в пансион.

В первый раз Артамон Ильич допустил в своих отношениях с Авдотьей Карповной неправду, и душа его была возмущена. Неспокойна была душа и у Авдотьи Карповны; она подглядела бледность на лице мужа в то время, когда дело шло о пансионе, и со страхом подумала: «Неспроста это!» Почудилось ей, что Артамону Ильичу вовсе не хотелось учить дочь.

«А если он не хотел этого,— думала Авдотья Карповна,— стало быть, имел основательные резоны. Артамон Ильич не такой человек, чтобы сдуру что сделать...»

Когда эти соображения залетели в голову Авдотьи Карповны, она в первый раз почувствовала перед мужем какую-то провинность и трепетала каждую минуту, боясь увидеть доказательства собственного промаха. Устроив дочь в «пансион», она с особенною внимательностью принялась следить за каждым движением Артамона Ильича,

за каждым изменением физиономии мужа. Прошло много лет, сотни куличей и сдобных булок было поднесено начальницам Олимпиады в день их тезоименитств и в высокоторжественные праздники; дочь перевели уже в последний класс, а Артамон Ильич по-прежнему безмолвствовал, по-прежнему не спал после обеда и не пил водки. Все было как должно. Раз даже, когда сама Авдотья Карповна чуяла беду неминучую, Артамон Ильич ни на волос не изменил своей тихости; Олимпиада явилась с просьбою свозить ее в театр.

— Все бывают,— кисло говорила она,— а я нет! Я хочу в театр!

Артамон Ильич молча сделал дочери удовольствие. Как Авдотья Карповна пристально ни смотрела на мужа, в эту минуту она ничего не заметила и порешила было совсем успокоиться, как случилась новая история. За несколько месяцев до выпуска Олимпиада обратилась к родителям с предложением распустить на всех ее платьях складки. Просьба эта была произнесена таким капризным тоном образованной барышни, с такими энергическими надуваниями губ, что Авдотья Карповна помертвела. К довершению испуга ее, Артамон Ильич, преспокойно сидевший у окна, при последних словах дочери повернул голову и посмотрел на нее пристальным взглядом.

Складки были распороты, Олимпиада удовлетворена, Артамон Ильич неизменен, но в жизни супругов не было уже чего-то. Не было правды. Авдотья Карповна, чувствовавшая свой промах перед мужем, понимавшая, что у Артамона Ильича на душе не сладко, приписывала его муку себе, всеми мерами старалась сделать ему угодное и делала все поэтому против собственной воли, которую она ставила ни во что и не верила ей. Таким образом, благодаря дочери супруги незаметно разъединились. Между ними не было уже той откровенности, какая царила прежде. В каждом последующем их действии присутствие «конфуза» делало несообразности, каких они никогда и ожидать не могли. Предметом этих несообразностей была все та же Олимпиада, которую все более и более начинала одолевать «образованность».

При каждом требовании ее Авдотья Карповна, из угождения мужу и большею частью против собственного желания, восклицала:

— Как это можно!

— Нет! нет!— прерывал Артамон Ильич, пораженный в самое сердце несообразным желанием дочери.— Что ты,

Авдотья Карповна? Отчего же и не сделать ей удовольствия? Худого нет...

И удовольствие делалось с общего согласия. Наивные супруги начали конфузиться друг друга и хотели взаимным угождением прикрыть свою наготу, словно листком. Благодаря этой добродушной стыдливости все требования «образованности», проявлявшиеся в Олимпиаде, удовлетворялись вполне. Этому, кроме того, много способствовала безграничная любовь к дочери, которую они не решались огорчить. Таким образом, Олимпиада Артамоновна, смертельно тосковавшая в доме родителей, все время по окончании курса проводила в одном «барском» семействе, где была ее подруга по пансиону. Артамон Ильич знал, что семейство это принадлежит к числу разорявшихся дворян, еле дышащих на последние крохи, но все-таки сам провожал дочь свою туда на вечера «с танцами», так как разорявшееся семейство, при малейшей возможности вздохнуть, тотчас же задавало балы и разные затеи. Балы эти и другие прихоти Олимпиады Артамоновны повели за собой невероятные для супругов расходы. Явилась надобность в платьях, лентах. Целые дни в доме Претерпеевых шла кройка материй и шитье нарядов; растеряевская портниха, или, как ее здесь называют, «модница», имела здесь полный простор для своей деятельности. Все это вконец измучило обоих супругов. Артамон Ильич потерял всякое соображение, Авдотья Карповна — всякую расторопность; она как-то осовела и целые дни еле передвигала ноги, будто только что вышла из жаркой бани. В таком парализованном состоянии супруги опростоволосились до того, что, по желанию Олимпиады Артамоновны, устроили в своем крошечном жилище званый вечер, ибо этого требовало «приличие», как справедливо заметила дочь. Услыхав предложение о бале, Авдотья Карповна подумала про себя, что в самом деле надо же отплатить господам за их радушие к дочери, но под влиянием побледневшего лица Артамона Ильича воскликнула:

— Что ты! Что ты! Где нам балы задавать... Вот еще, господи!

— Нет, нет!— восклицал Артамон Ильич, посоловевший от этой затеи...— Отчего же? Мы, слава богу, не нищие!

И, в доказательство своих слов, он бросился в лавку за покупками, дрожа всем телом.

— Вот как у вас нонче, Артамон Ильич!— сказал ему лавочник.— Бал!

— Голубчик!— почти со слезами прервал его Артамон Ильич.— Не говори!

Во все время «бала» Артамон Ильич и Авдотья Карповна походили на каких-то истуканов с оловянными глазами; Артамон Ильич дошел даже до того, что, когда кто-то из молодых людей пожелал закурить папироску и попросил огонька, он не двинулся с места и страшно испугался. Но когда забренчало фортепиано и начались танцы, Артамон Ильич очнулся: на физиономиях кавалеров и в их поступках он заметил что-то нехорошее; он видел, как кавалер, взявший Олимпиаду на польку, подмигивал соседу и старался половчее обхватить талию своей дамы; он видел, как в ответ на это другой кавалер многозначительно покашливал и слегка поддакивал ему утвердительным кивком головы. Иногда Артамон Ильич, словно в забывчивости, делал шаг по направлению к танцующим, чтобы остановить дочь, повисшую на руке кавалера, но мысль, что эти кавалеры и все эти благородные барышни будут смеяться потом над Олимпиадой, останавливала его, и он снова тащился в угол. В другой раз он инстинктивно отправился в сад, куда перед тем скрылась Олимпиада с кавалером. Но едва он сделал шаг, едва услышал издали веселый разговор дочери, как ноги его почему-то не пошли дальше. Как он проклинал этого негодного кавалера!.. Наконец, когда дочь его сердито крикнула: «Это что за новости?», Артамон Ильич бросился к беседке и хотел оборвать кавалера, но почему-то только кашлянул и поспешил уйти.

Рано ли, поздно ли, а все эти увеселения кончились. Олимпиаде Артамоновне пришлось жить исключительно в доме родительском, и она действительно страшно скучала. Гнев ее возбуждало все, начиная от захолустья, где жили они, до кривого зеркала, в котором самое ангельское лицо превращалось в лицо сатаны. Кроме того, Олимпиаду Артамоновну мучило то, что после разлуки с «высшим» обществом ей решительно негде было показать себя и своих нарядов; единственный пункт, где собиралось общество, была церковь, но кого же приходилось ей встречать здесь: мастеровых, сапожников, мещан, чиновников с запахом водки и с небритыми бородами. Она одна по целым дням сидела дома, и ей не с кем было слова сказать...

— Отвращение!— с сердцем говорила она.

Артамон Ильич безмолвствовал.

Прошло три года; подросли другие три дочери, образование которых было возложено на Олимпиаду Артамоновну и которые, вследствие этого, не знали ровно ничего;

они позаимствовали у сестры только манеру надувать губы, весьма выразительно говорить: «Атвращение», и начали выступать против родителей с собственными протестами, пользуясь тем, что протесты сестры переносят родители беспрекословно. По примеру сестры, они роптали насчет складок и т. п. Авдотья Карповна, не считая их образованными, пробовала было прикрикнуть на них:

— Вы-то что? Вам-то какого еще рожна недостает?— сердилась она.

— Маменька! Это что такое?— вступалась Олимпиада.— Так только на горничных можно кричать... Мы не горничные!

Авдотья Карповна замолкла. Протесты, таким образом, повалились на стариков градом со всех сторон... Года через два-три они уже сводились, к счастию, на одно только требование «жениха». В недовольных физиономиях дочерей родители явственно читали это требование: даже Олимпиада Артамоновна, кажется, непрочь была в настоящую минуту от посещений хотя бы и растеряевского кавалера.

— Ну, Артамон Ильич,— сказала, наконец, как-то Авдотья Карповна мужу.— Тащи женихов, ваших-то, палатских!

— С великим, матушка моя, удовольствием!— обрадовавшись, отвечал Артамон Ильич.

Никогда супруги не были так радостны и веселы... Но радость их была недолга.

По всей «растеряевщине», во всем соседстве Претерпеевых, про них шла уже молва. Томилинские дамы были обижены неприглашением на балы, томилинские кавалеры — пренебрежением к ним, по случаю знакомства с петербургскими и высокоблагородными, а главным образом вследствие того, что им не удалось отведать тех дорогих вин, которые года два тому назад покупались для благородных гостей. Все это обрадовалось и возликовало, когда, во-первых, узнало от лавочника, что три целковых, должные за стеариновые свечи, до сих пор не заплачены Претерпеевыми, и, во-вторых, когда увидело самого Артамона Ильича, с особенным рвением желающего завлечь к себе нашу томилинскую молодежь.

— Ай!.. подошло!— радостно подмигивая друг другу, говорили чиновники и перемигивались.

— Что же это у вас господа-то помещики петербургские не бывают?— спрашивали они, подсмеиваясь над Артамоном Ильичом.

— Уехавши-с!.. Давным-давно-с...

— Гм... Уехали!.. Ну, а Олимпиада-то Артамоновна отчего такие завсегда тоскливые?..

— Ах, господи Иисусе Христе!— вскричал Артамон Ильич.— Чего тоскливые? Да господь ее знает!

— Господь!— поддакивали чиновники и подмигивали одним глазом.

Таких «кавалеров» Артамон Ильич завлек в свое жилище только тогда, когда обещал угостить вишневкой и на закуску подать маринованных пескарей. Кавалеры, наконец, начали посещать Претерпеевых. Но, господи, что это были за кавалеры, что это были вообще за люди! Обезображенные бедностью и одиночеством, они словно дикие звери смотрели на постороннего человека. Один вид искаженных физиономий, эти грязные манишки с торчащими из-за галстука тесемками, эти вечно испуганные лица, редко прилипнувшие на висках и на лбу волосы — все это в совокупности могло возбудить отвращение не только в Олимпиаде Артамоновне, но и вообще в человеке, не выносящем неопрятности. Ни один из них не умел сказать путного слова, то есть просто-напросто кавалеры эти не говорили ничего: об чем им было говорить с такой барышней, как Олимпиада Артамоновна, которая говорит по-французски, играет на фортепиано и в разговоре употребляет слова вроде: «афрапировало» [1] и проч. и проч.? Они чувствовали себя несколько свободными только тогда, когда Артамон Ильич просил их выпить водочки; тут они делались истинными артистами, потому что искусство глотания рюмок было доведено ими до высшей степени совершенства. Тут они на взгляд Олимпиады Артамоновны представлялись просто «мужиками»... Отвращению ее не было пределов. Вслед за ней томилинских кавалеров забраковали и другие сестры. Артамон Ильич хотел было вразумить дочерей, что иначе и быть не может, хотел было заговорить, но, увидав, что Авдотья Карповна сочувствует дочерям, стал поддакивать жене и предложил отказать кавалерам.

— Как это можно!— возразила Авдотья Карповна, по обыкновению против собственного желания.

— Нет, нет!— в свою очередь возражал ей муж.— Нельзя... Великая неволя с этакими пьяницами!

Кавалеры томилинские были изгнаны. Тут-то они и показали себя во всем блеске. Застенчивость и конфуз, одолевшие их при Олимпиаде Артамоновне, заменились тою высокою наглостью, на какую способны только одичалые

---

[1] От французского слова «frapper» — ударять, потрясать.

люди. Без ругательств они не могли пройти мимо ее окна и старались, чтобы она непременно слышала их слова. В церкви, на улице указывали пальцами, примаргивали, присвистывали. Целые истории пущены были в публику про претерпеевскую барышню: рассказывали, что не дальше как третьего дня у Претерпеевых был помещик Арапников, наделавший в прошлом году шуму своим кутежом с актрисой, и будто бы подарил ей брошку. Некоторые «дамы» рассказывали, что они сами своими глазами видели эту брошку. Другие прибавляли, что Олимпиада была уже вместе с матерью в гостях у Арапникова, и ссылались, в подтверждение этих слов, на извозчика Гришку, который будто бы из гостей привез одну мать. Томилинская скука подхватила на удочку эти новости и целые дни трубила о претерпеевской барышне. Везде, где только ни показывался Артамон Ильич, с ним, не церемонясь, начинали разговор о его дочерях... Артамон Ильич так упал духом, так был убит всем этим, что, думая восстановить истину, пытался вступать с клеветниками в горячий спор и, не одолев, почти со слезами начинал умолять.

— Неправда! — говорил он. — Все лгут! Как не грех перед богом?

— Мы, брат, знаем!— отвечали ему.

— Да не верьте вы, Христа ради! Какой это такой и Арапников есть на свете, мы его и в глаза не видали. Я — отец! Я знаю!

— Ничего ты не знаешь, хоть ты и отец! А спроси-кось ты извозчика Гришку, он тебе кое-что порасскажет.

— Господи!— произносил с отчаянием растерзанный Артамон Ильич и умолял только об одном: не рассказывать этих слухов больше никому...

Но этими муками на улице и в канцелярии мучения его не исчерпывались. Дома мучило его сожаление своих дочерей, своей жены и вид нищеты. Дочери знали, что про них толкуют томилинцы; были обижены ими и поэтому злы... Как на корень зла, негодование дочерей прежде всего обрушилось на Артамона Ильича, который решительно ничего не умеет сделать, даже женихов для дочерей не мог отыскать и пригласил каких-то тряпичников, которые врут про них безумолку всякие нелепости. К довершению картины общего расстройства в семействе, Артамон Ильич заметил вражду между самими сестрами: они поминутно ссорились между собою за ленту, за булавку и причину непосещения их молодыми людьми приписывали Олимпиаде в той же мере, как и отцу. «На тебя никто не угодит!— говорили они ей...— Графа тебе, что ли, нужно? Бешеная!» Артамон

Ильич видел, как с каждым днем под влиянием тоски и злобы увядали свежесть и красота его дочерей. Видел, как Олимпиада Артамоновна, сама постигнувшая свои ошибки, смотрела на него как на дурака; не умевшего остановить ее вовремя; видел, как его любимица-дочь ходила в изорванных платьях, в стоптанных башмаках, наконец чуял злобу и негодование, царившее над всем его домом; понял, что все пропало, все лезло врозь, и желание их с женой сделать жизнь детей лучше не удалось, и вот он сразу запил, а через год-другой сделался просто-таки «горьким пьяницей».

«Растеряевщина» не ожидала такого окончания. Она сжалилась над Артамоном Ильичом. Всякий, кто от скуки сплетничал про его семью, спешил помочь ему, если видел, что Артамон Ильич упал на тротуаре и не может подняться.

— Артамон Ильич, батюшка! Что с вами? Вставайте, сделайте милость!— говорил испуганный сосед.— Пожалуйте вашу руку, я вам подсоблю.

— Не стою! Н-не стою!— кричал Артамон Ильич. — Н-не стоит дураку помогать!.. Дурак! Дурак я!

— Вставайте скорей, бог с вами! увидят люди,— что хорошего...

Артамон Ильич не соглашался. Если же соседу и удавалось вымолить его согласие, то и после того возни с ним было еще много.

— Вставайте, вставайте! — говорил сосед.

— Н-нет, поз-звольте!— вырывая руку из руки соседа, лепетал Артамон Ильич...— Кто вы? В первый раз в жизни вижу вас!..

— Будет вам, ради бога!

— Н-нет, позвольте!.. И решаетесь оказать помощь беспомощному?.. Кто вы, благодетель мой?..

— Сосед! Сосед ваш... Иванов... Вставайте!.. Дайте руку...

— Извольте-с!.. встану!..

Сосед начинал подымать Артамона Ильича, полагая, что, наконец, все кончено, как вдруг Артамон Ильич вырывал назад свою руку, снова падал на тротуар и бормотал, стаскивая с головы шапку:

— Н-нет, позвольте... Я перекрещусь!.. Бога я благодарю... за вас!.. Он! он, батюшка... владыко, послал...

И Артамон Ильич нетвердою рукою крестил свое лицо, мгновенно затопленное слезами.

Дома Артамон Ильич был молчалив и, явившись в нетрезвом виде, старался забиться куда-нибудь в угол, в чу-

лан, на погребницу, и при появлении сюда кого-нибудь из семьи закрывал глаза, притворяясь спящим. Никогда от него не могли добиться слова. Недуг Артамона Ильича вконец расстроил семью. Разоренье дошло до высшего предела. На службе держали его только из жалости и грозились выгнать, если дела пойдут в таком виде «впредь». К бесчисленным заботам Авдотьи Карповны прибавилась забота и о муже. Она ничего не жалела, лишь бы поставить его на ноги; знахарки и разные умные люди шептали над ним, отчитывали по «черной книге», поили всякой всячиной, но ничего не помогало. Хрипушин, неоднократно пользовавший Артамона Ильича, оправдывал неуспех лечения тем, что ему никогда Авдотья Карповна не давала докончить его как следует; непременно поторопятся, позовут другого, и все, что сделал он, Хрипушин, пропадает ни за что. Такие оправдания поддерживали в Авдотье Карповне веру в знаменитого медика, и она решилась еще раз обратиться к нему...

После свидания, изображенного в первой сцене, Хрипушин дня через два подъехал к дому Претерпеевых на телеге. Артамон Ильич только что проснулся и был трезв. Когда ему объяснили причину приезда Хрипушина, он тотчас же согласился с женой насчет познаний бабы-знахарки и не сомневался в собственном исцелении, хотя вполне знал, что никакая Добрая Гора и никакой Хрипушин не сделают ни на волос пользы.

Артамона Ильича усадили в телегу; рядом с ним сел Хрипушин. На перекрестке медик и пациент перекрестились, пожелали себе успеха и повернули за угол... Вослед им долго смотрела из окна Авдотья Карповна...

Выехав в поле, Хрипушин почувствовал, что ему совестно перед Артамоном Ильичом, лицо которого ясно показывало, что он ни на волос не верит волхвованиям старух и Хрипушина, а едет лечиться единственно из угождения семье.

Долго между обоими ими тянулось самое мучительное молчание. Артамон Ильич заговорил первый.

— Это ты лечить меня, Алексеич, собираешься?— сказал он с горькой улыбкой.

— Да надо бы, Артамон Ильич,— смешавшись, заговорил Хрипушин...— Надо бы вам... того... попользовать вас...

— Э-э, голубчик!— перебил пациент.— Друг!— присовокупил он, касаясь плеча извозчика. — Повороти-ка ты лучше всего налево... Вон туда!..

Слева от дороги торчал кабак.

Возница стал поворачивать. Хрипушин безмолвствовал.

Артамон Ильич проснулся в траве около кабака на другой день ввечеру. Хрипушин, успевший во время припадка своего пациента дать несколько благих советов целовальничихе и ее старухе-свекрови, стал торопить его домой. Ему нужно было доставить Артамона Ильича трезвым. Скоро они собрались и поехали.

— Хоть по крайности, ежели уж излечить вас нельзя,— въезжая в Томилинскую улицу, говорил Хрипушин,— по крайности фигуру-то свою хоть на минуту соблюдите.

— Фигуру-то я... я соблюду!— согласился пациент.

После общих надежд на благополучие, надежд, особенно ревностно подтверждаемых самим Артамоном Ильичом, на столе в горнице закипел самовар, и Авдотья Карповна вступила с Хрипушиным в самый дружеский разговор. Артамон Ильич вышел пройтись в сад. Здесь он прилег на скамейке в беседке и долго-долго рыдал.

В соседнем саду слышался веселый смех, и скоро в беседке, отделенной от Артамона Ильича забором, послышалось бряканье чашек, шипение самовара и, наконец, разговоры.

— Чем же мне угощать вас, господа?— говорил сосед Иванов, оказавший вчера Артамону Ильичу помощь на улице.

— Что за угощение!— отвечали любезно гости, и один из них тотчас же прибавил, понизив голос:

— Соседки у вас, Семен Семеныч,— вот это разве...

— А, понравились? Хотите, посватаю?..

— Неужели же возможно?

— Это уж наше дело!.. Хотите?..

— Брюнетка особенно недурна... Вот бы!..

— Э-э-э! — перебил хозяин, — вот вы куда! Олимпиаду! Нет-с, уж на этот счет — извините! Эту я для себя берегу.

— Подлецы вы, канальи, мерзавцы!— во всю мочь гаркнул Артамон Ильич и опрометью бросился из сада на двор, со двора на улицу...

А Хрипушин и Авдотья Карповна восседали за самоваром и продолжали дружескую беседу. Хрипушин истощил, наконец, все аргументы, которые подтверждали его убеждение в окончательном исцелении Артамона Ильича, в заключение своей беседы он уже взялся за шапку и хотел было упомянуть: «Нет ли, мол, у вас, Авдотья Карповна, хоть сколько-нибудь мелочи...», как неожиданно под окнами послышался знакомый голос Артамона Ильича.

— Н-невоз-зможно!..— бормотал он, стукнувшись плечом в ставню.

Хрипушин, завидев беду, незаметно юркнул вон из комнаты и скрылся.

IX. ОСИРОТЕЛАЯ СЕМЬЯ

Артамон Ильич Претерпеев умер; горький недуг, охвативший его в последнее время, скоро свел бедного чиновника в могилу. Авдотья Карповна, казалось совершенно ослабевшая от несчастий и расстройств семьи, после смерти мужа неожиданно снова очнулась, пришла в себя и поняла, что теперь только от нее зависит все; нищета, исчезновение последних средств к существованию, общее несочувствие или какое-то враждебное отношение к семье Претерпеевых всех знакомых и соседей — все это сразу обрушилось на одну Авдотью Карповну. Бедная женщина вся впала в какой-то припадок хлопотливости и суетни; целые дни шмыгала она своими слабыми, старческими ногами по городу; на плечах ее был надет какой-то невероятно ветхий люстриновый салоп, сгнивший у подола и носивший на спине радугообразные, линялые полосы; ветхая, запыленная и искалеченная шляпка, засаленное прошение, крепко прижатое к груди,— жалостью и тоскою веяли на встречного человека, а тусклые, совершенно безжизненные глаза, в которых нельзя было приметить ничего, кроме тупого страха, заставляли встречного сомневаться в твердости ее рассудка. Целые дни убогую фигуру Авдотьи Карповны можно было видеть то на том, то на другом перекрестке, то на том, то на другом крыльце канцелярии или палаты. Каждый день во всех передних знатных и сильных особ Авдотья Карповна успевала десятки раз упасть на колени, хватать вельможные ноги и получать утешительный ответ: «Все, что только от меня зависит...» и проч. Помощь и работу дали ей такие же горемыки, понимавшие размеры печалей Авдотьи Карповны, или богатые купцы, старающиеся успокоить свою совесть с помощью черствых кусков кулебяки и позеленелых екатерининских пятикопеечников.

Целый день такой неустанной гоньбы по городу, молений, просьб и слез доставлял Авдотье Карповне возможность не сидеть вечером без огарка сальной свечки и не мучиться без чаю и сахару более трех дней. Вечером, иногда очень поздно, возвращалась она в Томилинскую улицу и, запыхавшись, выкладывала перед семьей добычу с общественной благотворительности. Нищета и ужас положения были так велики, что ни одна из дочерей Авдотьи

Карповны не решалась пустить в ход доморощенной критики и с покорностью пожевывала засохшую, черствую купеческую кулебяку или принималась за шитье и штопанье белья казенных рабочих, или вообще за какую-нибудь другую, не совсем сообразную с званием их работу. В эту пору даже Олимпиада Артамоновна не решалась уже более уснащать речь свою французскими оборотами. Иногда только, когда ей приходилось довольствоваться только соленым огурцом вместо обеда или шить какую-нибудь слишком пикантную часть мужского туалета, она решалась подумать, что такое занятие способно ее унизить. Труд в то время считался делом унизительным.

Так и пошли дела Претерпеевых.

Месяцев через семь-восемь после смерти Артамона Ильича все позабыли о существовании семьи Претерпеевых. Хрипушин, знавший по слухам о печальном положении их, не находил особенно приятным для себя возобновлять знакомство, прерванное смертью пациента; кроме того, он решительно не надеялся отыскать у Авдотьи Карповны не только ничего по части «мелочи», но положительно был уверен, что когда-то хлебосольная хозяйка эта не найдет возможным теперь нацедить ему даже малую пропорцию увеселительного напитка. Хрипушин поэтому и не заглядывал к Претерпеевым по крайней мере с полгода и, по всей вероятности, не заглянул бы сюда никогда, если бы к этому времени в нашей улице не зачуялись признаки нового времени. Хрипушин ощутил их на убыли пациентов, на проявлениях какой-то недоверчивости в них и на весьма ощутительной скудости угощения. Не раз с горечью запускал он растопыренную пятерню под фуражку и, царапая свою голову, решительно недоумевал: где бы найти тихое пристанище, то есть приличную порцию очищенного и ошалелую от скуки пациентку.

— И что ж это за время!— вскрикивал он, хлопая себя по бедрам и в ужасе выбегая на улицу после неудачного визита.— И где же это видано? В какой земле? Чтобы ежели, например, ты пользуешь человека, и как есть всей душой, а он тебе только всего, что: «будьте здоровы!» И где же это самое благородство? Ну хоть бы же он насмех, хоть бы он мне в рожу-то плюнул: на, мол, полрюмки, сполосни свое сердце... А то... Ах!..

И Хрипушин снова в ужасе хлопал о свои бедра, качал головой, ахал и почти бегом пускался куда глаза глядят, на «авось»...

Раз, в припадке отчаяния, вследствие отсутствия всякой возможности где-нибудь выудить выпивку, Иван Алек-

сеевич решился на последнее средство: зайти к Претерпеевым. Не без внутреннего волнения подходил он к знакомому домику, чувствуя всю тягость картины, которая ожидает его там. Каково же было его удивление, когда вместо печалей и воздыханий он встретил в семействе Претерпеевых всеобщую радость. Вся семья Артамона Ильича обступила Хрипушина с радостными восклицаниями: «Слава богу!», «Слава тебе, господи!» Все хватали его то за один, то за другой рукав, тащили каждый в свою сторону, чтобы рассказать какое-то неожиданно приятное происшествие, и чуть даже не целовали. Авдотья Карповна, захлебываясь от восторга и дрожа всем телом, пробилась, наконец, сквозь толпу дочерей и за плечи усадила на стул дорогого гостя.

— Погодите! Погодите!— умоляла она дочерей, усаживаясь рядом с Хрипушиным.— Дайте вы мне хоть словечко... хоть словечко!..

— Иван Алексеич! нет, посмотрите, что... Мусье Хрипушин!— трещали не переставая дочери. — Позвольте, маменька, дайте я расскажу!

— Дайте вы мне, Христа ради, хоть одно-то словечко!

— Позвольте, барышни, в самом деле! — вмешался Хрипушин.— Позвольте маменьке... Ах ты, боже мой! а? Слава богу! Слава богу!.. Рад! Ей-ей, рад!..

— Так рады, так рады!..— голосили все...— Посмотрикось, какое дело-то!— говорила Авдотья Карповна.— Изволишь видеть, отец мой... Пошли мы к обедне...

— Авдотья Карповна! — перебил Хрипушин. — Одну минуту! Нет ли, Христа ради, какой росинки! Верите ли, все нутро изожгло! Ах бы в ножки вам поклонился!

К общей радости, графин с перечным стручком оказался не безнадежно пустым. Хрипушин, торопившись слушать интересный рассказ хозяйки, впопыхах проглотил три довольно объемистых рюмки, крякнул, черкнул ладонью по мокрым усам и торопливо произнес:

— Нуте-с, матушка, благодетельница?..

Аводтья Карповна развела руками и как бы в недоумении начала:

— И не знаю, как это тебе рассказать-то!.. И не знаю, как мне бога благодарить!.. Видишь, отец мой: пошли, говорю, мы к обедне... Месяца полтора тому будет... Стоим у сторонки этак кучкой, ровно бы прокаженные какие: молимся так-то, дескать, когда это господь-то по нас пошлет? Унываем мы таким манером, а Лимпиада все что-то на сторону поглядывает... «Что ты это,— говорю шепотом, — все на сторону поглядываешь?..» — «Да, говорит,

вон смотрите, какой-то, говорит, мужчина на нас покашивается...» Оглянулась я: точно, стоит мужчина, и нет-нет да на нас глазом и замахнет... все покашивается...

— Покашивается?— глубокомысленно спросил Хрипушин.

— Все покашивается!

— Гм... да-да-да... Ну-с?

— Хорошо! Выходим из церкви, идем домой и, между прочим, нет-нет да обернемся назад, глядь — и он обернулся!..

— Цссс...

— Что за чудо? думаем. Что ему от нас? Думаем себе: верно, так что-нибудь. Однако же прошла неделя, идем к обедне, глядь: опять он!.. И опять он все это как бытдо бы...

— Покашивается?— перебил Хрипушин.

— Да-да! Все как бытдо бы глазом норовит.

— Что ж? Слава богу!— в умилении произнес медик.— Олимпиада Артамоновна! Как вы полагаете?..— продолжал он, ядовито прищурив глаз.

— Вот глупости!

— Отчего ж? Пущай его! ничего... Слава богу! Ей-ей! Ну-с, матушка, Авдотья Карповна?..

— Ну, друг сердечный, так это дело и пошло... Где мы, глядь — и он торчит!

— Вот тут самое интересное!..— сказала Олимпиада не без иронии.

— Погоди, не перебивай... Дай ты мне договорить!

— Дайте, барышня, маменьке вашей договорить... Ну-с?

— Ну, хорошо!.. Так все это и идет... Раз сидим мы так... дома сидим... скучаем... вдруг подъезжает мужик: «Здесь, говорит, такие-то живут?»— «Здесь...»— «Прислано вам, говорит, вон капуста... в день ангела...» (точно, Стеша была именинница). «Кто прислал?»—«Не приказано говорить..» Пытали, пытали — нет!.. Так мы растрогались, даже заплакали, право!

Хрипушин глубоко вздохнул.

— Ревем,— со слезами продолжала Авдотья Карповна,— и думаем: где это такой благодетель есть?.. За что нам господь милость свою посылает?.. Немного погодя, глядь, воз картофелю... фунт чаю... сахару... и все неизвестно от кого!.. Целковых, поди, на пять он, батюшка, нам всякой провизии презентовал! Каково это?

Хрипушин долго молчал, опустив голову вниз...

— Слава богу!— произнес он, пожав плечами и вздохнув.— Слава богу!

— Думаю я так, что беспременно *он* это посылает.

— Это который все покашивается-то?

— Да?— вопросительно произнесла Авдотья Карповна.

— Больше некому!— заключил медик.— Больше некому. Он... Олимпиада Артамоновна?.. Как вы полагаете?..

— Будет вам, пожалуйста!..

— Хе-хе-хе!.. Он, он-с!.. Что ж? Слава богу!..

— Сколько мы ни разведывали,— начала снова Авдотья Карповна,— никто не знает... Наконец вчера принесла от него баба ногу телятины... Стали мы ее молить-просить; сначалу-то не поддавалась... ну, а потом, видит наше умиление, сказала: чиновник, вишь, Толоконников...

— Белокурый?..— встрепенулся Хрипушин.

— Вот! Вот!— заговорили все разом.— Всхохлаченный такой!

— Знаю!..— стукнув рукой об стол, закричал Хрипушин.— Знаю!

— Лицо этакое еще суровое...

— Знаю!.. Знаю!.. Теперь я понимаю... А? Ай да Семен Иванович! Покашивается! Каков? Проберу!.. Проберу, вот как... хе-хе-хе... Каков? Позвольте-ко мне полрюмочки!.. Каково? Молодец!..

Хрипушин, пользуясь общим восторгом, успел опорожнить графин и собрался тотчас же отправиться к Толоконникову для пробрания последнего сообразно его проступкам.

— Проберу-с!— подмигивая и обращаясь к Олимпиаде Артамоновне, говорил Хрипушин. — Проберу-у! Нельзя!.. Как можно? Нет!

Авдотья Карповна убедительно просила медика передать этому благодетелю самую безграничную благодарность. Хрипушин обещался примерно наказать преступника и дал слово притащить его в будущее воскресенье к Претерпеевым, дабы сама Олимпиада Артамоновна распорядилась с кавалером, как только ей будет угодно.

Уходя, Хрипушин, вследствие неустойчивости ног, налетел плечом на притолоку и, пользуясь этой остановкой, снова обратился к Олимпиаде Артамоновне.

— Барышня! — сказал он нетвердым языком.— Как вы полагаете?.. Покашивается-то?.. Э-э? хе-хе-хе...

X. ЖИЗНЬ И «НДРАВ» ТОЛОКОННИКОВА [1]

Семен Иванович Толоконников принадлежал тоже к числу кавалеров «растеряевской округи», и, следователь-

[1] Под фамилией «Толоконников» здесь изображено то же самое лицо, которое в очерке «Дела и знакомства» носит фамилию Богоборцева. *(Прим. Г. И. Успенского.)*

но, сердца «наших» дам и в особенности их сундуки с приданым были не совсем безопасны от посягательств этого юноши. Юноша этот имел от роду около тридцати шести лет, был с виду угрюм, богомолен и, что всего удивительнее, не пил ни капли водки... Такие качества его, по-видимому, могли бы сулить томилинским дамам полное счастье и благоденствие, между тем на деле выходило не то, так что слово «небезопасны» я употребил с полным основанием. Прошлое Семена Ивановича до минуты поступления его на службу было обставлено множеством разного рода оскорблений: в детстве, в доме родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, единственно ради непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства; в училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам; затем, исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из палат, и здесь к его мизантропии, начинавшей проглядывать в отрывистых ругательствах к сослуживцам, прибавилось еще несколько весьма резонных причин. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какою-то притчею во языцех чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору общее полупрезрение, которым он был окружен, заставило его подумать о себе: у него начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его надо жалеть, а не насмехаться над ним; а так как над ним насмехались, то он, жалея себя, стал чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волос не подготовили его к чиновнической жизни, к чиновническим интересам, и «выбиться в люди», отомстить путем чиновническим он не мог никак; сколько он ни ломал голову над этим предметом, сколько ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить так, как его сотоварищи, ничего не выходило из этих многотрудных стараний... Тоска его, по всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастью Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича состояла в том, что его поместили в отдельной комнате, в самом углу здания, вдали от тех частей палаты, где кишат рои опротивевших ему чиновников. Семен Иванович занимался исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту. Чиновники забегали сюда только на одну минуту.

Семен Иванович целые дни оставался в обществе молчаливых сторожей и в обществе бобровой шубы господина управляющего, которая безмолвно висела на гвозде как раз против физиономии моего героя. Тишина здесь была неописуемая. Отсутствие людей и человеческих звуков доставляло Толоконникову истинное удовольствие и незаметно навело его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достижения более или менее счастливой жизни. С этого времени, не отдавая себе обстоятельного отчета в своих поступках, стал Семен Иванович устраивать собственное хозяйство.

Со времени поступления Семена Ивановича в должность прошло уже более пятнадцати лет, а он по-прежнему живет один-одинешенек. Хозяйство его доведено до высшей степени совершенства; посмотрите, чего-чего только нету у него: в шкафу, в верхней половине, все полки заставлены посудой, которой хватит на пятьдесят человек: тут и вилки дюжинами, и ложки, и чашки, и проч. и проч. — все подобрано под одну масть, «под кадриль», как выражается Семен Иванович. Нижняя часть шкафа, то есть комоды, битком набиты бельем разных сортов и видов; попадаются даже принадлежности женского туалета, и тоже все дюжинами, всё новенькое, нетронутое... По стенам лепятся сундуки; откройте их и загляните туда: платье и летнее и зимнее наложено целыми ворохами, моль бродит по нем, потому что Семен Иванович никогда еще не решался надеть и носить этого нового платья, — все ему чуется, что в нем самом или вокруг него нет чего-то такого, что бы дало ему право стать наравне со всеми, быть как другие, и ему стыдно было одеваться так, как одеваются другие. «С чего такого, подумают люди, вырядился?» — полагал Семен Иванович, и платье гнило в сундуках, ожидая счастливого дня... Хотите вы папирос, Семен Иванович тотчас же предложит вам их во множестве сортов, лёгких, крепких, хоть сам никогда не выкурил ни одной папиросы. Хотите вы выпить водки или вина, Семен Иванович мгновенно представит вам и то и другое, хотя сам никогда не брал капли в рот. Словом, все, «что только вашей душе угодно», все найдется у Семена Ивановича; все это лежит недвижимо, наготовлено на пятьдесят «персон», ждет кого-то. И все никого нет, все героя моего одолевает тоска по чем-то, все он нет-нет да прикупит, для собственного утешения, новый подсвечник или сошьет новую шинель на вате и тотчас же навеки погребет ее в сундуке. Людей знако-

мых, вообще хоть какого-нибудь человеческого общества, у него нет. Каким-то чудом избежал от пьянства[1] и поэтому никак не мог заводить знакомства с чиновниками, так как вся жизнь провинциальной чиновнической мелкоты только и держится (двадцать лет назад было так) на выпивании, похмелье и опять выпивании. Из них могли рассчитывать на его знакомство только люди престарелые, прослужившие двойные служебные сроки, непьющие и ропщущие, как и Семен Иванович, на весь божий мир, или, напротив, новички чиновничьего мира, юноши неопытные и тоже страдающие. Семен Иванович мог даже первенствовать между теми и другими; но он знал, что никуда не годные старцы и неоперившиеся юноши не составляют людей «настоящих», самостоятельных, к которым бы Семену Ивановичу хотелось принадлежать. Из таких людей, в ряду его знакомых, был только один купец, который хотя и допускал его откушать чайку, но особенной важности особе его не придавал. Надо было еще чего-то...

Мало-помалу тоска Семена Ивановича начала выливаться в более определенные формы и заявлять более определенные требования. С течением времени все с большей и большей раздражительностью начал он принимать к сердцу такие вещи, как, например, похвала какому-нибудь постороннему лицу. С завистью слушал он, как какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господ и боялась опоздать домой хоть минутой. Семен Иванович в этом страхе кухарки видел силу и власть барина и считал его не только настоящим человеком, имеющим право жить, но и человеком необыкновенно счастливым. Услыхав какой-нибудь подобный этому рассказ кухарки или горничной, Семен Иванович тотчас приравнивал себя к строгому барину и находил громадную разницу... «Небось,— думал он,— моя Авдотья этак-то не задрожит!..»

И Семен Иванович вздыхал...

За слишком долгое отсутствие всех приятных ощущений, какие доставляет жизнь, Семен Иванович, в вознаграждение своих долгих страданий в одиночестве, начал требовать с какою-то болезненною жадностью самого безграничного уважения. Разговоры кухарок про строгих господ, хорошие отзывы о «других», вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинциального общества, — все это навалилось на него какою-то громадною тяжестью и заставило его жаждать власти хоть над курами. Таким

---

[1] Его спасала «охота», любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям и т. д. См. гл. III. *(Прим. Г. И. Успенского.)*

образом, из Семена Ивановича выходил давно знакомый нам отечественный самодур. Постороннему наблюдателю это казалось совершенно ясным, но сам Семен Иванович очень смутно постигал, чего ему хочется. Самодурство как-то уродливо копошилось в нем.

Вот сидит он один в своей комнате; он только что воротился от всенощной; кругом комнаты у потолка и особенно в углу ярко горит множество лампад; в комнате душно, пахнет деревянным маслом и тишина. Семен Иванович отпил чай; благоговейное ли мерцание лампад, или торжественная тишина действует на него, только он упорно молчит; изредка, среди безмолвия, раздается едва слышное пение: «Услыши, господи, молитву-у мо-ою...» и потом глубокий-глубокий вздох... Снова тишина, снова пение: «Ду-ушу мою к молению...» и снова еще более глубокий вздох...

— Господи, господи! — наконец громко произносит Семен Иванович.

Входит старуха кухарка. При всей привязанности к женскому полу, Семен Иванович никогда не мог осуществить своей мечты — нанять молодую бабу; делалось это, конечно, по тем же самым причинам, по каким он не мог носить нового платья. Кухарка, кряхтя и охая, направляется к столу.

— Что ты?

— Самовар убрать.

Семен Иванович чувствует потребность добыть из кухарки хоть какую-нибудь крупицу утехи своему наболевшему самолюбию.

— Возьми, — говорит он кротко и потом прибавляет не без негодования: — то-то, брат Авдотья, у нас все так! Барин-то когда чай отпил, а ты только, господи благослови, трогаешься за самоваром.

— Нешто у меня сто рук-то?.. Небось, не одно дело...

— Молчи! — раздражительно, но неторопливо произнес хозяин. — Ма-алчи! Ты про дела говорить не смей... Ты...

— С чаво ж такое не говорить-то? Экося дело какое!

— Не говори, Авдотья! Слышишь или нет?

Семен Иванович грозно приподымается с дивана: Авдотья отступает, прижав к груди самовар.

— У тебя дела? — продолжает хозяин. — А где же это ты рожу-то нажевала? пришла как щепка, а теперь эво рыло-то.... все это от делов?.. Ах ты, бессовестная тварь!.. У тебя дела!

— Ну, пошел мутить!

— Нет, погоди... Стой! Я говорю, где ты нажевала рожу?

— Ты на меня не кричи! Чего ты, воевода какой отыскался?.. — вскрикивает в свою очередь кухарка. — Каки-таки, вишь, дела! Мало, что ль, делов-то? У тебя добра-то эва навалено... все прибери!

Семен Иванович, побагровевший и готовый на отчаянную брань, вдруг почувствовал, что фраза кухарки насчет изобилия добра пролила в его сердце нечто беспредельно отрадное; он утих и молча опустился на диван.

— У тебя,— продолжает в том же воинственном тоне кухарка, — эва что всего понапихано!.. Где ни повернись... Ровно бы помещик какой живешь, а я, небось, одна... Каки-таки дела... Эва-а!

— Ах, дура! — кротко говорит хозяин. — Сравнила с помещиком!

— А то что же? У иного помещика еще и этого-то нету... А у тебя погляди-кось! Все убери да подмети.

— Ах, дура, дура! — сладко произносит хозяин.

— Вот-те дура!.. Что платья, что белья, что чего!.. Все нанесено, незнамо про кого только... Тебе с меня взять нечего, я человек старый... кабы жену взял, тогда и взыскивай с нее! Да и в ту пору с твоим богатырством еще не управишься... А то — одна! Нету делов!

Семен Иванович безмолвствует. Кухарка направляется к двери.

— Погоди! — нежно произносит герой.

— Чего еще?

— Постой... Так, говоришь... помещик... Я-то?

— Да помещик и есть...

— Погоди, Авдотья... Постой минуточку... Много всего, говоришь?

— Обнакновенно много всего... Что одежи, что чего!

— Д-да!.. Слава богу!..

Семен Иванович вздыхает. Авдотья ждет нового вопроса.

— Идти, что ль?

— Погоди минуточку...

— Чего годить-то?.. У меня, небось, есть где хороводиться.

— Погоди же, господи!.. Позволь!..

Настает продолжительное молчание. Авдотья ждет. Семен Иванович совершенно растаял от удовольствия, которое доставила ему Авдотья.

— Так ты, Авдотья, говоришь: я вроде как помещик?..

— О, да что это, дите какое разыскалось? Мне ведь...

— Постой, Авдотья! погоди!

Но Авдотья уже исчезла.

По уходе кухарки мысли Семена Ивановича начали принимать самые разнообразные направления: сначала он, поддаваясь новому ощущению, воспроизведенному словами кухарки, горячо благодаря бога за его милости, шептал: «Слава богу», «Слава тебе, господи» и вздыхал. Свет лампад весьма гармонировал с настроением души моего героя. Затем наболевшее и наголодавшееся самолюбие его начало требовать какого-нибудь нового удовольствия. Семен Иваныч, успевши убедиться, что он благодаря бога ничуть не хуже других, потихоньку начал помышлять о том, что, несмотря на преимущества, которыми обладает он перед многими виденными им лицами, он не получает должного уважения и не имеет нигде права голоса... «За что? — думал Семен Иваныч. — Что я, хуже, что ль, кого? Слава богу, кажется? Нет, погоди!..» При этом он нетерпеливо вскакивал с дивана и тотчас же садился опять. Разгневанная мысль его мгновенно вспоминает все оскорбления, которые он хоть когда-нибудь получал: Семен Иваныч вспыхивал и решал тотчас же на ком-нибудь сорвать кровную обиду. В жару негодования он вспоминает все ту же свою кухарку Авдотью, которая за несколько минут перед этим не дослушала его разговоров и ушла, несмотря на то, что он весьма ласково говорил ей: «погоди», «постой».

— Авдотья! — гаркнул он, с сердцем распахнув дверь в кухню. — Поди сюда!

— Это еще чего, вот...

— Не разговаривать! Я эти разговоры-то слыхал... Пошла сюда!

Семен Иваныч ушел и хлопнул дверью. Авдотья, услыхав, как хлопнула за барином дверь, поняла, что дело разыгралось не на шутку, и не без робости вошла в хозяйские покои. Хозяин в волнении сидел на диване, нетерпеливо болтал ногой и, увидев кухарку, заговорил с ожесточением:

— Когда ты будешь слушать, что тебе говорят? а?

— Господи помилуй! Слава богу, и так слышу...

— Нет, я говорю, когда ты будешь слушать?..

Авдотья не нашлась, что отвечать...

— А? — продолжал хозяин. — Я тебе что сегодня утром сказал?..

— Мало чего ты говорил? У тебя нешто мало приказуто?..

— Нет, что я сказал?..

— Что сказал, то и сделала... И нечего орать попусту...

— Мол-лчи! Что я сказал?

— Нечего молчать. Говорю, коли спрашиваешь. Сказал: отнести сапог в починку — отнесла... Приказал тарелки перемыть — вон они.

Семен Иванович еще с большим волнением принялся болтать ногою, готовясь гаркнуть пуще прежнего.

— Мало ли, — бормотала испуганная Авдотья... — Вон, сказал, огурцы пере...

— Чт-то я сказал?! — не удержался Семен Иванович и вскочил с дивана.

Вышедшая из терпения Авдотья плюнула и скрылась, хлопнув дверью...

— Вон! долой с места! — кричал Семен Иванович, но Авдотья не слыхала его.

Хозяин был в волнении. Шагая по комнате и ероша волоса, он ждал, что Авдотья явится и попросит извинения. Но она не являлась. Хозяин каждую минуту порывался в кухню для того, чтобы объяснить строптивой рабыне ее вину, но долгое время не решался этого сделать. Авдотья между тем, очутившись в кухне, сразу чего-то оробела и упорно задумалась над тем, что такое сказывал ей хозяин? Перемывая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала в памяти хозяйские приказания, но ничего заслуживающего гнева не находила и убивалась пуще прежнего. Из комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконец шаги послышались в сенях, и барин вошел в кухню. Авдотья старалась не смотреть ему в глаза.

— Гляди! — грозно произнес барин.

Кухарка подняла голову: перед ней стоял разозленный хозяин и держал почти у потолка кошку, схватив ее за спину.

— Вот я что сказал! — говорил гневно барин. — Я сказал, — продолжал он, потрясая кошкой над головой кухарки, — я сказал: запирай кошку на ночь... Куда?

Кухарка трепетала.

— В чулан! — крикнул хозяин, и в то же мгновение на голову кухарки упала с отчаянным визгом кошка, а с потолка посыпался сор, так как хозяин ушел, сильно хлопнув дверью.

— Ах ты, подлая! — с сердцем заключила кухарка, ногою отбросив кошку в угол...

XI. СЕМЕН ИВАНОВИЧ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА

Иногда, впрочем, судьба посылала пищу его голодной душе в формах более или менее скромных, не столь бушующих. В эти минуты угрюмое лицо Семена Ивановича освещалось весьма добродушной улыбкой, и герой мой являлся в новом свете. Вот он высунулся в окно и со вздохом поглядывает по сторонам. У ворот, в двух шагах от него, сидит хозяйская кухарка Прасковья в новом «каленом» коленкоровом сарафане и в цветной косынке на черных, как смоль, волосах и холодно посматривает своими большими карими глазами на двух молодцов, красующихся у ворот постоялого двора. Молодцы эти — кучера каких-то приезжих господ; они расфранчены, как только возможно: плисовые поддевки, красные рубахи, сапоги с красной сафьянной оторочкой; на голове шляпы с павлиньими перьями. Молодцы эти лукаво посматривают на Прасковью и, чтобы заслужить в ее мнении, стараются блеснуть чем-нибудь; они покрикивают на ямщиков соседнего постоялого двора, запрещают им курить папиросы, а сами ни за что не соглашаются погасить своих трубок. Ничто, однако, не привлекало к ним внимания Прасковьи. Семен Иванович, наблюдавший из окна над ухарством кучеров, попробовал сам попытать счастия и не без робости произнес:

— Прасковья! а Прасковья!

Кухарка оглянулась.

— Здорово!

— Здравствуй!

Семен Иванович радовался, что так благополучно началось.

— Что же, Прасковья, муж-то у тебя дома?

— На войне!

— А-а... Его, поди, уж убили?

— Когда бы господь дал!

— Вот как?.. Ты, Прасковья, если хочешь, я узнаю: жив он или нет.

— О?

— Ей-богу.. у меня заведены этакие книги... что угодно... Ты вот что: ты зайди ко мне в комнату, на минуточку...

— Чего еще?

— Ей-богу... Ты чего боишься? Слава богу, я не какой-нибудь! Мы бы с тобою вместе поглядели в книге-то... а? Прасковья?..

— Где такая книга?

Семен Иванович показал ей в окно какую-то книгу.

— Видишь? Тут все: кто убит, кто ранен... Все... Прасковья?..

— Ну-кося погляди: Иван из Яковлевского...

— Да ты иди сюда...

— Эва!

— Вот захотела: на улице разговаривать... Ты иди сюда!..

Кухарка подозрительно посмотрела кругом и потом нерешительно произнесла:

— Ну, гляди: обманешь, не жить тебе...

— Иди! Иди!

Кухарка медленно поднялась с сиденья и пошла. Каким победным и сияющим взглядом посмотрел Семен Иванович на соседских кучеров!

XII. СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЗНАКОМИТСЯ С СЕМЕЙСТВОМ ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Семейство Претерпеевых обратило на себя внимание Семена Ивановича по тем же причинам, по каким слова кухарки, величавшей его помещиком и богатырем, доставляли ему высокое наслаждение. Встретив их в церкви, он заметил, что его пристальные взгляды на них производят надлежащее действие: одна из дочерей Авдотьи Карповны тоже начинает поглядывать на него; затем между дочерью и матерью происходит какое-то шептанье, после которого они обе вместе взглядывают на Семена Ивановича... Все это говорило герою моему, что говорят о нем. Скоро Семен Иванович мог убедиться, что об нем не только думают, но даже боятся: после посылки воза капусты Претерпеевы не могли глядеть на благодетеля иначе, как с благоговением. Дальнейшие посылки сахару, чаю и проч. окончательно убедили его в безграничной преданности Претерпеевых; после того, как был сделан последний подарок в форме телячьей ноги и когда Акулина известила благодетеля о том восторге, который произошел, когда узнали имя неизвестного благотворителя, Семен Иванович впал в какое-то сладостное забытье: сама Олимпиада Артамоновна, известная в растеряевской палестине за девицу высокопросвещенную и гордую, и та, по словам Акулины, пылала к нему беспредельным благоговением. Чего же еще?

Семен Иванович был истинно счастлив. В один вечер прилив доброты и снисходительности к человечеству в нем был так велик, что все живые существа того дома, где жил он, были изумлены не на шутку: Семен Иванович отпускал каламбуры, шутил, вместо двух кусков сахару от-

пустил Акулине целую горсть, без счету. В довершение восторга Семена Ивановича, церемонная Прасковья решилась, наконец, напиться у него чаю, после которого и хозяин и гостья уселись играть в карты. В комнате громко раздавались слова: «Ходи!», «Сдавай!», «Держись, иду пятеркой!», «Нет, когда ты меня полюбишь?» — говорил Семен Иванович, с треском выкладывая перед Прасковьей козырную тройку; Прасковья крыла тройку и в свою очередь выкладывала перед хозяином «хлюст», прибавляя:

— А этого?

— Нет, когда ты меня полюбишь? — продолжал хозяин, торопливо «принимая» карты.

Эта приятная минута, сулившая, судя по развеселившемуся лицу бабы, полное упрочение дружбы, была прервана совершенно неожиданно: на пороге комнаты появилась фигура Хрипушина.

— А, друг-приятель! — радостно воскликнул Семен Иваныч.

Но Хрипушин, не отвечая на приветствие, остановился в дверях, развел руками и, поглядывая то на хозяина, то на гостью, заговорил:

— Не похвалю! Каково, Семен-то Иваныч? а!.. Не ожидал!.. ай-ай-ай!..

Семен Иваныч смеялся.

— Да какую еще приятную компаньонку себе раздобыл!.. Ах ты, боже мой... Не ожидал!.. Где такую бабочку, Семен Иваныч?..

Прасковья тотчас же исчезла из комнаты, шаркая по полу босыми ногами. Хрипушин засмеялся ей вслед.

— Ну, садись!

— Ох, да уж, видно, придется у вас, Семен Иваныч, отдохнуть...

Хрипушин сел напротив хозяина и, отирая мокрые от дождя усы, лукаво посматривал на него.

— Ты чего таращишься-то? — спросил игриво хозяин.

— Будто не знаете?.. Про энтих-то? про томилинских-то? ничего слухов нет?..

Хрипушин кивнул головой в сторону и подмигнул.

— Про каких? — словно ничего не понимал, переспросил Толоконников. — Про кого?.. Какие?..

— А воз капусты-то?.. «Неизвестно кто»?..

— О-о-о! вон куда!.. Будет тебе! Водочки не хочешь ли?

— Нет-с, позвольте! водочки само собой, а это дело своим чередом!.. Еще не все-с!

— Будет, будет! Оставь! Эко разговор нашел!

— Нет-с, позвольте! Приказано благодарить-с, то есть вот как: от души! Даже и слов нет!

Хозяин как бы нехотя попробовал было еще раз остановить гостя, но тот не слушал его и продолжал:

— Такого, говорят, благодетеля от роду рождения нашего не видывали! И дай ему, господи, на много лет, чтобы, то есть, в лучшем виде... Ей-ей... Это, Семен Иваныч, зачтется, поверьте!.. А вы что думаете? Да вы сыщите теперь на всем белом свете одного человека, чтобы он, к примеру, по-вашему поступил? Нет-с, бог видит!

Долго говорил Хрипушин в том же хвалительном роде. Хозяин таял от слов его и совсем было забыл о водке, если бы гость, у которого, наконец, пересохло горло от длинных монологов, сам не свернул разговор на этот предмет. После выпивки беседа пошла ровнее; Хрипушин доказывал хозяину преимущество брачной жизни, на что тот возражал:

— Жениться! Жениться можно, да что проку-то?.. Поди-ка, женись, завоешь!

Хрипушин опровергал это мнение и затевал новый разговор: принимался восхвалять Олимпиаду Артамоновну, негодуя против слухов, разгуливающих о ней по «растеряевщине», и доказывал, что при своем высоком образовании девица эта могла бы быть примерною супругой. Семен Иваныч опять возражал на это, что «жениться можно, да что проку-то? поди-ка женись». Вообще разговоры Хрипушина по части законного брака оказались бесплодными; Хрипушин понял, что нельзя слишком сильно налегать на хозяина с такими предложениями, и решился действовать исподволь. С этой целью он пригласил Толоконникова, именем Авдотьи Карповны, на пирог в воскресенье, на что Семен Иванович сказал: «Подумаю».

В самом деле, намерения Семена Ивановича были далеки от законного брака. В Претерпеевых он чуял таких людей, которые будут поклоняться ему и носить его на руках и «так», без женитьбы, единственно ради его к ним внимания и кой-каких съестных подачек. Все это подтверждается и дальнейшим ходом событий, которые следовали в таком порядке: благодаря содействию Хрипушина Толоконников присутствовал на пироге у Авдотьи Карповны; Иван Алексеич выручал в этот день всех, ел он за семерых и не забывал при этом потешать публику разными анекдотами. Претерпеевы, пристально смотревшие на Семена Иваныча, не нашли в нем ничего необыкновенного, но, вместе с тем, решительно не могли объяснить себе его угрюмости и молчаливости, которая, нужно заме-

тить, охватывала моего героя всякий раз, как только он попадал в незнакомое общество.

После этого пиршества Претерпеевы и благодетель не видались в течение недели. Бедная напуганная Авдотья Карповна полагала, что бесценный Семен Иванович забыл их, обидевшись тем, что за все благодеяния его поблагодарили неудавшимся пирогом с его же капустой. Но подозрения эти оказались ложными. В следующее воскресенье, часу в шестом вечера, когда Олимпиада Артамоновна в задумчивости сидела у окна, на тротуаре показалась фигура Толоконникова. Семен Иванович был в новом сюртуке, который старался спрятать под своим рваным пальто. Увидев благодетеля, Олимпиада Артамоновна издала пронзительный крик, и тотчас же вся семья Претерпеевых столпилась у окна и раскланивалась с Семеном Ивановичем.

— Доброго здоровья! — говорил Толоконников, неуклюже приподнимая свой картуз.

— Здравствуйте, Семен Иваныч, заходите!

— Что ж заходить-то... как поживаете?..

— Как мы поживаем? Известно как!..

— Семен Иваныч! нынче фейерверк в саду! — совершенно неожиданно и необыкновенно быстро проговорила одна из претерпеевских барыщень.

— А господь с ним!..

— И правду!

Всем желательно было пойти в сад и посмотреть фейерверк, но в то же время все почему-то «боялись» посторонней публики.

— Эка невидаль! — продолжал Семен Иваныч. — Да опять и отсюда увидим, ежели на то пошло, место высокое, гора, далеко видно...

Все немедленно согласились с этим.

— А в случае ежели пройтись угодно, так и это можно.... Мало ли где? И без толкотни.

Претерпеевские барышни тотчас же оделись и вышли. Семен Иваныч повел их на кладбище; здесь уже в самом деле не было ни единой живой души, только какие-то бабы, заливаясь слезами, хоронили ребенка. Семен Иваныч направился с дамами прямо к этой могиле и, сняв шапку, достоял погребение. Затем прогулка продолжалась в грустном молчании; все были неприятно настроены похоронами. Семен Иваныч вздыхал, говорил о смерти, о загробной жизни.

— Семен Иваныч! вон ракету пустили!

— Ну, что же, господь с ней! О-ох, господи боже мой, подумаешь о смерти-то иной раз...

Все вздыхали; вдали, за кладбищенским валом, семинаристы играли в лапту; по шоссе мчались почтовые, весело заливаясь колокольчиками; издали доносились звуки музыки, и из облака пыли, затопившей город, по временам вылетали ракеты.

— Семен Иваныч! вон еще!..

— Господь с ней! — повторил Семен Иваныч.

А Авдотья Карповна прибавила:

— А вот и Артамона Ильича могилка!..

Это известие уничтожило всякую возможность получить хоть какое-нибудь удовольствие от прогулки. Всеми овладели уныние и скорбь. Претерпеевы воротились домой с растерзанными сердцами.

Такие посещения Семен Иваныч начал делать все чаще и чаще. Иногда он приносил какое-нибудь угощение: фунт каленых орехов, десяток яблок. Наконец уважение, выказываемое ему Претерпеевыми, до такой степени разлакомило его, что он уже не мог пробыть минуты, не испытывая приятности этого уважения и раболепства. Семен Иваныч решил нанять квартиру у Претерпеевых и таким образом покинуть Растеряеву улицу для Томилинской. Ради этого он тотчас же поругался с хозяином, так как переменить квартиру, не поругавшись с хозяином, казалось ему делом невозможным, и принялся перевозить вещи.

В один день, вслед за возами, въезжавшими на двор Претерпеевых, шел Хрипушин; он осторожно держал одной рукой маятник, в другой придерживал полы своей шинели, по причине непроходимой грязи, и прожевывал какую-то закуску, которая сильно раздувала ему щеку.

Вечером, когда в новой квартире Толоконникова было все прибрано и хозяин с удовольствием поглядывал на свое добро, Хрипушин сладким голосом проговорил:

— Вот бы, Семен Иванович, жениться вам? Ей-богу!

Но Семен Иванович отделался своей обычной фразой, сложившейся в его голове по поводу этого предмета. Таким образом, Толоконников, или «благодетель», поселился в самом центре покоренной его благодеяниями области и продолжал доканчивать это покорение, чего требовало его жадное самолюбие.

Сначала, с непривычки на новом месте, Семен Иванович поступал с хозяевами чрезвычайно предупредительно и вежливо.

— Не нужно ли вам, Авдотья Карповна, сахару?

— Нет, нет, и так много! Покорнейше благодарим!



— Отчего ж? Берите, когда есть... Да вам шкатулки не надо ли?

— Что это вы, Семен Иванович! Ей-богу, вы нас совсем конфузите... Мы и слов не найдем благодарить вас.

— Эва что! — добродушно заключал Семен Иванович, и шкатулка оставалась у Претерпеевых. Точно таким ласковым манером были снабжены Претерпеевы всем необходимым в хозяйстве; в их комнатах появились разные вещи Семена Ивановича: столы, стулья, диваны. Толоконников был ужасно рад, не сомневаясь, что власть его возрастает; но Претерпеевых задавили эти благодеяния.

Все эти шкатулки, самовары и прочие вещи, принадлежащие благодетелю, были чем-то вроде казенных печатей, наложенных в обеспечение чьего-либо прикосновения; Семен Иванович своими благодеяниями наложил точно такие же казенные печати на свободную волю благодетельствуемых им лиц. Благодеяния до такой степени стеснили бедную семью, что недавняя нищета иногда показывалась ей едва ли не лучшим временем против теперешнего. Наравне с самоварами, сундуками и прочими символами величия Семена Ивановича, не менее одуряющим образом действовало на Претерпеевых и самое реальное величие благодетеля. Слушая, с каким трепетом произносится его имя, как дрожит вся семья Авдотьи Карповны, если кухарка разобьет тарелку, принадлежащую благодетелю, или одна из дочерей закапает чаем скатерть, Семен Иванович не чуял под собой земли.

Ни к Претерпеевым, ни к Толоконникову никогда никто не показывался, и Семен Иванович поэтому мог благодушествовать как ему было угодно: порабощенная им семья с глубокою робостью внимала каждому его слову и суждению, которые только впервые начали шевелиться в голове Толоконникова и были иной раз, поистине, изумительны. Каждое мнение его, как бы оно ни было уродливо, принималось безапелляционно, и поощренный этим Семен Иванович, незаметно для самого себя, начал понемногу предъявлять новые и новые требования. Избалованная общим раболепством натура его уже требовала разнообразия. Семен Иванович, являвшийся прежде к хозяевам не иначе как в сюртуке или в шинели, надетой в рукава, начал являться в халате, очевидно уже не страшась отвращения Олимпиады Артамоновны, или приносил девицам какую-нибудь принадлежность своего туалета и просил пришить пуговицу также без всякой церемонии.

Посягательства Семена Иваныча в таком роде продолжали усиливаться все более и более, так что в один день

в семействе Претерпеевых происходила следующая сцена:

Семен Иваныч, уже разъяренный и надувшийся, стоял против трепещущей семьи Авдотьи Карповны и грозно вопрошал у нее:

— Что я сказал? Я что вчера сказал?

— Семен Иваныч!

— Что я говорил? Договорюся или нет? а?

Семья дрожала и безмолвствовала. Семен Иваныч с сердцем хлопнул дверью и скрылся.

— Что теперь делать? — захлебываясь от ужаса, шептала Авдотья Карповна. — Господи! Чай, обедать не пойдет? Что наделали? Что такое это он говорил?

— Мы почем знаем? Мало ли что он говорил! — отвечали испуганные дочери.

— Ах, господи! наказал господь!..

Стол был давно накрыт, но Семен Иваныч не являлся. Авдотья Карповна, еле таскавшая ноги от страха, поплелась разыскивать его. Она нашла его в саду; Семен Иваныч лежал в беседке, повернувшись лицом к стене.

— Семен Иваныч, кушать подано! Что вы, благодетель наш, сердитесь? Вы скажите, что вам угодно, мы вам в одну минуту сделаем... А то как же так, не сказавши ничего?

Семен Иванович молчал.

— Благодетель наш! — повторила Авдотья Карповна.

Но ответа не было. Авдотья Карповна, убитая, воротилась в комнату и не знала, что делать. Наконец ей пришло в голову отправить депутатом самую младшую дочь Стешу, на которую Семен Иваныч обращал особенное внимание и иногда порывался даже обнять ее. За Стешей, не имевшей в этом походе никакого успеха и не дождавшейся от благодетеля ни слова, отправилась Олимпиада Артамоновна, за ней Саша, за Сашей Варя, потом опять сама Авдотья Карповна. Все они робко подступали к лежавшему Семену Ивановичу, робко просили пожаловать кушать и ответом на эти приглашения имели несчастье видеть ту же неподвижную спину благодетеля.

После тщетных стараний Претерпеевы решили обедать одни; аппетит оставил их, кусок останавливался в горле, и обед прошел среди молчания и тяжких вздохов. Кухарка убрала, наконец, посуду и собиралась отдохнуть на печи, как неожиданно в комнату вошел Семен Иваныч и в грозной позе остановился перед Авдотьей Карповной.

— Это что же такое? — сказал он, — за мои хлопоты да я же голодный хожу?

— Семен Иваныч, да ведь вас звали!

— Все натрескались, а мне куска хлеба нету?

— Да, батюшка! благодетель наш!.. — начала было со слезами Авдотья Карповна, но благодетель вторично хлопнул дверью и вторично исчез.

Через пять минут в беседке опять новая происходила сцена: Семен Иваныч по-прежнему лежал лицом к забору. За его спиной вся семья Претерпеевых суетилась около стола, таская тарелки, миски с разными кушаньями и проч. Когда все было готово, Авдотья Карповна сказала:

— Семен Иваныч, подано-с! кушайте, отец наш, а то щи простынут.

Семен Иваныч нехотя повернул к публике голову.

— Это что же такое? — угрюмо и как бы не понимая, в чем дело, проговорил он.

— Обедать-с...

— Это в шестом часу-то?

— Да что ж делать, когда вы не изволили кушать?

— Да какой же черт обедает ночью? Люди от вечерни пришли и чаю напились, а у нас обед?

— Семен Иваныч!

— Тьфу!

Благодетель быстро повернулся опять к стене и замолк.

Долго семья Авдотьи Карповны и сама она ждали какого-нибудь слова от него. Семен Иваныч молчал и, казалось, заснул. Тогда решено было перенести кушанья назад, в комнату, так как, стоя на открытом воздухе, они могут быть растасканы птицами или съедены собаками. Едва только это было исполнено, как Семен Иваныч снова появился в кухне.

— Где тут, — грустно и кротко, точно агнец, сказал он кухарке, — где тут у вас корки собакам валяются?

— Господи помилуй! Семен Иваныч! батюшка! Что это! Корки! Как можно!

— И корки-то мне нету?..

— Господи!

Семен Иваныч ушел, не дождавшись объяснения. Через минуту он стоял у низенького забора и разговаривал с соседом-сапожником.

— А? — говорил он. — До чего я дожил! Корки не дают хлеба! а?

— Цссс! Боже мой!

— А? За мою хлеб-соль да я же не имею пропитания? Это что же будет?

— Семен Иваныч, отец наш! — рыдала из окна Авдотья Карповна. — Что ты, господь с тобой!

— А? — продолжал Семен Иваныч, обращаясь к сапожнику. — Вот как, друг! Поишь, кормишь, а заместо того с голоду околевай!.. а? Верно, только у бога правду-то найдешь!..

— Это точно! только у одного бога!..

— Д-да! Но авось и добрые люди не оставят... Дай хоть ты мне корочку какую... Чай, собакам тоже кидаешь? так мне этакую... собачью!

— Зачем же-с! мы, Семен Иваныч, с удовольствием.

— Нет, собачью!..

— Что вы! Да мы сколько угодно!

— Нет, дай собачью!..

Только ночью, когда лица всей семьи распухли от слез, Семен Иваныч решился войти в свою комнату; в глухую полночь, когда все заснули, он сам отправился в кухню, вытащил из печи горшок со щами и с жадностью пожирал их среди глубокой тьмы и безмолвия.

Такие штуки благодетель начал разыгрывать все чаще и чаще. Не чувствуя в семье Претерпеевых никакой к себе нравственной, сердечной привязанности и зная, что им в сущности не за что чувствовать ее, он, как истинный деспот, находил утешение в безграничном пользовании своими правами над людьми, которые подвержены ему волей-неволей. Изобретательность его в деспотическом желании довести семью до непрестанного к нему внимания и страха пред ним доходила до высокой виртуозности; вариации, которые он выделывал из преданности Претерпеевых, были, поистине, изумительны. Упитанный по горло всяким почтением и уважением, Семен Иваныч совершенно переродился; он сделался веселей и смелей; никакие насмешки сослуживцев не могли поколебать спокойствия его духа. Раз, когда один из чиновников вздумал было над ним подшутить, Семен Иваныч, не говоря ни слова, хлопнул шутника по голове связкой бумаг и прошел мимо.

Но вместе с возвышением величия Семена Иваныча упадала все более и более нравственная свобода Претерпеевых; все они оглупели, обезумели и превратились в каких-то автоматов, с тою разницей, что у них были сердца, поставленные в необходимость ежеминутно замирать и трепетать.

Однако, при всем их одеревенении, дальнейшие деяния благодетеля были такого свойства, что Авдотья Карповна не выдержала и, наконец, решилась произнести:

— Да лучше мы милостыню пойдем собирать, чем этакое мученье!

— Да ей-богу! — вторили дочери.

— Авось найдутся добрые люди, не оставят!

Всеми было решено не поддаваться больше фантастическим желаниям Семена Ивановича. Олимпиада Артамоновна первая решилась привести это намерение в исполнение и обещалась завтра же пригласить в гости чиновника Сладкоумова, который уже давно засматривался на нее и выражал желание познакомиться с ее маменькой, Авдотьей Карповной, но боялся попасться на глаза Семену Ивановичу.

«Что же, в самом деле? — думала Олимпиада Артамоновна. — Докуда это будет?»

Однажды Семен Иваныч, довольный и счастливый, лежал в своей комнате, — дело происходило после обеда. Он совершенно не подозревал, что против него строятся козни, и потому можно представить ужас, который овладел им в тот момент, когда через отворенную в сени дверь он увидел фигурку юного писца Сладкоумова. Писец Сладкоумов был в белых, туго натянутых панталонах, в новом форменном вицмундире, красных вязаных перчатках, а волосы его были густо напомажены. Дерзкий гость, не замечая Толоконникова, осведомился у кухарки: «дома ли Авдотья Карповна?» и вошел в комнату.

Семен Иваныч был вне себя. Он узнал, что благодетельствуемая им семья знает людей, кроме него, и думает не исключительно о нем. Через секунду он узнал еще, что Претерпеевы не только думают о посторонних людях, но имеют дерзость и уважать их, ибо тотчас после того, как Сладкоумов вошел в комнату, из дверей выскочила Олимпиада Артамоновна и торопливо сказала кухарке:

— Марьюшка! голубушка! ради бога, самовар! поскорее, голубушка!

Олимпиада Артамоновна говорила эти слова с тем же трепетом в голосе, какой привык слышать Семен Иваныч только для себя одного. Благодетель не выдержал и закричал:

— Марья!

Явилась кухарка.

— Принеси самовар сюда!

— Там гость пришел.

— Принеси, говорю. Самовар мой!.. Пошла!

Кухарка принесла самовар. Семен Иваныч, пожираемый злобой, думал: «ну-ко, пусть узнают, как без меня-то?» К несчастию моего героя, через несколько минут в его комнату отворилась дверь, и кухарка, показав ему какой-то другой самовар, с сердцем крикнула ему:

— И без тебя обошлись!

— Вон отсюда!

— Целуйся с своим самоваром... Вон соседи дали! Скареда!

— Вон, говорю, бестия!..

— У-у! барин!..

Благодетель выскочил на двор, вызвал соседа-сапожника — и началось бушеванье.

— Грабители! — кричал Семен Иваныч. — За мою хлеб-соль!.. Анафемы!

Сапожник был в недоумении.

Авдотья Карповна, разливая чай и слушая крики на дворе, была ни жива ни мертва. Чиновник Сладкоумов тоже дрожал, как в лихорадке.

Дверь отворилась, и вошел сосед-сапожник с ремешком на голове и уже сильно под хмельком... Семен Иваныч угостил его.

— Сахарницу пожалуйте! — грубо заговорил он.

— Возьми, возьми, батюшка! Подавитесь с вашим сахаром! — выходя из себя, закричала Авдотья Карповна.

— Нечего нам давиться... Мы берем свое! Это все наше!.. Давиться! Обирать человека ваше дело, а за все благодеяния только безобразничаете? Пожалуйте нашу небиль! Это все наше! Так-то! Семен Иваныч переезжают.

— Берите! Берите все! — кричала Авдотья Карповна.— Когда нас господь избавит от вас! Господи!!

Вся семья Авдотьи Карповны рыдала. Писец Сладкоумов улизнул вон из комнаты и, пробегая по двору, споткнулся о камень, пущенный ему под ноги Семеном Иванычем.

В этот день Семен Иваныч убедился, что могущество его рушилось. Он снова помирился с хозяином старой квартиры; но прежде, нежели переехать, пробовал отомстить Претерпеевым за нарушение покоя его души. Каких-каких ни выдумывал он штук. Объявив Авдотье Карповне: «съезжаю с квартиры!», он думал заставить ее снова повергнуться к стопам его; но, к ужасу благодетеля, Авдотья Карповна отвечала: «хоть сейчас!»

Тогда Семен Иваныч сказал:

— Нет, погоди! Мне еще семь дней сроку, по закону! Нет, врешь!

— У нас жилец есть на ваше место, Сладкоумов! — говорили ему.

— А! жилец! нет, погоди!

И Семен Иваныч продолжал сидеть на старой кварти-

ре, отобрав у Претерпеевых свою посуду, провизию, дрова, словом — оставив их в руках самой отчаянной нищеты.

— Семен Иваныч! батюшка! — умоляли его. — Нам есть нечего! Переехал бы Сладкоумов, все бы как-нибудь, хоть рублишко какой дал...

— Нет, еще погоди! Мне и сверх срока пять дней льготы!

Благодетель переехал только тогда, когда узнал, что Сладкоумов женился на мещанке, следовательно жить у Претерпеевых не будет, а другого жильца еще и в помине нет.

Семья Авдотьи Карповны снова заголодала. Снова горькая вдова принялась собирать сухие купеческие пироги и проливать слезы на подъездах палат и канцелярий.

И вот Семен Иванович по-прежнему на старой квартире, по-прежнему в Растеряевой улице; у него те же хозяева, та же старуха Авдотья и вообще все, как и прежде. Вечер. Комната освещена ярким сиянием лампад. Тишина. Семен Иваныч и Хрипушин сидят на противоположных концах комнаты, и среди молчания, долгое время не нарушаемого, раздаются вздохи то хозяина, то гостя.

— Вот бы вам, Семен Иваныч, жениться теперь: самый раз! — робко говорит Хрипушин; но Семен Иваныч отвечает на это глубоким вздохом.

Опять настает молчание...

— Ну-с, Семен Иваныч, — поднимаясь и вздыхая, говорит медик, — пора!

— Куда же ты? — жалобно произносит хозяин.

— Нет-с, пора!

Семен Иваныч остается один, тоска гнетет его; он вздыхает все глубже и глубже, и, наконец, мертвая тишина комнаты нарушается заунывным пением. «Ду-ушу мою!..» — закрыв глаза и захлебываясь от тягости наплывающих ощущений, тянет Семен Иваныч. «У-услы-ыши, господи, молитву-у мою...»

В комнате по-прежнему пахнет деревянным маслом. Ветер бьет ставней. Неисходная тоска!..

Хрипушин шел по темным и пустынным переулкам. Был октябрь в конце; в одно время падал снег и дождь, вследствие чего топь на улицах стояла непроходимая. К ужасам грязи присоединялся порывистый ветер, поминутно сметавший с крыш талую воду и обдававший ею Хрипушина с головы до ног.

— Господи! — стонал Хрипушин с растерзанным сердцем и вязнул в грязи.

XIII. СЕМЕН ИВАНОВИЧ «У ПРИСТАНИ»

Мало-помалу Иван Алексеевич стал реже показываться в растеряевской окру́ге и, по-видимому, переселился в местности более отдаленные и глухие, глубоко сожалея о своих растеряевских и томилинских пациентах, нечаянные встречи с которыми почитал за истинное счастие.

А встречи эти иногда бывали.

Так, он шел однажды по большой городской улице; дело происходило в субботу, и по тротуарам валил народ: шли ко всенощной, в баню, из бани; мастеровые спешили за расчетом, несли самовары, ружья и револьверы.

— Иван Алексеев! — окликнул кто-то Хрипушина.

Хрипушин обернулся и увидел Семена Иваныча Толоконникова: он возвращался из бани.

— Какими судьбами? — воскликнули оба друга разом, пытливо оглядывая один другого.

— Ах, батюшка, Семен Иваныч! а? Сколько лет не видались-то? Какая перемена!

— Переменишься, брат!

— Ей-бо-огу! Ну, как же господь милует вас?..

— Ничего, помаленьку. Ты-то как?

— Что мы! Наше дело тьфу! Вы как поживаете?

— Слава богу. Слышал али нет?

— Что такое?

— Женился!

— Семен Иваныч?

— Я!

Хрипушин отскочил в сторону, вытаращив глаза.

— Вы? женились?

— Я, я! Чего ты ощетинился-то?.. Пойдем-ко! Какая жена-то!

Хрипушин долго не мог опомниться. Семен Иваныч, идя рядом с медиком, рассказывал ему историю женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившего после смерти сорок десятин земли в приданое двум дочерям; одной из них было в то время двадцать четыре года, другой — шестнадцать; первая была крайне безобразна лицом и только пугала женихов, вследствие чего заслужила ненависть матери. Умирая, отец начертал в духовном завещании, в видах обеспечения старшей дочери, следующее: «Младшая может выйти только тогда, когда выйдет старшая, в противном случае она лишается двадцати десятин земли, а старшей достаются все сорок». Отец думал, что подобным маневром он не заставит старшую дочь сидеть в девках, потому что если она оттолкнет жениха физионо-

мией, то притянет его землей. Младшая же может выйти и по любви: она молода и недурна. Но этот маневр на деле осуществился иначе: старшая дочь была до того безобразна, что никакие сорок десятин не могли победить отвращение женихов; младшую же не брали, боясь остаться совсем без земли, что не было особенно привлекательно. Из всего этого вышло то, что кроме отвращения и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушились отвращение и злоба молоденькой сестры. Старой девой помыкали, как тряпкой; ей не было покоя ни днем, ни ночью от упреков матери и сестры. Чтобы хоть как-нибудь победить отвращение и презрение родных, Марья работала за семерых: мыла полы, стирала белье, ставила самовары, доила коров и проч. Но и это не спасало ее от семейного презрения. В таком виде предстала она глазам Семена Иваныча.

Когда Толоконников, рассказывая историю женитьбы, дошел до изображения достоинств жены, то остановился на тротуаре и громко воскликнул над самым ухом Хрипушина:

— Так настращена, так настращена, боже защити!

Медик робко поглядел на Семена Иваныча и увидел, что ответить надо так:

— Что ж? Слава богу!..

— То есть вот как: ни-ни-ни!

— Слава богу! — повторил Хрипушин. — Ей-ей!

Затем, в доказательство «настращенности» жены, Семен Иваныч рассказал, что во все время его сватовства теперешняя жена его целовала у него руки.

— Позвольте попросить у вас воды, скажешь иной раз ей, — рассказывал Толоконников. — Тую же минуту несет воду и чмок в руку!.. Каково?

— Чудесно! — бормотал Хрипушин.

Скоро они пришли к воротам квартиры Семена Иваныча.

— Иван Алексеев! — сказал он шепотом, держась за кольцо калитки, — ты погляди-ко вот, что я тебе говорил... как напугана-то!..

— С великим удовольствием!

Едва только шаги Семена Иваныча раздались в передней, как из соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свечкой в руке.

— Вот жена! — сказал Толоконников.

Хрипушин засвидетельствовал почтение.

Жена Толоконникова была существо истинно жалкое; вся физиономия ее носила следы какого-то нечеловеческого утомления и ужаса, который громадностью своих размеров

не давал возможности обратить внимания на ее безобразие. Человек, впервые попавший в Томилинскую улицу, словом — человек свежий, при взгляде на эту женщину неминуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть, но томилинец, и на этот раз Семен Иваныч, засиял, как солнце, когда увидел, что Хрипушин разделяет его мысли. С каким-то удовольствием подставил он жене спину, для того чтобы она сняла шинель, и из снисходительности не допустил ее снять с себя калоши, к которым она было уже бросилась.

— Самовар! — кротко и нежно пропел притворяющийся зверь, входя в комнату.

Жена мгновенно исчезла в кухню.

— Видел? — шепнул хозяин гостю.

— То есть вот как: лучше не надо!

— А?

— Золото! Как есть золото!

— Что еще будет! Ты погляди-ко!

Самовар явился мгновенно. Жена Семена Ивановича с тем же испугом суетилась около чашек и ложек. Муж с удовольствием поглядывал на этот испуг. Наконец он, не торопясь, опустился на диван и, мигнув Хрипушину, произнес:

— Маша-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

— А что я тебе сегодня сказал?..

Семен Иваныч подмигивал Хрипушину и указывал головою на жену, которая безумными глазами бегала по стенам, очевидно торопясь что-то вспомнить...

— Я... Семен Иваныч... все...

— Что я сказал?

Знакомая нам сцена тянулась мучительно долго. Наконец, когда зрители увидели, что бедная женщина окончательно выбилась из сил, Семен Иваныч подозвал ее к себе и сурово произнес:

— Гребешок! Я сказал: «Приду из бани, чтобы гребешок!»

Но жены уже не было в комнате, она бросилась за гребешком.

— Видел? — произнес хозяин.

— Сам бог вам посылает! Истинно: слава богу!

Семен Иванович был доволен и тешился забитостью жены до усталости. Все эти сцены были закончены угощением, устроенным хозяином ради того, чтобы показать жену в новом свете, со стороны хозяйственной. Такие маневры Семен Иваныч устраивал перед всеми своими знако-

мыми, которыми в последнее время обзавелся; знакомые эти были: почтальон, мучной лавочник и дьякон. Все они хвалили Семена Иваныча за его уменье обращаться с женой.

Встреча Хрипушина с Толоконниковым доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна — жена Семена Ивановича. Зная, что женский пол в отсутствие мужей гораздо свободнее и предупредительнее, медик являлся к ней по утрам, когда Семен Иваныч бывал на службе. Убеждение в предупредительности женщин не обманывало медика, и он всегда получал от Марьи Филипповны водку. С своей стороны, подобною же предупредительностью платил хозяйке и Хрипушин. Всякий раз, замечая, что при появлении его Марья Филипповна утирает распухшие от слез глаза, медик заботливо спрашивал:

— Али чем больны?

— Нет, Иван Алексеевич, — это так.

— Как же так-то?

— Скучно!..

— О чем же скучать изволите?

— Да так... просто... скучно сделалось!..

— Гмм!..

— С родными не видалась давно... вспомнила, ну, и...

— Так, так... Да вы, Марья Филипповна, вот как: вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеек... Я вам сварю одну примочку!

Хрипушинские примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазах Марьи Филипповны: ей было о чем плакать. Впрочем, Семена Ивановича она не винила в своих слезах: она чувствовала, что обязана ему свободой от презрения родных.

Не могу подробно рассказать, что сталось с Претерпеевыми; достоверно только то, что Олимпиада Артамоновна живет не в Томилинской улице и не в родительском доме; источники ее существования никому неизвестны, но томилинская и растеряевская «молва» отзывается о них весьма неодобрительно.

Более о ней мы сказать ничего не можем.

XIV. РАЗНЫЙ РАСТЕРЯЕВСКИЙ ЛЮД

Теперь следовало бы возвратиться к жизни Прохора Порфирыча и рассказать благополучное окончание его карьеры. Но у нас есть еще два-три лица из растеряевцев, которых хоть и нельзя назвать «главными» действующими в растеряевском житье-бытье лицами, как Прохор Порфи-

рыч и Хрипушин, но нельзя считать и личностями заурядными. Два-три слова сказать о них необходимо.

I. КНИГА

После смерти вдового шапочника Юраса остался сын, болезненный мальчик лет двенадцати, не узнавший вследствие постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчас же запустили свои руки под подушку покойника, пошарили в сундуках, под войлоком и, найдя «нечто», припасенное Юрасом для неработящего сына, тотчас же получили к этому сыну особенную жалость и ни за что не хотели оставить его «без призору». Кабаньи зубы и пудовые кулаки мещанина Котельникова отвоевали сироту у прочих родственников. Сироту поместили на полатях в кухне, водили в церковь в нанковых больничного покроя халатах и, попивая чаек на деньги покойного Юраса, толковали о заботах и убытках своих, понесенных через этого сироту. Пролежал на полатях сын Юраса года четыре, и вышел из него длинный, сухой шестнадцатилетний парень, задумчивый, тихий, с бледно-голубыми глазами и почти белыми волосами. В течение этих годов лежанья от нечего делать прозубрил он пятикопеечную азбуку со складами, молитвами, изречениями, баснями, и незаметно книга в глазах его приняла вид и смысл совершенно отличный от того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растеряевцы. Страсть к чтению сделала то, что сирота решился просить опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекун сжалился: книга была куплена, и сирота замер над ней, не имея сил оторваться от обворожительных страниц. Книга была: «Путешествие капитана Кука, учиненное английскими кораблями Революцией и Адвентюром». Алифан (сирота) забыл сон, еду, перечитывая книгу сотни раз: капитан Кук все больше и больше пленял его и, наконец, сделался постоянным обладателем головы и сердца Алифана. По ночам он в бреду выкрикивал какие-то морские термины, летал с полатей во время кораблекрушения и пугал всю семью опекуна не на живот, а на смерть. Котельников понял это сумасшествие по-своему.

— Ну, Алифан,— сказал он однажды сироте,— гляди сюда: оставлен ты сиротою, я тебя призрел, можно сказать из последнего натужился... Шесть годов, господи благослови, мало-мало по сту-то серебра ты мне стоил... Так ли?

— Я кажется, довеку моего буду ножки, ручки...

— Погоди. Второе дело, старался я, себя не жалел, сделать тебе всяческое снисхождение и удовольствие... Через это я тебе, например, вот книгу купил...

— Ах! — вскрикнул Алифан в восторге.

— Погоди... Вот то-то... Ты, может, читавши ее, от радости чумел; а спроси-кось у меня, легко ли она мне досталась, книга-то? Следственно, исхарчился я на тебя до последнего моего издыхания... Но так как имею я от бога доброе сердце, то главнее стараюсь через мои жертвы только бы в царство небесное попасть и о прочем не хлопочу... С тебя же за мои благодеяния не требую я ничего... По силе, по мочи воздашь ты мне малыми препорциями. Ибо придумал я тебе по твоей хворости особенную должность, дабы имел ты род жизни на пропитание.

Последнюю фразу Котельников похитил из уст какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улице и просившей милостыню именно этими словами, похищенными в свою очередь из какого-то прошения.

Скоро Алифан вступил в новоизобретенную Котельниковым должность. На тонком ремне был перекинут через его плечо небольшой ящик, в котором находились иголки, нитки, обрезки тесемок, головные шпильки, булавки и прочие мелочи, необходимые для женского пола. Обязанности Алифана заключались в постоянном скитании по улице, из дома в дом, и целый день такой ходьбы давал ему барыш по большей мере пятиалтынный. Этот пятиалтынный приносил он все-таки к Котельникову, будто бы на сохранение. «У меня целей», — говорил Котельников.

И Алифан вполне этому верил.

Но книга и капитан Кук не оставляли Алифана и здесь. Замечтавшись о каком-нибудь подвиге своего любимца, он не замечал, как вместо полутора аршин тесемок отмеривал три или пять или в задумчивости шел бог знает куда, позабыв о своей профессии, и возвращался потом без копейки домой. Если Алифану приходилось зайти в чью-нибудь кухню и вступить в беседу с кучерами и кухарками, то и тут он незаметно сводил разговор на Кука, и, заикаясь и бледнея, принимался прославлять подвиги знаменитого капитана. Но кучера и кухарки, наскучив терпеливым выслушиванием непостижимых морских терминов и рассказов про иностранные народы и чудеса, о которых не упоминается даже в сказке о Жар-птице, скоро подняли несчастного Алифана насмех. Скоро вся улица прозвала его «Куком», и ребята при каждом появлении его заливались несказанным хохотом; им вторили кучера, натравливая на бедного доморощенного Кука собак. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшие в рассказах Алифана, и те при появлении его кричали:

— Ах ты, батюшки мои, угораздило же его,— Кук! Этакое ли выпер из башки своей полоумной...

— В тину, вишь, заехал... На карапь сел, да в тину... Ха-ха-ха... — помирали кучера.

— Кук! Кук! Кук! — визжали мальчишки.

Алифан схватывал с земли кирпич и запускал в мальчишек; смех и гам усиливался, и беззащитный Алифан пускался бежать...

— Ку-ук! Ку-ук! — голосила улица. Общему оранью вторили испуганные собаки.

Торговля Алифана мельчала все более и более. Обыватели чиновные и в особенности обывательницы с улыбкой встречали его и, купив на пятачок шпилек или его какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться странной любовью Алифана.

— Ну как же Кук-то этот? — спрашивали они. — Как ты это говоришь, расскажи-ко?

— Да так и есть...

— Как же это! плавал?

— И плавал-с; вот и все тут...

Алифан, желая избежать насмешек, иногда думал было отделаться такими отрывочными ответами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще немного — и Алифан воодушевлялся, чудеса чужой стороны подкрашивались его пылким воображением, и картины незнакомой природы выходили слишком ярко и чудно́. Алифан забывал все; он сам плыл на «Адвентюре» по морю среди фантастических туманов и островов удивительной прелести; воображение его разгоралось, разгоралось... и вдруг неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал его.

— Батюшки, умру! Умру, умру, спасите!— вопил обыватель.

И Алифан исчезал.

Иногда выслушают его, посмеются в одинаковой мере и над Куком и над рассказчиком, продержат от скуки часа три и скажут:

— Ступай, не надо ничего.

Плохо приходилось ему. Синий нанковый халат, сшитый опекуном еще в первые года́ опекания, до сих пор не сходил с его плеч, потому что другого не было. Если иногда Алифан принимался раздумывать о своих несчастиях, то по тщательном размышлении находил, что во всем виноват один капитан Кук. Но было уже поздно!

Таким образом, известнейший мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, вторично погиб в тря-

синах растеряевского невежества; погиб — раскритикованный в пух и прах нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками. А вместе с Куком погиб и добродушный Алифан.

Горестная жизнь его была принята обывателями, во-первых, к сведению, ибо говорилось:

— Вон Алифан читал-читал книжки-то, да теперь эво как шатается... Ровно лунатик!

И, во-вторых, к руководству, ибо говорилось:

— Что у тебя руки чешутся: все за книгу да за книгу? Она ведь тебя не трогает?.. Дохватаешься до беды... вон Алифан читал-читал, а глядишь — и околеет как собака...

2. БАЛКАНИХА

Тьма вопросов, являющихся у растеряевцев в минуты «отчунения», требует такого помощника в уразумении их, какого Растеряева улица не видала еще ни разу с того времени, как вытянулись в кривую линию ее косые заборы и приземистые лачужки с своими голодными обитателями. Поэтому растеряевец с давнего времени привык полагаться на бога, будучи горьким опытом убежден, что спасение его не в руках человеческих. Только что рассказанная история с книгою и факты будничной жизни скажут наивному наблюдателю, полагающему, что в минуты жажды совета и уразумения не худо бы подсунуть растеряевцу нечто общедоступное или даже общезанимательное, — будничный опыт скажет такому наблюдателю, что хлопоты его по этому предмету будут тщетны вполне. Голодный лунатизм Алифана только подкрепит взгляд растеряевца на непонятную вещь, именуемую «книгою», попрежнему сомнения его и надежды будут в руках умов мудреных и загадочных, говорящих необыкновенными словами... Такие мудреные умы есть у многих растеряевских баб, одну из которых я тотчас же постараюсь отрекомендовать читателю.

Вероятно, всякому приходилось не раз встречать тип необразованной, но умной бабы, преимущественно вдовы, которая всю жизнь усердно ходит в церковь, пользуется всеобщим почетом, именуется «матушкой», получает за обедней просвиру наравне с генералами и заслуженными людьми. Вот именно все такие качества совмещает в себе Пелагея Петровна Балканова, иначе Балканиха, иначе Дунай-Забалканова. Последний вариант фамилии Пелагея Петровна считала самым правильным, объясняя сложность ее знатностью дворянского рода, от которого будто бы она происходила. К несчастию, документы о ее происхождении

были затеряны, и хоть она ни на минуту не покидала надежды *отыскать дворянство,* тем не менее улица наша смотрела на нее пока как на мещанку, супругу маленького и тощенького мещанина. Но даже и в звании мещанки Балканиха обратила на себя внимание растеряевцев, как женщина умная; этому главным образом способствовали непостижимые, но самые существенные средства, которые употребляла она для укрощения мужа. Холостяком он слыл за вертопраха и сорви-голову; женившись — присмирел, оглупел, словом — сделался тряпкой. Средства, употребляемые Балканихой для его усмирения, мало того что были непостижимы, можно сказать наверное, не имели в себе ничего зверского, что почти невозможно в наших нравах. Пелагея Петровна не крикнула, не топнула, не плюнула супругу *в лохань* ни разу, в серьезном выражении ее почти мужского лица, в ее строгих, но всегда спокойных глазах, даже, быть может, в этих небольших усах, которыми была наделена она от природы, было что-то такое, что заставляло мужа ее осматриваться, самому *придумывать* себе вину и просить извинения. Вследствие такого постоянно замирательного положения, муж Балканихи начал питать к ней какую-то тайную ненависть, утешая себя возможностью когда-нибудь отплатить ей теми же мучениями, какие испытывал теперь сам. Но Балканиха не изменялась, и неотомщенный муж смирялся все более и более. Супруга приучила его подходить к ручке, по воскресеньям поздравлять с праздником, в известных случаях говорить: «виноват, не попомните!» Дело усмирения подвигалось вперед все быстрее и успешнее и окончилось одним весьма трагическим происшествием, о котором рассказывает растеряевская молва. Муж Пелагеи Петровны, привыкший все делать в темном углу, потихоньку, однажды вознамерился отведать на старости лет, стыдно сказать, вареньица! С замиранием сердца пробрался он в чулан, достал и развязал банку, проглотил одну полную вареньем ложку и только что запустил было ее в другой раз, как неожиданно на пороге показалась серьезная фигура Балканихи...

Супруг вздрогнул, выпустил из рук ложку... и будто бы тут на месте испустил дух!

Пелагея Петровна была так уверена в справедливости своей власти над мужем, что даже в ту минуту, когда увидела труп его и когда, казалось, все земные прегрешения должны бы были забыться, она все-таки, по словам очевидцев, не могла не произнесть:

— Вот ежели бы ты как следует пришел бы да попросил у меня вареньица-то, а не воровски поступил, остался бы ты жив-живехонек. А то вот господь-то и покарал!..

На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез и причитаний ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы растеряевские бабы не имели оснований упрекать ее в холодности и бессердечии. Совершив все это по установленному порядку, Пелагея Петровна вступила в новый период жизни — «принялась вдоветь». В ее власти находился небольшой собственный дом с мезонином, огород с несколькими кривыми яблонями, разбросанными там и сям, баня и небольшое количество разного добра, которое сумела скопить она. Из приближенных к ней людей остались с нею неразлучны по-прежнему только старая баба Харитониха, исправлявшая все должности от наперсницы до поломойки, и приемыш Кузька, самоварщик, о котором будет в своем месте более обстоятельная речь.

Прежде всего, после смерти мужа, она отправилась пешком к Троице-Сергию, так как давным-давно обещалась богу сделать этот подвиг, и, возвратившись оттуда, вступила на дорогу мирного и благочестивого жития. С этих пор начинается ее власть над нашей улицей. Рассказы про угодников божиих, про чудеса были до такой степени обворожительны в ее устах, что все бабы нашей улицы толпами стекались слушать их и выносили из Балканихиного жилища самые светлые ощущения. Пелагея Петровна не пользовалась, однако, этою минутною славою: при полной возможности шататься с своими рассказами по дворам и опивать на чаю весь женский пол нашей улицы, она этого не делала; напротив, в самом разгаре первой славы своей, она по-прежнему сидела с шерстяным чулком в руках в своей маленькой каморке и басом пела «Да исправится», подражая напеву «лаврскому». Авторитет свой она устраивала не торопясь, этому много способствовала Харитониха, которая от нечего делать находила возможность слышать и знать все, что делается у соседей и вообще по всей улице. Балканиха слушала ее без малейших признаков любопытства и только иногда, выслушав рассказ, одевалась и шла на место происшествия, где и давала разные советы. «Вы хоть бы погрели у печки одеяло-то,— говорила, например, она,— а то этак-то и в гроб родильницу отправить недолго». Или: «Матушка! видите вы — человек слаб, а вы ему в самое дыхание ладаном надымили. Разве это возможно!.. Дайте ему очнуться, может он вовсе и к смерти не принадлежит...» И случалось, что родильница, лежав-

шая под нагретыми одеялами, вдруг выздоравливала, или что человек, который по случаю загула пролежал дня два недвижимо и которого начинали уже душить ладаном, приготовляя на тот свет, вдруг, после совета Балканихи, приходил в чувство и хриплым голосом произносил:

— Ах бы солененького!

Все это служило Балканихе к добру.

— Дай вам, господи, доброго здоровья, матушка Пелагея Петровна,— говорил воскресший растеряевец.— Без вас я, кажется, давно бы душу отдал, и опохмелиться бы не пришлось!

Так потихоньку слава Балканихи все росла да росла, хотя, казалось, это вовсе не радовало и не волновало ее. Но это только казалось; в существе же дела она очень была довольна и немало гордилась своею властью. Ее ум, ограничивавшийся в прежнее время уходом за супругом и домашними заботами, теперь имел более пищи, развивался и приобретал даже несколько философское направление. Балканиха начинала чувствовать в своей голове ум *несказанный:* ощущение совершенно новое и приятное, тем более, что вся наша улица не испытывала этого ощущения, ибо не имела ни минуты свободной на то, чтобы заглянуть в собственные мозговые сокровищницы. Мудрствование и философствования были необыкновенно приятны для нее, и она часто нарочно устраивала разные философские маневры, чтоб, во-первых, явственнее познать силу своего ума, а во-вторых, более изощриться в философских тонкостях. Такие маневры устраивала она пока только дома, ибо случаи к этому дома представлялись частые.

Один из жильцов ее был городской извозчик Никита, нанимавший у Пелагеи Петровны баню. У Никиты была огромная семья, и Балканиха из жалости брала с него только рубль серебром в месяц, с тем, однако же, условием, что всякую субботу, когда топится баня, Никита должен был выбираться оттуда с семьей и пожитками в сад.

Баня особенно часто топилась зимою, следовательно Никита знал вполне, что такое холод. В той же мере знал он, что такое и голод, потому что с давних, почти незапамятных времен испытывал неописуемую нищету. Кто из трех врагов, опекавших его, голода, холода и запоя, явился прежде, вообще с чего началось его бездомовничество, — решить было очень мудрено. Пелагея Петровна, как женщина сердобольная, иногда предпринимала походы в области грешной души Никиты, с целию возвратить его на путь истины. Такие походы совершались преимущественно

после обеда, когда мухи и жара не дают никакой возможности заснуть. В такую пору Балканиха обыкновенно завешивала окна платками и среди темной комнаты, с жужжащими у потолка мухами, вела отрывочные разговоры с Харитонихой. Эта верная наперсница всеми мерами старалась придумать какую-нибудь интересную вещь, над которой бы Пелагея Петровна могла поумствовать: она сообщала сплетни, новости, пересуды. Истощался этот материал, Харитониха поднимала вопросы вроде того, что правда ли, будто рыжие в царство небесное не попадут, и нет ли этому какой-нибудь основательной причины? Если же истощался и этот запас, то Балканиха вдруг начинала чувствовать потребность доброго дела и приказывала звать Никиту, предварительно справившись: в рассудке ли он.

— Никита-а!— звала Харитониха.

— Сейча-ас!— отзывался Никита из сарая.— Чего там?

— Пелагея Петровна зовут к себе.

— Но-о!— злобно рычал Никита, стиснув зубы.— Зачесалось! Опять воловодить начнет... Иду!.. Как только это не совестно мучить человека... Скажи: иду!

Скоро действительно Никита входит в комнату Балканихи. Он делает низкий поклон, шепотом здоровается, отступает шаг назад к двери, обдергивает рубашку и с пугливым недоумением ожидает допроса. Пелагея Петровна начинает издалека; она задает ему вопрос: «Куда душа человеческая надлежит *по-настоящему»,* полагая про себя, что всякая истинно христианская душа надлежит в рай. Никита недоумевает.

— Не понимаешь?

— Мал-ленечко, точно что... есть препону!

— Ну, ты подумай.

— Слушаю-с...

— Тогда и скажи. Только хорошенько подумай.

— Да уж будьте покойны... Слава богу!.. Али мы!.. Приму все силы...

Настает мертвое молчание. Никита думает, по временам взглядывая на потолок; откашливается, потихонечку вздыхает и вдруг говорит, направляясь к двери:

— Я, матушка Пелагея Петровна, на минуточку...

— Нет, ты погоди!

— То есть... одну только минуту...

— Нет, нет... постой! Ты сначала скажи, что следует...

— И в самом деле,— соглашается Никита,— лучше же я теперича скажу вам все...

— Ну, вот...

— Да тогда уж и отлучусь. По крайности объясню вам. Во сто раз лучше...

Никита понимает всю безвыходность своего положения и с особенным напряжением ума старается разузнать истинные позывы своей души.

— Ну?— спрашивает Балканиха.— Куда же наша душа надлежит по-настоящему?

— Душ-ша наша,— робко и протяжно начинает Никита,— душа наша, матушка Пелагея Петровна, главное норовит по своей пакости как бы, например, согрешить, например, в кабак...

— Глупец!— вскрикивает Балканиха.— Что ты это сказал!

Пелагея Петровна даже вскочила с своей кровати и подступила к Никите, который испуганно подался к двери.

— Опомнись! Что ты сказал? В рай нашей душе по божьему писанию надлежит, а не в кабак! безумец этакий, в ра-ай!

— Никита спохватился.

— Так! так!.. в рай! в рай-с!.. это точно... Ах ты, боже мой! а я эво куда... Ах!..

— Нет, как ты осмелился это сказать? а? — еще ближе подступая, горячится Балканиха.

— Да что будешь делать! Хорошенечко не огляделся, ну, и в рай-с! Будьте покойны! так, так...

— Ай-ай-ай... Видишь ты, как враг-то тебя оплел?.. а? В кабак! Следственно, душа твоя до какого же безобразия искажена? У кого же ты теперича будешь просить защиты?

— У кого ж, окроме вас...

Балканиха даже всплеснула руками и, отступая в глубину комнаты, воскликнула:

— Да что ты это? Очумел ты? У б-бога! только у бога одного!.. Сотвори крестное знамение...

— Прошибся! Не подумавши сказал... Виноват! Я было, признаться, и хотел-то это самое сказать, да маленечко, по грехам, не туда прохватил...

Озадаченный философским ухищрением, Никита уже с полным смирением слушал дальнейшие речи Балканихи и считал непременным долгом соглашаться с ней во всем; да нельзя было не согласиться. Она так ярко изображала падшую его душу, стремящуюся прежде всего в кабак, так явственно рисовала ужасы адских мучений, что сердцу Никиты нельзя было не содрогаться: то видел он себя с огненной сковородой в руках, то чувствовал, как в его

грешную спину загоняют железный крюк, чтобы повесить над огненной бездной...

— Верно!— произносил он в ужасе.— Верно, матушка Пелагея Петровна! Ах, справедливо!

Дело обыкновенно сводилось к тому, что Никита начинал клясться перед образом:

— Ежели только каплю, громом расшиби!

— Смотри!— говорила Балканиха.

— Будьте покойны! Ни в жисть не будет этого!

— Смотри!

— Даже ни-ни! Ни боже мой! Легкое ли дело... ни-ни! Пожалуйте вашу ручку.

— Цалуй... да сма-три!..

В эти минуты Никита действительно чувствовал такую энергию, о которой в обыкновенное время не мог и представить себе, так как вся рассудочная деятельность его была обыкновенно поглощена надеждою, что «бог не без милости». Тотчас же после нравоучения он решился вдруг все привести в порядок. Мгновенно, и даже несколько с сердцем, вытаскивал из-под навеса свои ветхие дрожки, устанавливал их посреди двора на солнечном припеке и, обдав водою, принимался скоблить, чистить, мыть. Все кожаное в своем экипаже смазывал густыми слоями сала, ослепительный блеск которого открывал целые миллионы изъянов, незаметных прежде под кучами грязи. Это, однако, не охлаждало Никиты.

— Ничего, живет!— говорил он, взяв в руки оглобли и лавируя с дрожками по Балканихину двору...— Еще как отлично-то!

Затем подобную энергическую реставрировку испытывала и несчастная кляча, потерявшая от нищеты хозяина и фигуру и способность что-нибудь ощущать: выражение глаз ее в ту минуту, когда хозяин вытягивал ее кнутом, было совершенно такое же, когда хозяин угощал ее овсом. Потом следовали хлопоты в семье, в бане; Никита умывался, надевал чистую рубаху, расчесывал волоса, смазав их квасом, и с особенной любовью, какая может загореться в сердце человека, с твердой верой в будущее благополучие, нянчил своих ребят, целовал их и разговаривал самым дружеским тоном.

На другой день рано утром Никита собирается ехать со двора. Старый армяк его вычищен и заштопан белыми нитками; шея обмотана новым, подаренным к крестинам, платком, подпирающим в самые скулы. В воротах он снимает шапку и не перестает креститься во все протяжение пути от ворот до перекрестка. Жена Никиты, с ребенком на

руках, долго смотрит ему вслед, стоя за воротами. На перекрестке Никита, нахлобучив шапку, полыснул кнутом клячу — и дело пошло в ход. Лошадь потащилась своей упругой рысью, оглашая пустынную улицу бряканьем селезенки. Никита размышлял, чувствуя в себе что-то новое, небывалое... Вдруг его качнуло назад, и дрожки остановились, утонув колесами в выбоине перед крыльцом знакомого кабака... Лошадь остановилась здесь по привычке.

Пораженный удивлением, Никита долго молчал, опустив руки, и, наконец, шепотом пробормотал:

— Каково вам покажется?

— Никита Петрович,— весело шептал из окна целовальник,— иди, благословись косушечкой!

— У-у! Ссак-кррушен-ние!— рычал Никита, с сердцем вытягивая лошадь кнутом.

Такие не всегда удачные попытки сделать доброе дело не только не убавляли ничего в славе Балканихи, но, напротив,— еще более придавали ей весу: Никита, вернувшись домой опять со сломанными дрожками и в разорванном армяке, снова чувствовал себя виноватым перед Пелагеей Петровной, и этот страх не пропадал даром, потому что обыватели нашей улицы видели его и поучались. Ко всему этому Пелагея Петровна постепенно прибавляла новые поводы для уважения. Так, например, она перечитала все книги, найденные у ее жильцов: молитвословы, календари, богослужебные книги, поучительные примеры благочестия, «Камень веры» [1] и проч. и проч. Растеряева улица после этого вытаращила глаза на Балканиху, ибо в разговоре ее стали появляться такие слова, каких растеряевцы от роду своего слыхом не слыхали. Мало того, Балканиха могла каждому растолковать всякое подобное слово. В одинаковой мере понимала она, что такое значит: *круг солнца, вруцелетие, индикта* [2], как и такие тонкости, которые объясняют, что такое полиелей [3], преполовение [4]. Рекомендую читателю представить себе, что должен был чувствовать растеряевец при взгляде на Пелагею Петровну в эту пору ее славы. Такие успехи она одерживала в то время, когда ей было только тридцать восемь лет от роду. В эту пору вздумал было посвататься за нее один мещанин, по фамилии Дрыкин, но скоро раздумал...

---

[1] Богословский трактат Стефана Яворского, изданный в 1718 году.

[2] Термины, относящиеся к системе исчисления для празднования православной пасхи.

[3] Название особой церковной службы.

[4] Название церковного праздника.

«С чего это он меня не взял?»— думала Балканиха в то время, когда вся наша улица полагала, что она сама отказала жениху, и совершенно не подозревала, что иногда в голову благочестивой Пелагеи Петровны закрадывалась мысль об отмщении за эту «обиду».

3. МЕЩАНИН ДРЫКИН

Мещанин Дрыкин до постройки огромного каменного дома не был известен почти никому в городе. Лет десять назад до этого времени видели его кой-кто на толкучке в ту самую минуту, когда он, не стесняясь громадным стечением публики, отнимал у жида-солдата нанковые панталоны, утверждая, что означенные панталоны принадлежат ему и хотя, по-видимому, гроша не стоят, но что он, Дрыкин, имеет тайную причину считать их весьма ценными, почему и требует с солдата, кроме панталон, штраф в три целковых да за бесчестие еще какую-то сумму. После этого пассажа встречали его еще кое-где: на нем был длинный изорванный черный сюртук, панталоны, похищенные у жида, картуз без подкладки, в руках держал он тонкую яблоневую трость. Так встречали его в продолжение многих лет, и затем он сразу делается обладателем огромного каменного дома, получая от растеряевцев наименование «темного» богача,— то есть человека, который разбогател не то «убийством», не то «грабежом», не то отыскал клад. Как бы то ни было, но, разбогатев, Дрыкин начал строить дом. Он строил его на широкую ногу, со всеми удобствами; ворочал большими капиталами. В эту пору он посватался было за Балканиху, но, почуяв в ней обширный ум, расчел лучшим отказаться и женился на молоденькой. Растеряевское предание говорит, что тотчас после свадьбы молодая супруга Дрыкина, по имени «Ненила», отдала приказание мужу, чтобы немедленно были приглашены все полковые музыканты и все господа военные из благородных, какие только есть в городе налицо. В ответ на это муж, не говоря ни слова, отправил ее доить корову, сделав такое жестокое рукопашное внушение, что Ненила сразу как бы оглупела, затихла и вообще до того «испугалась», что Дрыкину впоследствии не было решительно никакой надобности в рукопашных внушениях: достаточно было только взглянуть, сдвинув брови, чтобы то или другое желание его исполнилось беспрекословно. Впрочем, полный порядок, по мнению Дрыкина, воцарился в доме его только тогда, когда он вместе с женой переселился в какую-то маленькую каморку окнами на двор, а в трех этажах каменного дома загорланило население

кабаков, харчевен, нумеров постоялого двора. Ненила целые дни торчала в этой каморке, не показывая глаз на свет божий, а муж ее уселся за воротами на лавочке, в тех же нанковых панталонах, с тою же тростью в руках. Он видимо богател; но это богатство ничего не изменяло ни в его костюме, ни в жизни: та же видимая нищета, тот же лук за обедом и проч. Даже кошелек, его, казалось, вовсе не тучнел, потому что если какая-нибудь соседская баба обращалась к нему с убедительной просьбой насчет двугривенного, то в ответ на это он запускал два грязных пальца в дырявый карман жилета, вытаскивал заплесневелый екатерининский грош и почти детски невинным голосом говорил:

— С великим бы, матушка моя, удовольствием, да вот только всего и денег-то у меня... Правда, был об святой гривенник меди; ну, да по времени на себя извел... Что сделаешь-то? А с тех пор и денег-то никаких не случалось. И не знаю когда! Да и где теперь деньгам быть? Кажется, вот-вот с семьей побираться пойдешь...

— Ну, извините,— говорила разобиженная баба.

— С великим бы удовольствием, да ведь что будешь делать!.. До приятного свидания...

— Будьте здоровы!

— И вам также!

После такого разговора Дрыкин крякнет тихонько, постучит палкой по тротуару, держа ее между раздвинутых колен, и возобновит прерванный разговор. На лице его не произойдет ни малейшей перемены, даже улыбки не явится.

Постоянное пребывание Дрыкина за воротами давало возможность познакомиться с его, так сказать, душевными симпатиями. Иногда кто-нибудь из «объегориваемых» им приносил почитать газету. Чтение происходило за воротами. Дрыкин особенно интересовался описаниями церемоний и изображением сверхъестественных происшествий: говорящая мышь, девица, проспавшая ровно пять лет и по пробуждении вдруг разрешившаяся от бремени, и проч. Об иностранных землях из тех же газет узнавал он тоже чудеса: упал камень с неба, чугунка под водой и под землей ходит и т. д. Нужно сказать правду, такие известия потрясали Дрыкина. Он ахал и вздыхал. «Боже мой!— говорил он.— В других-то землях что делается! а?» Но нужно сказать также и то, что при всей искренности этих вздохов, ежели бы судьба забросила как-нибудь Дрыкина в одну из этих стран, переполненных такими удивительными вещами, то он прежде всего осведомился бы: «почем овес?», а про чудеса едва ли бы и вспомнил за хлопотами. Наив-

ность его решительно не давала никаких шансов к соболезнованию над ним по поводу тех ущербов, которые он должен понести в жизни, где, по-видимому, так много самых простых вещей и явлений, могущих поставить его в тупик. Нет! Ворочая огромными капиталами и имея сношения со множеством народа, он между тем все бухгалтерские книги, кредиты и дебеты ведет на притолках амбаров и погребов, изображая углем и мелом палки, под которыми подразумеваются у него и люди и овес, и проч. Кажется, уж как при таком невежестве не промахнуться, как не почувствовать потребности выучиться писать хоть по складам? Однако посмотрите, как он, не прибегая к чьему-либо посредству, сумел напугать своих должников, которые обходят его жилище за пять кварталов. Все это может быть объяснено только тем, что в натуре Дрыкина сумели уживаться самые противоположные вещи, смиренно равнялись и давали дорогу первенствующему стремлению «знать свой карман».

В эту пору жизни мещанина Дрыкина никакая победа над ним не была возможна. Если бы дела продлились в таком порядке, то Ненила не успела бы ни разу вздохнуть свободно во всю жизнь, а Балканиха не имела бы случая восторжествовать. Но господь помог им обеим.

Дрыкин с давнего времени жаловался на боль в глазах. Добрые люди советовали ему пить по зарям по два стакана чернобыльного настоя, нюхать хрен и проч. Особенно было обращено внимание в этом лечении на то, чтобы суметь воспользоваться лекарством по возможности «до заутрени», «до петухов». В этом почему-то считали тайну лечения; однако, несмотря на всю силу доморощенных волшебств, дело кончилось тем, что Дрыкин ослеп.

В одно утро он открыл глаза, тер их кулаками, таращил, крестился, и, наконец, почти со слезами сказал:

— Нилушка! ведь я не вижу!

— Что ты?

— Господи! Господи, что ж это такое? ведь ослеп!..

Дрыкин заплакал. Ненила сначала в недоумении смотрела на мужа; потом ей вспомнилось что-то очень далекое, на лице появилась краска.

— Ослеп?— спросила она.

— Ослеп! как есть ослеп!

— Слава тебе, господи!— с истинным благоговением заговорила она.— Слава тебе, царю небесному! Ослепи ты его, ирода, навеки нерушимо...

— Жен-на! Побойся бога!— стонал муж.

Но жена, вместо сожаления, захохотала и весело стала дразнить его:

— Ну, тронь?.. Ну, сделай твое такое одолжение, тронь? Найди меня!.. где я? ха-ха-ха!

— Б-боже мой, бож-же мой!..

С тех пор в доме Дрыкина пошло все вверх дном. Ненила, которой в эту пору было только двадцать шесть лет, тотчас же изгнала жильцов; вместе с ними выгнала вон из комнат своих ребят, которых она терпеть не могла за их безобразные рожи,— и запировала. Начала она переменять платья по пяти раз в день; явились у ней толпы приятельниц и винцо в полуштофе; целые дни шло щелканье орехов, и частенько подгулявшие бабы визгливо орали песни.

Дрыкин стонал, лежа в своем подвале.

Такие безобразия Ненилы продолжались по крайней мере с полгода; к концу этого времени она успела нагуляться «на все» и поугомонилась, не переменяя, впрочем, своих отношений к мужу. За воротами, куда Дрыкин, наконец-таки, опять перебрался, шло по-прежнему обделывание дел, но уже в степени гораздо меньшей против прежнего, ибо денежные расчеты Дрыкина постоянно перебивались мыслями совершенно побочного свойства.

— Ты говоришь, ударить ее?— говорил он, раздумывая, своему приятелю.— Ударить! Голубчик! как же ты ее ударишь, когда...

— Жену-то?

— Не про то! теперича положим так: ну, даст мне господь, ошарашу я ее; но она заместо того пустит в меня из двадцати местов. И палочьем и чем угодно?..

— Так, того: в сонное бы время,— басил приятель.— Чать, знаете местоположение-то?.. Ну, вот тут бы ее и пристукнуть?

— Голубчик ты мой!— жалобно говорил Дрыкин.— Ну, хорошо, пущай я ее разов пяток кокну в голову-то, но ведь получит она через это пробуждение и, следственно, опять-таки меня, боже защити, как?

— Мудрено!

— Так мудрено, так, друг ты мой, мудрено, даже весьма опасно.

В эту пору распутицы семейной жизни Дрыкина Пелагея Петровна имела полную возможность одержать над ним какую угодно победу; это было тем легче, что слабые струны супругов не таились и были наружу. Принимая в расчет свойство этих струн, Балканиха находила весьма удобным и приятным для себя мутить между собою супругов.

Делалось это с затаенной улыбкой и смехом. Главное орудие для супружеских стычек Пелагея Петровна имела в распущенном хозяйстве. Стоило ей показаться на дворе Дрыкиных, как зоркий глаз ее тотчас же подмечал множество неисправностей: кухарка потихоньку снабжает хозяйским молоком свою родственницу; приказчик вместо пуда сена отпускает проезжающему половину, и этот последний обещается вперед не ступать ногой на постоялый двор Дрыкина; под сараем кто-то кричит: «Подай!», «Нет, врешь!»

Пелагея Петровна только головой качает и идет в сени; здесь раскрыты двери в чулан, в кладовую, в кухню; кто хочет — приди и возьми все: ни одна душа не хватится, и виноватого не сыщешь. Запасшись таким материалом, Пелагея Петровна являлась к Дрыкину и, поздоровавшись, начинала:

— Ну, отец, уж и хозяйство у тебя! Уж хозяйство! И что только это, дивлюсь я, жена у тебя смотрит?.. а?

— Матушка!..— почти плача, говорил Дрыкин.

— А? везде крадут, везде тащат, все ро́сперто; кажется, приди вор, возьми все, и не хватятся... Что это такое? Что ж ты на жену-то смотришь?

— Да милая моя! Ну, положим, точно что, быть может, я ее и того... чем-нибудь... но ведь она в отместку и палочьем и...

— Да как же она смеет?

Дрыкин бледнел от злости и бодро произносил:

— И в самом деле?

— Доживешь,—продолжала Балканиха,—покуда по миру пойдешь побираться... Легкое ли дело, все на выворотку! Ах ты, боже мой! а?..— качая головой, говорит она и идет в другую комнату.

— Ах, боже мой!— продолжает она, подходя к Нениле.— Я смотрю, смотрю на тебя: господи! кажется, в чем только душа держится... Похудела, осунулась... И как только ты это со слепым дьяволом живешь!

— Мочи моей нет! Убью я его!

— Именно! Скажите на милость, слепая чучела этакая, совсем молодую женщину...

Ненила схватывала половую щетку и как стрела налетала на мужа, который, в свою очередь, доспевал до возможности «кокнуть» супругу...

В ту же минуту Балканиха умела выскользнуть из комнаты; стоя за воротами, она прислушивалась к шуму битвы, происходившей в доме Дрыкина, и, с улыбкой глядя на небо, во всеуслышание говорила:

— Господи помилуй! господи помилуй!

Счастливо живет наша Балканиха до сей поры и по-прежнему пользуется общим почетом. Дает советы и принимает за них посильные приношения. Только порой еще и теперь досадует она, что не удалось ей прибрать к рукам старого Дрыкина.

Возвратимся теперь и к Прохору Порфирычу.

XV. ПРОГУЛКА

В жаркое послеобеденное время, по глухому переулку, в тени у заборов, шли два обывателя. Первый был известный читателю Прохор Порфирыч, другой — самоварщик Кузька, воспитанник Пелагеи Петровны Балкановой. Это был здоровый малый лет семнадцати, с широким разжиревшим лицом, вздернутым носом и маленькими глазами, в которых проглядывало выражение какого-то непонятного негодования.

Оба приятеля были в «лучших» костюмах: Прохор Порфирыч, известный в нашей улице за изящнейшего джентельмена, в настоящую минуту совершенно оправдывал этот титул; все, что только отыскал он в своем сундуке аглицкого и французского, все было надето на нем. Незастегнутый сюртук, распахиваемый ветром, открывал пятившуюся вперед манишку, и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстук, из-за которого чуть-чуть показывались кончики воротников, скрипел и издавал какой-то металлический треск, далеко слышавшийся кругом во время безмолвного шествия. Нельзя не сказать, что такой наряд доставлял моему герою истинное удовольствие; держа обе руки назади, он гордо выступал вперед, холодным взглядом окидывал фигуру Кузьки, который представлял совершенный контраст с его джентельменской фигурой. Кузька был одет тоже во все новое; но его наряд в сравнении с нарядом Прохора Порфирыча не стоил ни полушки. Несмотря на нестерпимую жару, Кузька нарядился во все теплое; на голове у него был драповый новый картуз на вате; на плечах, кроме сюртука, драповая же ваточная чуйка с бархатным высоким воротником; шея была подвязана новым платком, но подвязана так, что Кузька не мог свободно повернуть голову и вздохнуть: кровь приливала к голове и стучала в мокрых от поту висках. Отправляясь на богомолье в село З—во, где, по расчетам Кузьки, должна собраться большая публика, он счел за нужное нарядиться во все лучшее, ибо в этом считал необходимое условие всякого праздника. Ко всем этим неудобствам его костюма нужно прибавить уз-

кие выростковые сапоги, надетые на шерстяные чулки, и, наконец, глубокие калоши. Кузька прихрамывал и отставал.

— Ты ежели хочешь идти, так иди!— строго сказал ему Прохор Порфирыч.— Мне с тобой возиться некогда. Этак мы к ночи не доберемся.

— Не сердись!— уныло сказал Кузька.

Порфирыч посмотрел на его раскрасневшуюся физиономию, по которой градом лился пот, и проговорил:

— Ишь рожу-то нажевал!..

— Да будет тебе, ей-богу!— беззащитным голосом протянул Кузька и обтер лицо колючим драповым рукавом.

— Ну, иди, иди... Брошу!

Кузька, по-видимому, очень дорожил компанией спутника, потому что утроил шаги и скоро поравнялся с ним.

— И кто это только праздники выдумал?— бормотал он шепотом, чувствуя во всем теле нестерпимый жар.

Приятели молча продолжали шествие по пустынным переулкам. Жаркий ветер по временам дул в их запотелые лица и чуть-чуть шевелил запыленными листьями корявых яблонь, ветки которых перевешивались кое-где через заборы. От жары народ попрятался в дома; везде были заперты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не уставая...

Исчезли последние дворишки самого отдаленного переулка, и путники вышли в поле. Пыльный и узенький проселок извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся к болотистому дну неглубокой ложбины. Здесь, через трясину, перекинут маленький мост без перил, запрудивший собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположном возвышении холма красуется новый кабак; около крыльца воткнут в землю длинный шест, к концу которого привязана пустая бутылка.

Народу идет «видимо-невидимо», преимущественно бабы, девушки и молодые мужчины всех классов и званий. Прохор Порфирыч идет молча, будучи обуреваем своими тайными размышлениями.

Размышления его имели довольно глубокомысленное направление. Как уже известно, во всей улице нашей он был единственный человек, умевший обходиться без кабака, без разбитого глаза и всегда имевший изящный костюм. Благосостояние Прохора Порфирыча было до сих пор прочно до изумительности; но последние трудные времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благосостояние. Даже он вздохнул не один раз. Самое ревностное желание рабочего народа было желание

войны: «Хоть бы подрались где-нибудь,— толковали рабочие,— все больше было бы сбыту на оружейный товар». Но войны как назло нигде не случалось. Прохор Порфирыч в эту трудную пору до того унизил свой авторитет, что решился даже обратиться за советом и сведениями к Пелагее Петровне. Эта дама не дала ему, впрочем, положительного ответа ни на один вопрос, а насчет войны отозвалась, что «не слыхать».

— Точно что,— говорила она,— где-то заседают об этом деле, насчет того — где и как; но будут ли воевать, или нет, наверно сказать нельзя.

Стали поэтому гнездиться в голову Прохора Порфирыча мысли о женитьбе и, следовательно, отчасти и о любви. Но эту последнюю вещь он тотчас же подвергнул собственной критике и убедился в полной ее невыгоде, тем более, что в совершенстве знал женский пол нашей улицы. Понадеяться на этот пол было весьма опасно; в доказательство этого он мог привести множество примеров. Не дальше как вчера он пробирался ночью, держа сапоги в руках, к своей соседке, у которой муж на минутку отбыл в село Селезнево для излечения от запоя. Недели две тому назад встретил он в городском саду одну особу женского пола, которая несла из дому ужин брату-целовальнику, и имел с ней нечто секретное, после чего еще раз убедился в правоте своего взгляда на женский пол. Положительные желания его насчет этого предмета состояли в том, чтобы взять жену с состоянием, не обращая внимания на физиономию и возраст; при этом область любви он намерен был уступить супруге в полное распоряжение, а сам предполагал заведовать исключительно капиталом, мечтая об осуществлении одного наивыгоднейшего предприятия. По мнению Порфирыча, самое выгодное занятие — кабак. В качестве умного человека, он устроит кабак около какой-нибудь большой фабрики, будет давать рабочим в долг, под условием получать деньги из рук хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирыч предложит ему «профит», то есть вместо, например, пяти рублей будет брать только четыре, а за рабочим запишется все-таки пять. В воображении Прохора Порфирыча кабак этот рисовался какою-то разверстою пастью, которая, не переставая, будет глотать черные фигуры мастеровых. Картина и план были весьма эффектны и выгодны, не находилось только невесты с капиталом. Давно уже пустился он за поисками того и другого, но удачи особенной не видал.

Размышления по поводу этих обстоятельств и этих надежд одолевали его голову в то время, как он шел на богомолье в З—во. Кузька молча следовал за ним, стараясь не отставать.

— У тебя много ль денег-то?— спрашивает его Порфирыч, не поворачивая головы.

— Да, пожалуй, целковых два наберу. Ты, Порфирыч, бери их... Бери все.

— Вона!.. Я на всякий случай... Кабы с купца получил...

— Чего там с купца! Бери все... Куда мне их? Я и не приберу... Только ты меня не кидай...

— Куда же я тебя кину?

— То-то! Уж сделай милость, голубчик... Ежели бросишь, что я один-то?.. Легче же, во сто раз, воротиться...

— Ну, да ладно, не брошу! «Экая осина какая!»— подумал Порфирыч и замолчал снова.

А Кузька очень радовался, что будет иметь верного защитника и руководителя.

Пелагея Петровна, приходившаяся Кузьке теткой, взяла его на воспитание, когда ему было три года. Не любя мужа и не имея детей, она отдала весь запас женской любви воспитанию своего приемыша. Главные старания ее состояли в том, чтобы освободить Кузьку от тех несчастий и пороков, которыми видимо страдала наша улица. Поэтому Кузька с малых лет постоянно находился при ней, получая ласки в виде непрерывной еды. Общество мальчишек было для него чужим; он один катался на ледянке около ворот, не смея и боясь присоединиться к компании, и целые дни проводил в обществе старух, привыкнув к существованию вне общих растеряевских интересов. Кузька был усыплен и закормлен до такой степени, что никакая новость, никакой любопытный факт, который ему приходилось видеть в первый раз в жизни, не приковывали его внимания. Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлениями в окаменелую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда, наконец, он раззадоривался,— удержать его было трудно. На самоварной фабрике, куда Пелагея Петровна поместила его, в первый год затылок его был всеобщею наковальнею, на которой пробовалась сила хозяйских и товарищеских кулаков. На второй год он понял, в чем дело, и, развиваясь далее, норовил было уже отведать прелестей кабака; но Пелагея Петровна вовремя спохватилась, и тут началась реставрировка его развращавшейся души при помощи розог. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего приемыша по меньшей мере два пучка. Такая классическая система

сделала то, что Кузька, будучи уже взрослым малым, был глупее всякого растеряевского ребенка. Огражденный стараниями Пелагеи Петровны от развращенных нравов, Кузька, по планам этой дамы, имел уже все шансы на счастливое и безмятежное житие. Страх, который чувствовал Кузька к своей пестунье, заставлял его всеми мерами следовать ее теории насчет собственного благосостояния и выискивать в растеряевских нравах такие проблески жизни, которые не соприкасаются с кабаком, не носят в недрах своих увечья, разбитого глаза, сибирки и проч., — так как, в самом деле, «не все же кабак»...

Но каково же было изумление Кузьки (выражавшееся, впрочем, самой неопределенной тоской во всем теле), когда продолжительный опыт доказал, что, помимо кабака, помимо проклятий собственной жизни,— в растеряевских нравах нет ничего более существенного. Чем делиться растеряевцу с своей семьей, которая, в большинстве случаев, тоже дает нравоучение в форме беспрерывных попреков? В этой ли голодной и холодной семье найти хоть какую-нибудь дозу удовольствия, лихорадочно необходимого после долгих трудов? Но, главное? под силу ли трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без конца?.. Насущный и ежеминутный вопрос растеряевской жизни — нужда. Под ее влиянием наши удовольствия, радости, словом — вся физиономия жизни. Кузька благодаря попечениям Балканихи не знал нужды и, следовательно, не мог жить в Растеряевой улице. Ему незачем было жить здесь. Посмотрите, с какими усилиями добивался он этой жизни «без кабака» и чем вознаграждались эти усилия.

Вот стоит он за воротами в жаркий летний полдень. По причине праздника все пообедали рано, и поэтому на улице ни души. Кузька стоит на солнечном припеке, босиком, и со злобою скребет затылок, стараясь хоть чем-нибудь развлечься. Ветер треплет его нанковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вот под забором спит чья-то собака. Выражение лица Кузьки делается определеннее; он осторожно достает кусок кирпича и, отставив ногу, развертывается камнем в собаку... Пыль столбом взвилась у забора, и собака с визгом и лаем понеслась прочь, поджимая раненую ногу...

Визг собаки доставил Кузьке некоторое удовольствие; он слегка скосил губы на сторону и вернул головой вбок. И опять скука! Кузька замечает, наконец, что на углу, в тени, мальчишки играют в бабки. Он вдруг почему-то при-

нимает самую зверскую физиономию, торопливыми шагами идет туда и сбивает ногою все бабки прочь.

— Ну чего ты?— пищат мальчишки.

— Прочь!— кричит Кузька, разгоняя толпу затрещинами.

— Что они — трогают тебя?— заступается баба.

— А другого места разве нет им?— возражает Кузька.

— Ах ты, разбойник этакий! Постой, я вот Пелагее Петровне скажу,— кричит баба вслед Кузьке.

— А по мне говори! Что она мне сделает?

— Вот увидишь что!

Кузька сконфужен. Снова попав в область самой мертвящей скуки, он не решается больше искать развлечений на улице и идет в сарай. Здесь Никита чистит лошадь. Кузька медленно оглядывает давным-давно знакомый ему сарай.

— Тебе чего нужно?— строго спрашивает его Никита.

— А тебе что?

— Ты чего тут не видал?

— Да вот хочу. Что, тебе жалко?

— Ах ты, дубина!— укоризненно говорит Никита.— Пелагея-то Петровна мало тебя бьет!.. Тебя, по совести-то надо дубиной да получше...

— Чего ты ругаешься-то? Что за барин уродился?

— Подлец! Именно подлец! Ну, чего ты здесь?

— Хочу!

— Дубина!

— Ну-ну, тронь!

— Глупцы!— раздавался голос Пелагеи Петровны — и порядок восстанавливается. Разозленный Кузька заваливался спать где-нибудь на чердаке за трубой и с горя спал как убитый. Просыпался он ранехонько утром и тотчас, с голоду, принимался путешествовать по чуланам и кладовым, отыскивая что-нибудь съестное. Спросонок он действовал во время похищений очень неаккуратно: ронял горшки, опрокидывал банки. Разбуженная стуком, Пелагея Петровна являлась на место преступления, и Кузька получал достойное.

Помимо полной невозможности отыскать себе хоть какое-нибудь развлечение, Кузька был еще несчастлив в том отношении, что, в качестве семнадцатилетнего ребенка, становился втупик перед самыми обыкновенными человеческими отношениями; весь мир божий казался ему множеством совершенно отдельных предметов, которые друг с другом не имеют никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое яв-

ление, то Кузьке делалось как-то неловко, не по себе. Случалось, увидит он пригожую девушку и почувствует при этом нечто особенное; он почти понимает, в чем заключается это нечто; но это кажется ему уже чересчур странным, и Кузька без разговоров выкидывает какую-нибудь безобразную штуку... Девушка, например, улыбается и посылает ему поцелуй, а Кузька показывает ей кулак, присовокупляя: «На-ко!» В заключение рассердится сам же на себя и со зла хватит камнем в собаку...

Между тем количество богомольцев, по мере приближения к З—ву, увеличивалось. Девушки шли толпами, звонко смеялись, расходились по густой и высокой ржи, плели венки из полевых цветов. Встретилась на пути жиденькая рощица, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которых девушки смотрели с выразительными улыбками, присоединялись к ним и шли вместе. Некоторые из молодых людей, понимая по-своему смысл этих выразительных улыбок, припасли по две по три бутылки наливки *дамской*, схоронив ее в глубине своих карманов.

Слышались разговоры.

— Ну-ко, кто кого?— спрашивал один юноша у другого, показывая из-под полы горлышко бутылки...— Не хочешь ли потянуться?

Приятели вламываются в рожь и приседают. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвивается вверх.

— Вот они, богомольцы-то!— подтрунивают бабы.— Вот так богомольцы!

По пыльной дороге то и дело проносились купеческие тележки с крепкими и статными лошадьми; изредка тащились извозчичьи дрожки с седоком-чиновником, приготовлявшимся испить до дна чашу наслаждений, о которой означенный чиновник так много слышал от приятелей. Вся громадная толпа путников подвигалась весело вперед. Солнце начинало садиться; тени прохожих вытягивались по земле до громадных размеров. Вот, наконец, и село. Богомольцы спускаются с высокого холма, огибающего с двух сторон низменный луг, переходят небольшой, трепещущий от ветхости мост и вступают на середину сельской улицы. Направо тянется длинная линия просторных изб с сараями позади; налево, на возвышении холма, красуются помещичий дом и церковь, к которой примыкают дома причта. Обе эти стороны разделены небольшим ручьем с болотистыми берегами.

Вся сельская улица против домов запружена народом. На земле кипят самовары, и идет веселое чаепитие целы-

ми компаниями. Кавалеры всяких сортов лавируют мимо женщин, занявшихся чаем, выказывая необыкновенно грациозные телодвижения. По мере того как надвигались сумерки и тетки, конвоировавшие молодых девиц, толпами отправлялись в церковь,— тайные цели кавалеров делались яснее. Девицы, схватившись под руки, весело разгуливали по сельской улице; кавалеры тоже целыми взводами двигались им навстречу, обжигая девиц многозначительными взглядами, и, наконец, решались вступить в разговор:

— Отчего же вы не в церкви?

— А вам какое дело?

— Как какое? Помилуйте!

— А вы лучше отстаньте...

— Н-нет-с...

Начинается разговор, сплошь состоящий из какой-то чепухи; тем не менее в конце разговора кавалер считает себя вправе задать, наконец, вопрос шепотом и на ушко.

— Вы где ночуете?— шепчет он.

— У Селиверста,— отвечает девица.

— В сарае?

— Да!

— Так, следовательно,— говорит он вслух, — вы, напротив, того мнения, что любовь...

— Отвяжитесь, ради бога!..

Люди опытные знают наизусть способ ведения сердечных дел, а люди неопытные, напротив,— в крайнем стеснении.

Прохор Порфирыч и Кузька тоже были в толпе гуляющих. Кузька решительно не понимал, из какого источника льются эти нескончаемые разговоры кавалеров и дам? Где отыскать предметы для этих разговоров? Он был крайне сконфужен и плелся вслед за Прохор Порфирычем, как осужденный на смерть, тогда как последний видимо успевал.

Внимание его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была в З-ве без подруг и одна сидела за самоваром. Она постоянно конфузилась и бросала на мужчин испуганные взгляды.

Прохор Порфирыч заметил это и погнал от себя Кузьку.

— Отойди!— сказал он.— Мне нужно!..

— Да куда ж я?— заныл было тот...

— Отойди прочь, говорю... Отстань!..

Кузька с горечью отошел от него и выбрался на самый конец села, где не было ни души. Здесь он расположился на траве и вздохнул свободнее. Прохор Порфирыч тотчас пустил в ход всю свою опытность «по женской части». Де-

вица конфузилась, потом украдкой взглянула на него. Прохор Порфирыч ответил ей легонькой улыбкой; девице, как кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женский характер», побаловал незнакомку улыбкой всего только один раз и потом напустил на себя необычайную серьезность. Такой прием Прохор Порфирыч считал очень удобным в применении к женскому полу, и действительно девушка стала интересоваться им. Несмотря на свою видимую холодность, Прохор Порфирыч старательно следил за девушкой, всеми силами стараясь разрешить — кто она такая. На замужнюю не похожа,— таких молодых жен мужья не отпускают от себя в З-во. Не похожа также и на девушку, потому что около нее нет ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «из этаких» он тоже не мог, потому что в ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохор Порфирыч недоумевал: «Не вдова ли?»— думал он; но и на вдову тоже не было похоже: непременно уж был бы около нее кто-нибудь старший. Не разрешив этих вопросов, Прохор Порфирыч решился во что бы то ни стало попасть на ночлег в тот именно сарай, где поместится и красавица.

Часов в девять вечера улица начала понемногу пустеть. Старухи возвращались от всенощной и укладывались спать в избах; самовары исчезли, изредка попадались кое-где фигуры пьяных мужчин. Сараи, помещавшиеся позади изб, были полны молодежью. Прохор Порфирыч стоял на улице и шепотом разговаривал с хозяином одного двора.

— Будьте покойны!— говорил хозяин.

— Здесь ли?

— Здесь, уж я вам говорю. Пожалуйте!

Порфирыч и хозяин вышли задними воротами к коноплянникам и направились к сараю.

— Уж я вас,— говорил хозяин дорогою,— в самое лучшее место положу.

Они вошли в темный сарай; сквозь плетеные стены его едва-едва прокрадывался лунный свет. В непроницаемой темноте со всех сторон слышался шепот, подавляемый смех и изредка многозначительный кашель.

— Где ж бы тут лечь?— спросил Порфирыч у хозяина.

— А вот-с, я сейчас,— сказал тот и зажег спичку. Яркий свет открыл довольно живописную картину: во всем сарае на разбросанном сене лежали вповалку мужчины и женщины. Женщины при свете тотчас «загомозились» и принялись прятать голые ноги под белые простыни, закрываясь ими до глаз.

— Да вот место!— сказал хозяин.

Прохор Порфирыч взглянул в угол, предназначавшийся для него, и увидел знакомую девушку, так интересовавшую его. Она чуть-чуть выглянула из-под «бурнуса» и тотчас снова завернулась с головой.

Спичка погасла. Прохор Порфирыч ползком пробрался между лежавшим народом и достиг своего ложа. Девушка отодвинулась в угол.

— Ничего-с!— сделайте милость, не беспокойтесь...— проговорил вежливо герой.

Во всем сарае было какое-то бессонное молчание.

— Куда ты? куда тебя дьявол несет?

— Мне сенца!

— Я тебе задам сенца!

— Что вы орете? Вот удивление!

Снова наставало молчание, и потом снова разговор.

— Подальше, подальше, батюшка! У меня свой муж есть.

— Вам беспокойно?— спросил Порфирыч соседку.

— Нет, ничего-с!

— А то не угодно ли вот сюда?

— Нет, нет,— шептала та.

— Да что вы опасаетесь? будьте покойны. Я не какой-нибудь...

— Уж вы этого не говорите. А я вам прямо скажу, я не на это сюда пришла.

— Да помилуйте! Даже на уме не было! Я вот перед богом скажу вам, всей бы душой познакомиться желал.

— Это зачем?

— Как-с зачем?.. Позвольте ваше имя-отчество?

— Раиса Карповна.

— Так, Раиса Карповна, что же, вы тятеньку имеете?

— Нет, ни тятеньки, ни маменьки нету, померли.

— Что же, стало быть, вы у родственников изволите жить?

— Н-нет... Я не здешняя...

— Приезжие?

— Епифанская... из Епифани...

— Да-да-да... И что же теперича вы здесь при месте?

Девица промолчала.

— Или в услужении?

— Н-нет... Я... Да вы заругаетесь!

— Ах! Что это вы? Как же я смею? Неужели ж этакое свинство позволю?

— Я... Господина капитана Бурцева знаете?

— Это которые полком тут стоят?

— Они.

— Ну-с?
— Ну, я при них...
— То есть как же это: по хозяйству?..
— Нет... Я, собственно... Как они проезжали, и видят — я сирота... «Поедем», говорят... Ну я, конечно...
— Да-да-да... Что же? дело доброе.
— Вот вы надсмехаетесь!..
— Чем же-с?.. Даже ни-ни.
«Э-э-э!— подумал Порфирыч,— вот она птица-то!»— и замолчал.
Тишина в сарае продолжала быть бессонной, и это очень растрогало Порфирыча; он вздохнул и обратился к соседке с каким-то вопросом.
— Ах, оставьте!.. Я и так уж...
— Что такое?..
— Да самая горькая...
— То есть из-за чего же?
— Голубчик! Лежите смирно! Я вас прошу!
— Помилуйте, из-за чего же горькие? Будьте так добры... Обозначьте!
— Они уезжают: капитан-то...
— Н-ну-с. Что же? И господь с ними...
— Хотели меня замуж выдать, да кто меня возьмет?
— Как кто? Конечно, ежели будет от них помощь...
— Они дают деньгами...
— Много ли!
— Полторы тысячи...
У Порфирыча захватило дух.
— Ка-как?.. Пол-лтар-ры... Вы изволите говорить — полторы?
— Да... Перед венцом деньги.
— Раиса Карповна,— проговорил Порфирыч...— Верно ли это?
— Это верно.
— Я приду-с... К господину капитану... Приду-с!
— Голубчик! Вы надсмехаетесь?
— Провались я на сем месте... Завтра же приду!..
— Ах, миленький... Обманываете вы... Я какая... Вы не захотите...
— Да я скорей издохну... Деньги перед венцом?
— Да, да... Уж и как же бы хорошо... Не обманете?
— Ах!.. Раиса Карповна!.. Да что ж я после этого?..
— Голубчик!..

Между тем Кузька, улегшийся на траве за селом, был в большом унынии: ничто не могло расшевелить его на-

столько, чтобы заставить разделить общие удовольствия; его одолевала полная тоска. Долго лежал он молча. Взошел месяц, над болотом стал туман, заквакали лягушки, и на селе не слышалось уже ни единого человеческого звука. Наконец тошно стало ему здесь. Он решился идти в село на ночлег.

На сельской улице не было никого; только на одном из крылец сидел хмельной дворник и разговаривал с бабой, стоявшей на улице.

— Арина!— говорил дворник.

— Что, голубчик?

— Уйди, говорю, отсюда.

— Илья Митрич! За что ж ты меня разлюбил? Господи! Сирота я горемычная...

— Арина! говорю: уйди! Слышь?..

— Илья Митрич!

— Я говорю, уй-ди!

Кузька вошел в первые отворенные сени, спросил у хозяина позволения ночевать и лег с глубоким вздохом, надеясь, что, может быть, завтра будет легче на душе.

Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первых, он снова был без руководителя, так как Прохор Порфирыч совершенно увлекся ночной соседкой, чему в особенности способствовали полторы тысячи «перед венцом». Второе несчастие Кузьки состояло в том, что утро другого дня не имело даже и того напряженного веселья, каким обладал вчерашний вечер: публика рано начала собираться в город, так как все самое интересное в празднике было уже вчера. Девицы и кавалеры, встречаясь друг с другом при дневном свете, были даже нелюбезны.

Публика разбредалась. На сердце Кузьки становилось все тяжелей и тяжелей: он не выносил с гулянья ни одного приятного ощущения; рубль семь гривен, которые он пожертвовал себе на увеселения, были целехоньки. «Неужели же, — думалось ему, — с тем и домой воротиться?» Как за последнюю надежду, ухватился он за мысль — снова пойти в кабак.

В кабаке было множество посетителей... Пили, говорили с пьяных глаз что-то совсем непонятное, спорили, жаловались. Внимание Кузьки было привлечено компаниею подгулявшей молодежи.

— Нет, не выпьешь! — кричал один.

— Ан врешь!

— Что такое?

— Да вот Федор берется четверть пива выпить на спор.

— Дай, об чем?

— И спорить не хочу...

— Нет, нет, пущай его! Друг, пива!

— Поглядим...

Явилась четверть пива в железной мерке; Федор перекрестился, поднял ее обеими руками и принялся цедить. Публика следила за ним с особенным вниманием.

— Н-нет! — произнес неожиданно Федор — и хлопнул четвертью об стол.

— А-а!.. — послышалось со всех сторон.

Охмелевший Федор присел к столу. Глаза его смотрели бессмысленно.

Кузька, в минуту неудачи Федора, вдруг почувствовал в себе сознание чего-то небывалого. Громадные нетронутые силы, давно ждавшие какого-нибудь выхода, зашевелились. Он видел теперь перед собой такое дело, которое понимал вполне и которое могло прославить его по крайней мере в з-ском кабаке. Кузька чувствовал, что теперь ему предстоит сделать первый сознательный и смелый шаг. Он смело подошел к гулякам и проговорил:

— Что дадите, я выпью четверть?

— А ты чем стоишь?..

— Берите, что есть: рубль семь гривен.

— Ладно! А с нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душе угодно... Деньги наши... Идет?

— Кричи!..

— Пивва! — заорала компания...

Скоро все общество в кабаке столпилось около Кузьки, который удивлял всех своим богатырским подвигом. Четверть пива быстро подходила к концу. Кузька ни разу еще не передохнул, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали белками...

— Ах, прорва! — говорил удивленный зритель.

— Батюшки, шатается! — вскрикнул другой. — Шатается!..

— Держи, держи его... Расшибется!..

— Уйти от греха! — прошептал третий и выскользнул из кабака: на улице он слышал, как в кабаке что-то грозное рухнулось наземь...

XVI. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ

Мне остается прибавить еще очень немного: Кузька умер в больнице, в бреду. Сонные нервы его были разбиты слишком непривычным хмелем. Прохор Порфирыч, напротив того, с успехом сделал второй шаг на поприще своего благосостояния: он явился к господину капитану Бурцеву, объяснил ему свое желание вступить в брак и особенно

настойчиво изложил условия этого брака. Фразы «полторы тысячи» и «перед венцом» занимали достаточную часть в его объяснении. Несмотря, однако, на видимую корысть, согласие было дано... Более всех радовалась бедная невеста, которая и не чаяла, как вырваться на божий свет. Она безмолвно благоговела перед своим женихом и из метрессы превратилась в покорное, любящее существо, готовое на всякую жертву.

— Голубчик! — с любовью шептала она, бродя вслед за Прохором Порфирычем по саду, куда капитан отправил их переговорить, — милый мой!..

Мой герой и здесь не уронил себя: видя в невесте неподдельную любовь, он постарался с своей стороны отплатить ей за это как можно благороднее. Для этого он вежливо задавал ей вопросы насчет того, — «не мешает ли, мол, вам табачный дым?», подхватывал упавший платок, подносил благовонный букет и среди всякого рода вежливостей не забывал присовокупить:

— Так уж сделайте милость, чтобы это было верно, — перед венцом-то!

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

I. ИВАН БОСЫХ

Морозный зимний день в полном блеске. Час одиннадцатый в исходе. В незамерзший кусочек полузаметенного снегом окна вижу я, как на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дому, в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по прозванию Босых.

Вижу я, как ленивою, почти болезненною поступью подошел он к куче кое-как наваленных в углу двора поленьев, которые Иван взялся расколоть на дрова, как он, вместо того чтобы приняться за работу, принялся обеими руками крепко-накрепко царапать свою голову, держа подмышкою шапку, как потом, нахлобучив эту самую шапку на голову, потолкал кучу поленьев ногой, обутой в рваный валяный сапог, и как опять-таки, вместо того чтобы взяться за топор, стал разминать плечи, стараясь достать кулаком до средины спины... Вижу я все это и знаю, что Иван находится в самом мучительном состоянии,— знаю, что он болен «со вчерашнего», что он вчера крепко выпил, что если сегодня он и появился около дров, то уже поздний час прихода на работу, когда люди собираются обедать, означает только желание выпросить рубль серебра на опохмелье. И точно, поколотив кулаком поясницу и между лопатками, он полез в карман серого подпоясанного армяка за махоркой, и потом, растирая ее на ладони, уныло поплелся в кухню. Здесь, как мне также уж достоверно известно, он долгое время будет курить, а чтобы завести общий разговор, сообщит, что «вчерась» у него вытащили в кабаке деньги, и, возбудив этим общее сочувствие, долго будет разговаривать о своем расстройстве, о том, как он жил на «вокзале», о том, как он поправился; сообщит множество сведений о том, как лечить такую-то и такую болезнь, как ловить барсуков, как прививать яблони, и в кон-

це концов, не имея сил долее сопротивляться мучительному недугу похмелья, скажет: «Нет, видно, ноне я не человек»,— и пойдет ко мне просить рубль серебра, говоря, что у него внутри жжет и дерет, ест и сосет, и что, очувствовавшись, он придет завтра до свету и все переделает с одного маху. И это также давно мне известно: знаю я, что, очнувшись, Иван Петров делается совсем другим человеком и что в такие — к несчастию, редкие — минуты нет в деревне такого другого мужика, который был бы так, как Иван, «зол» на работу, то есть так к ней пристрастен и так ею оживлен.

Иван Петров принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей — классу, народившемуся в последние двадцать лет,— который волей-неволей приходится назвать «деревенским пролетариатом».

Этот новорожденный пролетариат решительно мог бы не существовать на нашей земле, если бы миллионы мероприятий, направленных в сторону народа, дорожили народным миросозерцанием, по малой мере, в таких же размерах, как и его платежною силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому дом питейный, вполне достаточно хотя бы только той нелепицы в крестьянских «правах», вследствие которой крестьянин, сегодня бывший присяжным, судьей и великодушно оправдавший несчастного человека, давший ему жизнь словами «нет, не виновен», на другой же день после свободного проявления такого большого «права» может быть выпорот в волостном правлении до *крови* за то, что, встретившись под хмельком со старшиной, нанес ему оскорбление словами: «Ах ты, курносый заяц!»

Чтобы молча и безропотно вращаться только между такими полюсами крестьянских «правов», и то надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму. Но этот пример — только капля в море того *коренного* расстройства, которое размывает самые коренные основы народного миросозерцания, вырабатывает человека «без перспективы» и «без завтрашнего дня», стремится сделать работника и раба из человека, который по самому существу своей природы *не может* существовать иначе, как с сознанием, что он «сам хозяин».

Посмотрите вот на этого Ивана Петрова, по прозванию Босых: он человек сильной породы, он легок, ловок и умел в работе, жена его умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли он может иметь, сколько понадобится; но, кроме «хозяйства», он еще и плотник, весьма

хороший для деревни, и сапожник; да и просто как поденщик — колоть ли дрова, прессовать ли сено и проч.— он мог бы, получая не менее семидесяти копеек в сутки на хозяйских харчах, существовать безбедно, а он вот бросил хозяйство, бьет жену, жена ходит жаловаться, плачет; дети его, трое ребят, по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без всякого призора, и неизвестно, кормит ли их кто-нибудь. Изба его, в ряду тех новых «крестьянских» изб, в которых вы видите кисейные занавески, венскую мебель и часы под колпаком, представляет собою верх безобразия: она вся почти развалилась; вместо стекол — тряпки и какие-то лохмотья; а по постройке избы и служб вы видите, что дом был «богатый»; сараи протянулись сажен на тридцать; столбы везде дубовые, аршина по два в обхвате... А сам хозяин! Спросите о нем у авторитетных деревенских людей,— все отзовутся о нем самым неодобрительным образом: он три раза продал одно и то же сено трем разным лицам, а деньги пропил; он набрал «под телушку» в трех лавках и не отдал нигде — телушку продал на сторону, а деньги, по обыкновению, пропил. Его секли в волости несколько раз — и за грубость перед начальством, и за недоимки, и по жалобе жены, которую он после этого суда жестоко избил в поле, возвращаясь домой. «Не давайте ему денег, ни боже мой, не давайте вперед!»— советует вам экономный деревенский житель. «Ни на волос не верьте!»— говорит другой житель, уже обманутый Иваном. А между тем, когда Иван «очувствуется» на неделю, на две, что это за славный, добрый, умный человек! Сколько у него юмора, наблюдательности, нежности, великодушия, насмешки над самим собой, сколько юношеской душевной свежести! Что же валит его пьяным с опухшим лицом ничком в мокрую, грязную канаву, без сапог, без одежи, и заставляет целые ночи подставлять свою широкую спину под дождь и ветер? Вся деревня помнит его родителей, все говорят, что когда-то Босых были первые хозяева, что Иван и жена жили прежде дружно, работали «за первый сорт»; все согласны, что очнись он, ему цены не будет, что у него «золотые руки»; а он точно умышленно махнул на все рукой, обманывает, буянит и, как нищий, шляется в поденщиках, да и только для того, чтобы выработанное пропить в кабаке.

II. РАССКАЗ ИВАНА БОСЫХ

Теперь пьянство Ивана превратилось уже в болезнь, а эту болезнь, угнетающую не одного Ивана, а целые массы таких же, как и он, непостижимых в русской земле дере-

венских пролетариев, сам народ охарактеризовал словом: «ослаб». Физически Иван, как и сотни ему подобных «ослабших» мужиков, не только здоров и силен, но прямо могуч; стало быть, слабость его имела не физические, а какие-то другие источники. Вот о причинах этой-то «слабости», «ослабления», и бывали у нас с Иваном весьма частые разговоры, долгое время не приводившие ни к каким благоприятным результатам, а иногда прямо сбивавшие с толку, особливо такого человека, который привык и приучился объяснять народное расстройство почти исключительно материальными несчастиями, бедностью, налогами и т. д. Приведу для примера один из таких разговоров.

— Скажи, пожалуйста, Иван, отчего ты пьянствуешь?— спрашиваю я Ивана в одну из тех ясных и светлых минут, когда он приходит в себя, раскаивается в своих безобразиях и сам раздумывает о своей горькой доле.

Иван вздыхает глубоким вздохом и с сокрушением произносит почти шепотом:

— Так избаловался, так избаловался... и не знаю даже, что и думать... И лучше не говорить!.. Одумаешься, станешь думать — не глядел бы на свет, перед богом вам говорю!

— Да отчего же это,— скажи, пожалуйста?

— Отчего?.. Да все оттого, что... *воля!* Вот отчего... своевольство!

Так как ответ этот ставит меня в недоумение и я решительно не могу понять, почему «воля» может губить человека, то Иван, чтобы рассеять мое недоумение и объясниться обстоятельнее, прибавляет:

— От жизни от свободной — вот от чего!

— Что же это значит?— спрашиваю я в полном недоумении.

— А то значит, как жил я на вокзале, получал я тридцать пять целковых в месяц, народу имел под начальством десять человек, доходу мне каждый божий день с вагону уже беспременно рубль серебра, а сочтите-ка, сколько в зиму-то вагонов отправим?.. Ну вот, тут-то я значит, и забаловал...

Слово «забаловал» до такой степени не подходит к сорокалетнему мужественному бородатому мужику, что не понимаешь даже, как он может в объяснение своего поведения употреблять такие выражения, приличные только разве малому ребенку. Но Иван не находит другого точного выражения.

— Вот и стал баловаться... При покойнике тятеньке, бывало, капли в рот не брал. Убьет, если узнает, насмерть

уколотит своими руками... Да и после тятеньки, когда уж оженился, своим хозяйством стал жить, и то дозволял себе — когда угостят, да на праздниках, да иной раз со скуки — стаканчик. Все опасался и покуда чего было — берегся... Ну, а уж тут, на вокзале, как стала мне воля, стало мне, значит, раздолье, стал я — одним словом, коротко сказать — барин, тут-то я и пошел... Жрешь, бывало, целые сутки, а все доверху не хватает... Я как сейчас помню, с чего начал: у дорожного мастера Ивана Родионовича именины были на Ивана постного. Ну, он мне и налил виноградного стакан — «портвин» прозывается... Я как двинул его — понравилась. Я и давай... А там и коньяк, лимонад. Вот с этих самых пор и завел себе язву. А отчего? Все от воли! Все от непривычки, от легкой жизни... Вот отчего!.. Бывало, денег полны карманы набью... Ну и стал через это самое вроде последней свиньи...

Таким образом, оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обилие денег», то есть все то, что необходимо человеку для того, чтоб устроиться, причиняет ему, напротив, крайнее расстройство до того, что он делается «вроде последней свиньи».

Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратил, а на пьянство?— спрашиваю я.

— То-то и есть, не привычны мы... Какое тут хозяйство, когда совсем стало жить свободно?.. Делай, что хочешь,— никто не попрепятствует... Тут, одним словом, можно вконец избаловаться...

Так как Иван видит, что объяснения его ничего не объясняют и что я все-таки не мог взять в толк, отчего хорошая жизнь превращает человека в свинью, то он старается пояснить мне свою мысль примером, к чему в разговоре вообще довольно часто прибегают крестьяне. Привожу этот пример, зная, что он едва ли что уяснит читателю.

— Потому что,— говорит он,— природа наша мужицкая не та... Природа-то у нас, сударь, трудовая... Я скажу вам примером. Был у нас тут по суседству барин, господин Подсолнухов, хозяйствовал... Вот хозяйствовал-хозяйствовал, видит он, что доходу ему нету, задумал он молочным делом заняться. Наша скотина ему не по нраву пришлась — коровенки наши, точно, худы, шаршавы,— дай думает, заграничную корову выпишу. Выписал. Идет телеграмма, едет корова из-за границы, немец ученый провожает... Видим, ведут, чуть не на цепях — эдакая верзила, сажень вверх да полторы вдоль. Урядник даже шапку снял... Что рога, что глаза, что прочее все — страсти господни! Велика.

Еруслан Лазаревич... Очистили ей скотник, настлали соломы, пришла она и легла эдак набок. А немец лампу потребовал на ночь. Вот хорошо, лежит она таким манером и ест. Только бабы подкладывают ей под морду корм. Ест, а молока не дает. «Что же это, говорю немцу, она молока-то не дает?»— «А это, говорит, она отдыхает, так как, говорит, из-за границы и все в вагоне, то она утомлена и поправляется своим здоровьем...»—«А долго ли, мол, она будет поправляться?»—«Да с месяц места пройдет». Ладно. Попробовали было ей нашего мирского быка порекомендовать — куда!.. Как глянул на нее, какая она есть великолепная, испугался, как заяц: понял, что не ему с мужицким рылом соваться — и давай бог ноги... Едва за двенадцать верст чужие мужики поймали. А она тем временем отдыхает все. Все ест, вздыхает и ест... Наконец, уж, видно, совесть ее взяла, дает молока, и целое ведро. Вот барин и говорит: «Видишь, говорит, Иван, какое же сравнение с нашими коровенками!» — «Ну нет, говорю, барин, по ейному корму наша скотина много способней».— «Как так?»— «А вот как: сосчитайте, сколько она у вас съела и много ли по корму молока дала? Она хоть и ведро дает, да ведро-то это больно много стоит... А кабы вы корм-то, что она одна съела, роздали нашим десяти коровенкам, так все-то вместе они вам в десять раз больше этой одной верзилы дали б». Тут немец и говорит: «Она, говорит, не такой породы, чтобы только о молоке думать; она и об себе думает, она ест для своего удовольствия — посмотри-кось, какое у ней мясо-то...» Вот после этих слов я и говорю барину: «Видите, говорю, господин, ан и оказывается, что наши коровенки как раз по нашей природе и породе приходятся... Мясо нам не требуется, своего удовольствия она знать не знает, а живет только из-за работы; что ест, то отдает, а об себе не думает... Родилась она для работы и живет весь век в ней — вот вся и жизнь ее...» Вот и человек этак же бывает разный. И вот наша крестьянская порода то же самое: мы круглый год и всю жизнь, не покладаючи, работаем да так в работе и живем... Я вот попробовал от крестьянства отбиться — чуть было не опился... А другому что легче, то лучше; что ничего не делать, то и приятно... Вот у нас на станции еврейчик был Шнап... Все он там толкался в разных местах и все на пустом норовил рублишко нажить: там барыню провожает, там мужику укажет, как и куда пройти... Ну и дают — кто рубль, кто гривенник... А он все прячет, все копит. «На что, говорю, копишь?»— «Карьер хочу делать».— «Какой-такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачем?» — «Лав-

ку открывать!» — «А как откроешь?» — «Опять деньги наживать!» — «А как наживешь?» — «Еще больше буду наживать!» — «А как совсем уж много будет?» — «Опять буду еще больше стараться...» Вот и гляди на него. «Пойдем, выпьем!» Нейдет, копейки не истратит. А по-нашему, по крестьянству, для хозяйства еще, пожалуй, можно поднажить деньжонок, а так... наживать да наживать — так это я даже и в понятие-то не возьму... Шнап-то вон этот из грошей капитал делает, а вот я, как позабыл крестьянство-то, от трудов крестьянских освободился, стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно что щепки... Только и думаешь, куда бы девать, и, кроме как кабака, ничего не придумаешь... чего! Я уж вам во всем буду каяться... (Иван говорит шепотом.) Т-р-р-ри мамзели завел! Закон забыл!.. Перед богом говорю... Воля! Свобода! Только и думаешь, как бы что... Тьфу! До такого дошел забвения, даже стал наших, своих же братий, мужиков притеснять... И с чего! — Просто совести не осталось... Придут, бывало, с холоду, разыщут в трактире, кланяются, просят сено отправить — второй, мол, день ждем, проелись, а концов не сыщем... Мне бы, кажется, только сказать подручному: «Михайло, дай им вагон!» — а меня точно нечистая сила начнет разламывать... Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: «Изыскивайте способóв».— «Да каких же, батюшка, способóв-то искать! Ходили-ходили, везде машины свистят, дым дымит, того и гляди раздавят... Уж мы и так измучились». — «Изыскивайте, говорю, сумейте понять, кто вам надобен...» — «Да ты, отец родной, ты...» Ломаешься-ломаешься, бывало, уж кто-нибудь из публики вступится, скажет мужикам: «Да всуньте вы ему, подлецу, три целковых в горло... Каких ему еще способóв надо!» Ну уж тут поневолишься, сделаешь... Жена придет, бывало, облаешь... По крестьянству она мне нужна, а на свободе у меня особенные баловницы есть.. Что мне с ней, с мужичкой, делать?.. Ведь вот до какого дошел своевольства! И верите, как распьянствовался я до последнего предела, как дошло дело до начальства, да как приехал начальник дистанции, да ка-аа-к дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации набавил мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока,— так я, братец ты мой, сотворил крестное знамение, да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки — домой!.. По полям, по сугробам, по задворкам, как птица, двадцать пять верст без остановки пропорхал и не видал как середь своего

двора очутился. Очутился я на дворе гол и наг, и все у меня в разорении, а рад был — истинно, как из мертвых воскрес. Слава тебе, господи! Слава тебе, царица небесная! Опять я — человек, опять я сам себя отыскал... Пал жене в ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человеком...» И уж принялся же я в ту пору! И все-то мне мило — и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и забор, и колода... Все — точно родные, друзья дорогие, кровные... Гляну-гляну — страсть какое разоренье, а у меня только дух бодрей... Что вижу — сколь много работы, что вижу — работать не переработать, то мне и охоты больше, то и силы прибывает... Так вот какая наша крестьянская природа! А там и работы не было, и всякое удовольствие, и деньги, а точно безумный сделался, всю душу-то по грязи истаскал, как свинья свое брюхо... А отчего?— Все воля!

Этим непонятным сопоставлением слов: «воля» и «нравственное падение» Иван и начинал и оканчивал свои беседы со мной и, как видите, не только не разъяснял моих недоумений, но значительно их преувеличивал.

III. РАССТРОЙСТВО

Не раз заходил у нас с Иваном разговор на ту же тему, то есть на тему о том, отчего он спился, отчего расстроился, что нужно крестьянам, чтобы было лучше, и т. д., и всегда разговоры эти не приводили ни к каким удовлетворительным результатам. Ответы и рассказы его были всегда неинтересны, очень часто утомительны своим однообразием или, напротив, ставили в недоумение, объясняя пьянство выражениями: «воля» или «баловство» и т. д. Происходило это оттого, что Иван часто вовсе не упоминал о том *главном*, что давало этим сухим и утомительным разговорам глубокий (на мой взгляд) интерес, а я, как человек посторонний подробностям и сущности народной жизни, не понимал этого главного и пропускал мимо ушей, такие слова и фразы, произносимые Иваном мимоходом, как всем давно известные и понятные, которые именно одни только и могли осветить мне тьму и путаницу наших неинтересных разговоров. Вот почему я не буду передавать этих разговоров в их «последовательном беспорядке», а приведу их тогда, когда читателю будет можно понять их, и для этого остановлюсь на том разговоре, который приведен выше.

Иван рассказал самую обыкновенную историю: на каждом шагу, от всех хозяев — от всех, кто имеет дело с наемным человеком,— вы слышите то же самое, то есть

что пьют потому, что «избаловались»; потому, что «воля», потому, что некому смотреть за «порядком», «нет страху»...

— Помилуйте,— слышите вы поминутно,— чего еще им нужно? Рабочий получает семьдесят копеек в сутки на хозяйских харчах, два раза чай — ведь это не маленькая плата! Зимний день в наших местах короток — в восемь часов утра еще темно,— приходят рабочие в девятом часу, работают с разговором, с цигарками, до двенадцати, часа полтора уйдет на обед, а там, глядишь, в четыре часа и ночь. Скажите, пожалуйста, что еще надо?.. Нет, поработают до обеда, уйдут в кабак, завтра совсем не пришли, а если станешь задерживать деньги дня по три, по четыре для их же пользы — ропот, требуют; отдашь — пропьют...

Доля правды в этих рассуждениях есть несомненная. Крестьянин, работающий дома, никогда не выработает таких денег, хотя работает целый день. Учитель, нанятый обществом, получает три рубля в месяц, с обязательством всю зиму учить человек двадцать маленьких детей, которые являются буквально до свету, и, пообедав, опять сидит с учителем часов до шести. Родители нарочно посылают маленьких детей в школу, чтоб они не мешали дома, и одно уж пребывание в обществе этой шаловливой толпы в течение по крайней мере восьми или девяти часов — дело весьма нелегкое; однако, повторяю, учитель получает три, много — пять рублей в месяц, да и то родители обижаются, что «мало учит», рано домой отпускает. Кроме этого, жизнь учителя — скитальческая. Он живет в деревне на пастушьем положении, то есть ходит обедать и ночевать из двора во двор, и бывают частенько случаи, что иная чистоплотная баба выгонит из избы и учителя и учеников, которые явились к ней «по очереди»,— выгонит вон, прямо на мороз. Сравнительно с таким трудом и неудобствами, вознаграждение учителя хуже, чем нищенское, так как всякий нищий, точно так же, как и учитель, найдет ночлег в чужом доме, найдет и кусок хлеба, но деньгами соберет гораздо более того несчастного гривенника, который платят (и всегда с задержками) учителю. Вознаграждение, получаемое дроворубом или прессовщиком сена, и труд их не могут идти ни в какое сравнение ни с трудом, ни с вознаграждением учителя — так этот труд легок и так это вознаграждение велико. Прессуют сено не менее четырех человек. В то время, когда один кидает его в пресс, а другой утаптывает ногами, двое других курят цигарки и разговаривают разговоры; а когда, в свою очередь, они принимаются за работу, то есть начинают рычагами поднимать исподнюю доску пресса, первые двое принимаются за цигарки. Кроме

того, работа приостанавливается, если пойдет снег, ударит сильный мороз: пойдет кто-нибудь к хозяину «увспроситься», работа стала. Мужик по нужде продает сажень дров за рубль, а распилить и расколоть берут рубль двадцать. Кабаки и трактиры полны, и здесь идет питье пива, водки, даже коньяку и «портвину». Наряду с тем, почти всеобщим мнением, что вырабатываемые деньги идут почти целиком в трактир, вы услышите и сетование о том, что много народу, крестьян, бросают пашню. «Балуются», хозяйством не занимаются: «выпоит теленка», продает за сорок целковых — и пошел кофеи да чаи распивать; а земля брошена, податей не платит. Вообще люди хозяйственные, строгие, непьющие определят вам характерную черту современной деревенской жизни выражениями: «ослаб народ», «распустился», и в подтверждение этого скажут, что «против прежнего народу стало легче, денег ему приходит больше, но что, так как нет строгости, то деньги идут прахом». Скажут, что «наш (подстоличный) народ мог бы и подати заплатить и жить хорошо, так как опять-таки средства для этого есть,— сено, например, продают в Петербурге почти так же дорого, как хлеб, лен и т. д.,— но он «избаловавши», «распустивши», «ослабши». Да и помимо показаний этих сведущих деревенских людей, сами вы, посторонний человек, видите, что непроизводительная трата денег среди крестьянства, в самом деле, велика. В огромном большинстве расстроившихся хозяев значительнейшая часть заработка идет не на хозяйство, а на трактир, на пустяки, картежную игру, мотовство.

И что удивительно — мотовство, расстройство *начинается* именно *от более легкого,* чем крестьянство, заработка; рассказ Ивана, по прозванью Босых, свидетельствует о том, что он, Иван, начал терять всякий смысл существования по мере того, как ему становилось «легче», по мере того, как в руках его оказывались такие деньги, каких прежде он и во сне не видал. Человек, из-за «расстройства» отправившийся на заработок и получивший хорошее место и деньги, как будто позабыл, что с ними надо делать, начинает швырять деньги, как щепки. Он говорит: «Все — воля». Это непонятно; но еще менее понятно и следующее обстоятельство.

Однажды, прочитав в газетах о том, что какой-то пензенский помещик «на свой страх» ввел в соседней деревне общественную запашку, я не мог не поговорить об этом обстоятельстве с кем-нибудь из знакомых крестьян. Пришлось разговаривать с Иваном, который был в этот день трезв и первый попался мне на глаза. Помещик завел

общественную запашку с тем, чтобы, облегчив процесс труда крестьянам, приобрести сэкономленное ими время в собственное распоряжение и иметь рабочих, которые бы, как говорится, «не разрывались», одновременно работая по найму и на себя, но, отработав свою часть на общественной пашне, были бы совершенно свободны. Работы общественные устроились посменно; одни работают на помещика, другие — на пашне. Всякая смена ждет своей очереди. В известии об этом было прибавлено, что облегчение и скорость труда до того пришлись крестьянам по вкусу, что тому же способу обработки общественных полей последовало в тот же год более двухсот окрестных деревень.

Хоть я и давал себе зарок не говорить с крестьянами об их крестьянских распорядках, так как в большинстве случаев такие разговоры совершенно бесплодны и ни к чему практически путному не ведут, но на этот раз пример двухсот деревень соблазнил меня.

— Как бы хорошо было,— сказал я,— если б и у вас завелись такие порядки; всякий, даже самый последний нищий, калека, который теперь побирается у вас под окнами, тогда бы мог иметь общественный хлеб, так как непременно мог бы что-нибудь делать в общей работе. Рассчитать все можно до ниточки. Вот этот солдат безногий теперь побирается потому, что у него нет ни кола, ни двора, ни земли, ни скотины, а тогда он мог бы, положим, стоять в риге, и считать, сколько привезено снопов, или под уздцы лошадь водить за тебя, например, Ивана, а ты, отработав свою часть — положим, дня два — пашни, был бы свободен, работал бы у помещика, и деньги бы чистые пришли домой. А потом сколько тратится земли на эти межники, канавки? То ли дело по очереди взодрать землю сразу? Ведь косят же какие огромные луга и успевают скосить в один день, потому что принимаются сразу все, а тут на хлебе каждый бьется один целые месяцы без отдыху, отрывается на чужую работу, оставляя свою. Иной раз хлеб не выспевает, потому что поздно посеян. Почему же,— спрашивал я,— сено можно косить всем миром и разделить копны поровну и без обиды, а нельзя того же делать с хлебом? А какое облегчение! Теперь ты работаешь на своей десятине один, а тогда из ста душ будут каждый день работать, положим, только десять человек, и все-таки твоя десятина обработается в десять раз скорее; так и у других. Девяносто человек (по очереди) всегда свободны и могут делать что угодно. Наемная работа только выгода, потому что, работая по найму, ты уж знаешь, что хлеб у тебя будет. Да

и о бедных и бессильных надо подумать, а при такой работе можно.

Тут, для большей убедительности, я припомнил Ивану про некоего конокрада Ручкина. Ручкин был чистый злодей для множества деревень во множестве уездов. Он безжалостно разорял мужиков, угоняя лошадей, и издевался, буквально тиранил и брал с них что только хотел. Не раз его сажали в острог, отдавали под суд, но «неопытные» начальники, на которых за это весьма ропщут крестьяне, не зная дела, выпускали его, потому что злодей Ручкин на суде оказывался, по их «неопытности», белей голубя. Например, лошадей он прятал обыкновенно в лесу, а когда на суде его спрашивали, зачем он был в лесу такого-то числа, то Ручкин отвечал: «За грибами».— «А лошадь как очутилась в твоих руках?» — «Да я вижу, чья-то лошадь бродит,— дай думаю, привяжу и спрошу потом мужичков, чья такая. Поди, иной, бедный, смучается, искамши».— «А деньги ты брал за лошадь?» — «Ваше благородие, ведь мне пить-есть надо!.. Ну, а кабы пропала лошадь-то, кабы медведь съел,— неужто лучше было бы? И неужто он разорится, ежели что даст мне на бедность?..» После таких речей Ручкина освобождали и водворяли на место жительства. Здесь, «с сердцов» на односельчан, он принимался свирепствовать еще беспощаднее. А между тем свирепствовал он истинно по нужде: Ручкиным прозывали его потому, что у него *не было одной руки*... Долгое время я слышал: «Ручкина убить, утопить мало»; «злодей, аспид» и т. д. И только случайно узнав, что «Ручкин» не фамилия его, а прозвище, я спросил: «Почему его так называют?»— «Да руки у него правой нет, у мошенника,— одной левой злодействует...»— отвечали мне. Конечно, Ручкин мог бы просто и смиренно нищенствовать, но не всякому это по характеру, и Ручкин из-за калечества предпочел злодействовать. Возвратившись два раза из острога, он стал решительно всем страшен. Начальство сельское его трепетало. Встретившись как-то в поле без свидетелей со старшиной, он спросил его: «Что, Петр Семенович, много ли сена накосил?» — «Да пудов тысячи полторы. Тебе-то зачем знать?» — «Да хотел я у тебя деньжонок потребовать...»— «За что такое деньжонок?» — «Да... да ведь это я прошлый год у Козявкина сено-то сжег...» И больше ничего Ручкин не прибавил, только засмеялся, «как черт». Старшина вынул пять рублей и дал. Жаловаться нельзя — нет свидетелей, да и судьи боятся Ручкина; а не дать нельзя — сожжет... По мнению обывателей, остается одно — убить его тихим манером, как собаку. Лодочник-перевозчик объявил,

что он его утопит, и кажется, что все ожидали этого не с сожалением.

Так вот об этом-то Ручкине я и завел речь в подтверждение тех бесчисленных выгод, которые могут произойти из общественной работы.

— Ручкин этот,— говорил я,— сделался не вдруг злодеем, он должен был как-нибудь существовать без руки, а нищенствовать не хотел. При теперешних ваших трудах вам впору только справиться с своими нуждами, а тогда вы *можете* и о других подумать. Даже даром могли бы тогда кормить Ручкина. Да и надобности нет даром-то кормить: Ручкин и с одною рукой может помочь в работе. Тебе, например, некогда снопы возить — Ручкин пойдет. Лошадь твоя, а труд — его. Все это ведь рассчитать можно...

На этом Иван прервал меня. До этой минуты он меня слушал, и, как мне казалось, внимание его усиливалось, так как я постарался всевозможными доводами и сравнениями показать ту огромную разницу в удобствах жизни, которая произойдет в случае перемены теперешнего хозяйства на то будущее, о котором шла речь. Но при моих словах: «лошадь твоя, а труд — его»— молчаливо и неподвижно внимавший мне Иван точно проснулся и проговорил:

— Н-ну нет... хороший хозяин не доверит своей лошади чужому...

И, энергически тряхнув головой, прибавил не менее энергически:

— Чтоб я доверил, например, свою скотину чужому человеку? Сам бы ушел, а мою скотину?.. Да позвольте вам сказать...

И мгновенно какое-то необычайное оживление охватило его. Какая-то масса соображений, задевавших его «за живое», вдруг овладела им, и он, сверкая глазами, заговорил:

— Отдай я чужому свою скотину? Помилуйте! Да позвольте сказать, вы вот говорите: делить хлеб... Хлеб в наших местах без назему не родится... Позвольте узнать, как же по вашему плану будет с навозом?

— Будут возить, как и теперь. Ведь теперь покупают назем?

— Это верно. Что так, то так... Но позвольте сказать...

— Ну, и тогда так же рассчитать. Теперь воз — тридцать копеек, и тогда — по возам, а вместо денег — хлеб. Вы пахали, возили навоз — вам и за пашню и за навоз.

— Да не про то я говорю, это действительно учесть можно, а как уравнять назем — вот о чем мои слова! Теперь я везу назем392 кониный, а другой какой-нибудь плетется с коровьим — какое же может быть тут равновесие?

Я не знал, что сказать, потому что никогда не предвидел такой тонкости.

— А другой,— все более и более входя в интерес предмета, горячился Иван,— а другой объявляется с свининым — тут как сыскать правду?

— Да не все ли это равно?

— Все равно-с? Ну, это уж извините! Конины́й или коровий, или возьмем птичий или же свининый — тут, окончательно сказать, небо и земля, а не все равно... Коровий назем дает хлеб метелкой, он топорщится, и зерно у него легкое. Птичий... Да за что же я, позвольте вас спросить, имея в своем хозяйстве, например, конины́й или гусиный, например, самолучших сортов — за что же я должен, что он там, мошенник, ворует лошадей и ему Сибири, каналье, мало — за что я, коль скоро у меня в хозяйстве все как следует, должен хлеб получать с мусором!

— Да ведь много ли тут разницы?

— Да позвольте!. Лошадь я отдай, хлеб мне с помесью — за что?

— Зато всем лучше...

— Да лучше я ему и другую руку переломлю, чтоб он не воровал!.. А то, помилуйте, все у меня в хозяйстве припасено, а тут мне с свининого да с коровьего... Да тьфу! За что? За что я должен пострадать... через подлецов или как прочих негодяев?.. Нет, не выйдет этого... Да нет, нет! Это и думать даже... Помилуйте, лошадь... да как же можно, чтоб я, хозяин, доверил кому-нибудь? Навалят мне на пашню неведомо чего, а я при своем, при полном... Нет, не выйдет!.. Тут с одним наземом греха наживешь... Или взять так: я привез конины́й, а сосед куриный... Ну, возможно ли ему,— сами вы подумайте,— возможно ли ему дать согласие, что хотя бы даже и с кониного получить? Ведь куриный, птичий, все одно червонец... За что же он должен?.. Да нет, нет! Тут никаких способов нет... Как можно! Какой же я буду хозяин?

Миллионы самых тончайших хозяйственных ничтожностей, ни для кого, как мне казалось, не имевших решительно ни малейшего значения, не оставлявших, как мне казалось, даже возможности допустить к себе какое-либо внимание, вдруг выросли неодолимо преградой на пути ко всеобщему благополучию... Горячность, даже азарт, какой овладевал Иваном во время этого монолога, доказывали, что эти ничтожности задевали его за живое, то есть, за самое чувствительное место его личных интересов. Слушая его, я не возражал, но только дивился: человек, который при «хорошей жизни», «на воле», «на свободе», не жалеет

денег на пьянство, не находит возможности чем-нибудь наполнить свое существование, кроме распутства, — человек, который «швыряет», как барин, деньги, когда ему легко жить, — вдруг, как скупец, дрожит над каким-то куриным наземом, не соглашается уступить зерна, ежели оно возросло на ненадлежащем удобрении... Человеку *легко* — он «ослаб», пропадает и пропивается; человек отказывается от *облегчения* в труде, и во имя чего же? Во имя каких-то ничтожнейших мелочей!.. Он рад, когда начальник дистанции дал ему по шее и из легкой жизни опять ввергнул в трудную. В чем же тут тайна?

IV. ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

А тайна это поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее *повелений,* покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование. У актера, который играет Мефистофеля или Демона, до тех пор лицо будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным светом; наш народ до тех пор *будет* казаться таким, каков он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца — словом, до тех пор будет иметь тот тип и даже вид, какой имеет, пока он весь, с головы до ног и снаружи до самого нутра, проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли. Погасите красный фонарь — и лицо Демона перестало быть красным. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь...»

Я чувствую, до какой степени топорно и грубо высказано мною то, что я хотел сказать, но явления народной жизни, в которых власть земли над человеком имеет пер-

венствующее значение, до такой степени многочисленны и важны и вместе с тем выражаются в такой массе ничтожнейших, по-видимому, мелочей, что в них немудрено запутаться и затемнить основную мысль, которую мне бы хотелось высказать. Вот почему мне и думается, что, быть может, и следовало даже определить эту мысль грубыми и резкими чертами.

Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи — та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная, сырая, — словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля. Могущество этой персти, «праха», с глубочайшею силой и простотой указано еще в стариннейшей былине о Святогоре-богатыре. В сущности, это даже и не былина, а загадка, но загадка, в которой таится вся сущность народной жизни... Все содержание этой коротенькой былины состоит в следующем: Святогор-богатырь выехал во чисто поле гулять. Выехал он просто так, без всякой задней мысли (обыкновенно богатыри выезжают собирать дани, выходы), выехал прогуляться, поразмять кости, силой с кем-нибудь помериться.

По моей ли да по силе богатырской
Каб державу мне найти, всю землю поднял бы...

Никакой, однако, подходящей, к сожалению богатыря, державы на пути не встретилось, а встретился ему «прохожий» мужичок с сумочкой за плечами. Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом. Во всю прыть не может он (Святогор) догнать прохожего. Закричал тут Святогор, да громким голосом: «Гой, прохожий, человек! Подожди немножечко — не могу догнать тебя я на добром коне».

Прохожий послушался Святогора, остановился, снял из-за плеч сумочку и сложил ее на землю. «Наезжает Святогор на эту сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал: как урослая, та сумочка не тронется. Святогор перстом с коня ее потрогивал: не ворохнется та сумка, не шевельнется. Святогор с коня хватал ее рукой, потягивал, — как урослая, та сумка не поднимается. Слез с коня тут Святогор, взялся за сумочку; он приладился, взялся руками обеими, *во всю силу* богатырскую натужился, от натуги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму от земли только *на волос,* по колена ж сам он в мать сыру землю угряз. Взговорит ли Святогор тут громким голосом: «Ты

скажи же мне, прохожий, правду-истину, а и *что,* скажи ты, *в сумочке накладено?»* Взговорил ему прохожий да на те слова:

— *Тяга в сумочке от матери сырой земли.*

— А ты сам кто есть? Как звать тебя по имени?

— Я Микула есть, *мужик,* я Селянинович, я Микула — *«меня любит мать сыра земля».*

Вот и вся былина-загадка, и опять, как видите, слову «земля» нельзя придать никакого значения, кроме буквального. «Тяга» в этой самой натуральной земле — той самой, которая у вас в цветочных горшках, оказывается столь огромной, что с ней не в силах совладать богатырь, которому ничего не стоит разнести в пух и прах, от нечего делать, целую «державу». Этот богатырь, ухватившись «обеими руками», из всех сил натужившись, едва-едва мог только на волос поднять мужицкую сумочку — ту ношу, которую народ носит за плечами, и так легко, что богатырю не догнать его на добром коне.

Читая эту былину, некоторое время недоумеваешь, почему и зачем неведомый автор ее, цель которого была показать «тягу земли», заставляет богатыря догонять прохожего пешехода. Но, вчитавшись в былину, видишь, что все в ней глубоко обдумано, все имеет огромное значение в понимании сущности народной жизни: тяга и власть земли огромны — до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лице, когда он попытался поколебать их на волос, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку. Все это так именно есть и до сего дня.

Сначала скажем о тяготе и власти. Вот сейчас из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой, — что будет, неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки. Ведь она только через год, почти день в день, принесет на мужицкий стол ломоть хлеба, но может и не принести,— она сама во власти каждой тучки, каждого ветерка, каждого солнечного луча... Сколько перемен, неожиданностей, случайностей и огромных последствий, сопутствующих этим неожиданностям! Для этой травинки, для того, чтоб она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внима-

тельности во взаимных человеческих отношениях. Нужна работящая жена, которая могла бы участвовать в этой массе труда, нужна скотина, уход за скотиной, нужны орудия и т. д., и все это для этой травинки.

Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года, — что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, «на готовые деньги»; тогда как владычествующая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления. Жена крестьянина, которая в крестьянстве неоцененна, при готовых деньгах, при отсутствии крестьянского земледельческого труда, теряет вдруг все свои достоинства; она оказывается просто дурой, дубиной, деревом, которое будет мешать везде, куда только ни сунется. Вот почему так противны те из крестьян, которые вылезли к деньгам, отделились от труда, живут на готовое: скучнее, пошлее этой жизни трудно себе представить. Что за глупые разговоры о людях с песьими головами, о Махмуде персидском или, как теперь, о «панье» и «портвине». Кто не знает, наконец, сколько глупого «форцу» вносит крестьянин, поживший в трактире, в лакеях и т. д.? А ведь он пьет-ест готовое, спит в тепле и деньги получает; у него «часы анкерные»; но кто не испытывал к этим типам самого полного отвращения? И этот же пустомеля и остолоп тотчас начинает возвращаться к образу и подобию человеческому, как только возвращается к труду земледельческому, то есть когда *теряет необходимость* выдумывать свои интересы, наполнять себя нравственно чем попало и когда власть земли и труд, к которому она обязывает, наполняет все его существование содержанием не выдуманным, без его усилий, без его желаний, наполняет своею властью без его участия и воли.

Таким образом, у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь: тюрьмы или розог?» — то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить — сено нужно для

скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «Меня *любит* мать сыра земля».

И точно, любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь, — и не виновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него перемерли все дети,— он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену — и не виновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело, стала работа. А хозяйка-земля требует этой работы, не ждет. Словом, если только он слушает того, что велит ему земля, он ни в чем не виноват; а главное — какое счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза! Дождь на дворе — *должен* сидеть дома, вёдро — *должен* идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвечая,* ничего сам *не придумывая,* человек живет только *слушаясь,* и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь,* не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и в конце концов кормить желудями свиней? — Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он *просто растет,* просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд — это и есть жизнь и интерес жизни, а результат — нуль.

Вам, например, петербургскому интеллигентному чиновнику, жизнь не так легка: вы работаете в министерстве до пяти часов поденщину, чтобы выработать *средства к жизни,* вы делаете *не нужную* вам работу; что такое для вас лично горе вдовы кабатчика, Евдокии Миломордовой, которая пятый год со слезами умоляет защитить ее от опекуна, который при разделе дома завладел четырьмя окнами, а ей дал три, тогда как ей следовало еще пол-окна, — что вам до этого? А вы должны сидеть, класть резолюции, усовещивать опекуна на основании статей закона, грозить

ему. Вы делаете это из-за средств к жизни, а для вашей личной жизни все это не нужно совершенно. Жизнь для вас — особь статья: Сарра Бернар, Зембрих, почести, политика, то есть нечто совсем особое от вашего труда. Детей, например, вы должны воспитывать (чтобы не испортить) вдали от знакомства с вашими служебными и общественными интересами. Вы трудитесь, надеясь на какой-то результат. Словом, ваша жизнь разбилась на полосы, в которых нет связи. Вы в департаменте совсем другой, чем дома или в театре. А крестьянин-земледелец везде один и тот же: он трудится и живет интересами этого же труда, и в этих же интересах *сам собой,* без учителя, воспитывается и его ребенок. Результат вашей жизни, положим, хоть плотная банковая книжка; банковая книжка пахаря тут же всегда с ним — в его радости, что вёдро, что «овсы» взялись шибко и т. д. Вам нужен кабинет — *для себя,* салон — для общества, классная — для детей. И везде все разное и думается, и говорится, и делается; для пахаря-мужика нужна *одна* изба, потому что все живут одним — землей, у всех один труд — земледельческий, все говорят и делают одно — то, что повелит мать сыра земля!

Недавно пришлось мне разговаривать с одним старым-престарым крестьянином, который вырастил и пристроил всех детей, похоронил жену, сдал землю в общество, так как сил работать у него уже нет, и пошел странствовать по святым местам. И о чем же вспоминает этот старик, стоящий на краю гроба? Что бы ему вспомнить двенадцатый год, осаду Севастополя или какое-либо иное знаменательное событие, свидетелем которого он был? — Нет, он вспоминает только землю.

— Жалко было бросать-то? — спросил я.

— Вот как жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..

И буквально с плачущими нотами в голосе продолжал:

— По де-вя-но-сто мер хлеба се-я-ал!.. Ов-вес у меня крестецкий, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свету примутся мои бабы жать, что огнем палят...

«Девяносто мер» — это такая, должно быть, была прелесть, такой простор наслаждению!.. Сарра Бернар, когда будет старой старушкой, вероятно, с таким же умилением будет вспоминать восторги, которые она вызывала в массах зрителей, какое испытывал этот старик, вспоминая время, когда он сеял де-вя-но-сто мер, вспоминая крестецкий овес и «своих баб», которые так были «завистливы» на работу, что принимались за жнитво до свету.

Когда между мною и стариком шел разговор (мы сидели на улице, дело было в конце лета), вдруг вдали на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал:

— Ишь, горло-то дерут! Урожай ноне... бог послал...

Хор зазвенел еще звончей и громче.

— Картофь, должно, господь уродил ноне...— прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения.

V. НАРОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

И опять я знаю, что сказанное мною сказано грубо и топорно, но опять-таки повторяю, чтобы хоть как-нибудь разобраться в том запутанном нравственном состоянии, которое переживает народ и которое таит в себе огромные несчастия, необходимы грубые, топорные черты, чтобы резче разграничить необходимое для народа от гибельного. Итак, приводя в порядок все до сих пор сказанное, я думаю, что мало ошибусь, если скажу, что двухсотлетняя татарщина и трехсотлетнее крепостничество могли быть перенесены народом только благодаря тому, что и в татарщине, и в крепостничестве он мог сохранить неприкосновенным свой земледельческий тип (он *изнурялся физически* на барской работе, но делал ту же работу, что и для себя), цельность своего земледельческого быта и, главное, *земледельческого миросозерцания.* Не нагайки, не плети, не дранье на конюшне, не становые или урядники, не, тем паче, пятнадцать томов законов с двадцатью томами примечаний — держали его в повиновении, развили в нем строгую семейную и общественную дисциплину, сохранили его от тлетворных лжеучений, а деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, обязывавшая его тяжким трудом и вместе с тем облегчавшая этот труд, делая его интересом всей жизни, давая возможность *в нем же* находить *полное* нравственное удовлетворение. Кроме этого, едва ли я ошибусь много, если скажу, что и *община* наша только потому, как говорится, устояла и только до тех пор, прибавим мы, устоит, покуда членов ее соединяет *однородность* земледельческого труда, *однородность* надежд, планов, волнений, забот, *однородность* семейных и общественных обязанностей.

Я вовсе не хочу сказать, что *однородность* эта обязательна была и есть для характеров, дарований, умов, нервов. Напротив, над однородностью труда и вытекающего из него миросозерцания — ум, талант, сила, дарование имели полный простор, но проявлялись-то они *в одном* и

том же деле, хотя и различно. Эту одинаковость и однородность труда, не мешающего проявлению дарований, надо принимать в расчет и при оценке нравственной силы наших артелей: у нас если пойдут рисовать поднос с огнедышащею горой, так с того места, где нарисован первый поднос, и пойдет по линии верст на четыреста, — все деревни и все люди в деревнях примутся малевать тот же поднос с огнедышащею горой. Тут дело в том, что все хотят равняться только в средствах труда: у всех одна и та же краска, одно и то же железо, один и тот же рисунок; на этой одинаковости и конец равнению. Дальше этой одинаковости идет талант, физические преимущества, ум, проворство, случай: раньше встал, прежде других вышел на базар, купец-покупщик попал добрей. Едва ли не преувеличено мнение некоторых исследователей общины относительно размеров той опеки, которую община накладывает на своих членов почти в каждом поступке. Не знаю. Искал я этой опеки и нашел, что действительно иногда общины запрещают своим членам продавать «навоз на сторону», а других опек что-то не видно. Сироту берет не община, а кто-нибудь из нее, добрый человек — берет *сам,* без помощи и приказания или совета мира. Навоз действительно нужен в хозяйстве. Такие слишком уж одинаковые во всех отношениях общины не существуют даже в животном царстве; даже у стерлядей, по свидетельству рыболовов, существуют «десятники», которые посылаются стерлядиным обществом искать места для метания икры. Волжская рыба сазан, тоже живущая своими сельскими обществами, имеет и выборных, и ходоков, и депутатов; они обыкновенно идут впереди «общества» и, подойдя к заколу, который ставят рыбаки поперек рек, начинают пробовать крепость его носом, потом налегают боком, потом пробуют перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладывают обществу; мирской сазаний сход решает «взять» закол всем миром, и, точно, все стадо с страшною стремительностью бросается на закол и ударяет в него всем своим коллективным рылом. Многие погибают насмерть, а другие проскальзывают в брешь и спасаются.

Не говоря уже о том, что некоторые из мирских поступков нашей деревни ввиду вышеприведенных примеров (которых можно бы привести множество) теряют некоторую долю своего значения, эти примеры, взятые из рыбьего быта, говорят, что даже и в этом быту нет сплошного во всем равенства и одинаковости, тем паче нет и никогда не бывало его в общине крестьянской, человеческой. Но опять-таки *земледельческий* труд, жизнь *в земледельческих* ус-

ловиях и, главное, *земледельческое* миросозерцание смягчали эти резкости всевозможных неравенств просто потому, что делали их всем понятными. Возьмем вопрос самого жгучего неравенства — богатство и бедность. Богачи всегда бывали в деревне; но я спрашиваю, чем и каким образом мог разбогатеть крестьянин-земледелец и как и отчего мог обеднеть? Только землей, только от земли. *Он не виноват,* что у него *уродило,* а у соседа нет; *не виноват* он, что он силен, что он умен, что его семья подобралась молодец к молодцу, что бабы его встают до свету и т. д. Тут — счастие, талант, удача; но счастие, талант, удача — *земледельческие,* точно так же как у соседа земледельческая неудача, отсутствие силы в земледелии, отсутствие согласия семьи, нужного для земледелия. Тут *понятно* богатство, *понятна* бедность, тут никто ни перед кем не виноват. Это не то, что теперь, когда Иван Босых, силач и весь созданный для земледелия, нищенствует, а мужичонка, которого перешибить можно плевком, богат без земли и без труда, на который он неспособен. Такое богатство, которое у всех на виду, которое всем понятно, — извинительно, и ему можно покоряться без злобы. Чем виноват этот богач-земледелец, у которого земля уродила потому, что на нее *пал дождь,* а на мою не пал, и я обеднял? Завтра на *мое* счастие ударит *грибной дождь,* высыпет в лесу масса грибов, и я не поленюсь встать до света и собрать их, пока другие спят. На мое счастье попадутся белые грибы, а ведь они — рубль двадцать фунт; это счастье может посетить и меня, как посетило соседа. Точно так же я *не могу* роптать и на то, что сосед умней, проворней, сильней, дальновидней. Он и я — мы делаем *одно* и то же дело, только по-разному, по-своему, как кто может и какое кому счастье. Это взгляд, которому учат также земля и неразрывная с нею невозможность сопротивляться велениям природы, с которою человек неразрывен, имея дело с землей и живя земледельческим трудом. Но тот же самый человек, который без зависти и злобы переносит богатство, понятное ему и объяснимое с точки зрения условий собственной жизни и миросозерцания, ожесточится и со злобою будет взирать на такое богатство своего соседа, которое он, во-первых, *не может понять* и которое, во-вторых, вырастает вопреки всему его миросозерцанию, без труда, без дарования, без счастья, без ума.

Вот это-то и есть язва теперешней деревенской жизни, но о ней мы будем говорить самым подробным образом во второй половине этих заметок; там же, и с возможно большею обстоятельностью, мы остановимся и на другой, также

важнейшей черте народной жизни, о которой в настоящем отрывке не сказано ни слова почти умышленно, — не сказано для того, чтобы по возможности ярче выставить самое основание народного миросозерцания и власть, которую играет в нем земля. Это другое, важное в народной жизни, есть *народная интеллигенция, всегда во все времена существовавшая в народе, но теперь незаметная.*

Принимая от земли, от природы указания для своей нравственности, человек, то есть крестьянин-земледелец, вносил волей-неволей в людскую жизнь слишком много тенденций дремучего леса, слишком много наивного лесного зверства, слишком много наивной волчьей жадности. Мужик, который убил жену, потому что она «мешает» в хозяйстве, слаба, не работяща, ленива и, может быть, зла, — согласно лесной морали, был прав и, согласно ей, *не чувствовал* себя виновным; но чем же виновата убитая, что она слаба, больна, нравственно несчастна и т. д.? Вот эту, не зоологическую, не лесную, а божескую правду и вносила в народную среду *народная* интеллигенция. Она поднимала слабого, беспомощно брошенного бессердечною природой на произвол судьбы; она помогала, и всегда *делом,* против слишком жестокого напора зоологической правды; она не давала этой правде слишком много простора, полагала ей пределы. Интеллигенция эта ни капли не похожа ни на графа Судак-Огратанова 12-го, который «с сотнею» казаков разбил многочисленного неприятеля, не походила на поэта, бряцающего на казенной лире подвиги означенного графа, ни на государственного мужа, написавшего сто томов разных полезных законов, не походила ни на нынешних становых, председателей, урядников, гласных, волостных старшин и т. д. Ни на что подобное она не походила, потому что тип ее был тип *божия угодника.* Но это не тот угодник, который, угождая богу, заберется в дебрь или взлезет на столб и стоит на нем тридцать лет. Нет, *наш народный* угодник хоть и отказывается от мирских забот, но живет только для мира. Он — мирской работник, он постоянно в толпе, в народе, и не разглагольствует, а делает в самом деле дело. Народная легенда о Николае и Касьяне как нельзя лучше рисует этот тип *народного* интеллигентного человека: Касьяну, как известно, праздник бывает только в четыре года раз (в високос), а Николаю — множество раз в один год. Отчего так? Оттого, разрешает этот вопрос легенда, что когда Николай и Касьян пришли давать богу отчет, после того, как они были на земле между людьми, то Николай оказался весь испачкан грязью и в изорванном платье, а Касьян пришел фран-

том. Вот бог и решил, что Николай все время работал, толкался в народе, хлопотал, а Касьян только разговаривал, за это и положил праздновать Касьяну в четыре года раз, а Николаю в год чуть не двадцать раз. Вот такой-то тип и есть тип *народной* интеллигенции, и дела такого угодного богу и народу человека как нельзя лучше подходили к общим условиям земледельческого быта: они были нужны, настоятельны, и такой работник, как мы видим, был. Теперь нет в народе такого типа, такого работника, никто не пачкает своего платья из-за чужой беды. Все добрые дела обязались делать земские собрания за умеренное вознаграждение. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, так как и труд — уже не труд и жизнь одновременно, а только труд.

VI. ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Задавшись целью определить значение в народной жизни и миросозерцании «земли» и «земледельческого труда», я должен бы был теперь же, то есть тотчас после общих рассуждений об этом предмете, перейти к примерам, к проявлению, если так можно выразиться, *«земледельческой мысли»* народа в частных, семейных, общественных делах. Все это и будет сделано мною впоследствии, в отдельных отрывках; теперь же, ввиду того, что мне в этом общем очерке современной земледельческой жизни необходимо говорить о таких явлениях, которые самым безжалостным образом расшатывают и разрушают весь строй народного труда и миросозерцания, я ограничусь несколькими случайными примерами, касающимися «власти земли», только для того, чтобы виднее было, что именно творится в народной жизни в настоящее время.

Итак, чтобы не далеко ходить за этими примерами, возьмем первое, что попадется под руку.

Берем, например, один из новогодних календарей; там, в отделе примет и замечательных событий, обратите внимание на те из них, которые «замечательны» для народа. Возьмем 6-е января, «крещение». В отделе замечательных событий «для господ» ничего не показано. 3-го января показано, что умер граф Румянцев, канцлер, покровитель наук и просвещения, и заключен мир и договор в Андрусове в 1667 году и в Бахчисарае в 1681 году; затем ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го ничего особенного не случилось. А вот в отделе народных «замечательных» событий значится целых *семь* замечательных примет, именно: «Яркие звезды под крещение — много родится белых ярок». «На крещение

день теплый, будет хлеб темный». «Коли идут на воду в туман, будет много хлеба». «На крещение метель и на святой будет метель же». «На крещение снег хлопьями — к урожаю» (цвет будет хорош). «Если на крещение в полдень (вот какая точность!) *синие* облака — к урожаю». «Если на крещение звездная ночь — урожай на горах и ягоды». А затем так и пошло без перерыва на целый год, вплоть до будущего крещения, — у господ идут: взятие, покорение, одоление и т. д., а у крестьян: «На Трифона звездно — весна поздняя». «На Евдокеи снег — урожай». «На Евдокеи погоже — лето пригоже». «Коли грачи дружно на гнездо летят — дружная весна». «Каковы на Алексея ручьи — такова и пойма». «На благовещение дождь — родится рожь, мороз — урожай на грузди, гроза — к теплому лету и орехам, мокро — к грибам». «Апрель сипит да дует — тепло бабам сулит, а мужик глядит, что-то будет». «Марья заиграй овражки, зажги снега». «Коли на Юрья березовый лист в полушку, на успенье клади хлеб в кадушку». «Если на Николу заквакают лягушки — хорош будет овес». «На Луку полуденный ветер — к урожаю яровых».

Святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положение: св. апостол Онисим переименован в Онисима-овчарника. Иов многострадальний — в Иова-горошника; св. Афанасий великий, архиепископ александрийский, имя которого «нераздельно соединено с историей христианской церкви в IV веке, так как он — один из самых ревностных защитников благочестия против лжеучения Ария», переименован просто в Афанасия-ломоноса, потому что около дня его имени, 18 января, бывают самые страшные морозы, от которых кожа слезает с носа. Св. преподобно-мученица Евдокия, отличавшаяся в молодости тем, что «пленяла красотой юношей и жила во грехе», а потом, по увещанию некоего Германа, обратилась к истинному богу, именуется «Евдокея-плющиха, подмочи порог», так как 1-го марта, день ее празднества, тает, плющит снег и т. д. Герасим — грачевник, Ирина — рассадница, «на Кузьму — сей свеклу», Лукерья — комарница (13-го мая), Леонтий — огуречник, Акулина — гречишница и т. д., и т. д. Таким образом, весь год — триста шестьдесят пять дней — имеют каждый бесчисленное множество примет, и хотя эти приметы не имеют для вас, образованного читателя, никакого значения, даже смысла, но земледельческую народную мысль они достаточно-таки характеризуют. Сколько нужно внимательности, а следовательно, и траты собственной мысли, примечая, например, цвет облаков в полдень в крещенье, находить в этом связь с урожаем,

который может определиться в августе, то есть через семь месяцев! «Если на крещение в полдень синие облака»... Может быть, эта примета ровно ничего не означает, но неужели же, чтобы создать эту примету, чтоб августовский хлеб привести в связь с цветом облаков в крещение, да еще в полдень, не надо было много и своеобразно думать, и притом думать именно «земледельчески»? Один уж этот пример, взятый, повторяем, совершенно случайно, а таких примеров мы могли бы привести поистине великое множество, — один он может показать, до какой степени крестьянин тратит много внимания на природу и землю и на все, что с ними связано: мало отметить день какою-нибудь приметой — отмечается даже час, полдень, отмечается цвет облаков, ночью отмечается блеск звезд и т. д. И это — на каждый день в году и едва ли не на каждый час. Можете представить, что об одном хлебе, об урожае или неурожае начинают примечать тотчас после посева: уж в октябрьских приметах значится: «коли лист (опадающий) ложится вверх изнанкой, будет урожай». В ноябре «снегу надует — хлеба прибудет», а «коли лед на реке становится грудами, будут и хлеба груды». В декабре «большой иней, груды снега — и хлеба будет много». *«Коли снег привалит вплоть к заборам* — будет неурожай; коли не вплоть — урожай». «Иней на деревьях — урожай». «Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе». 25-го декабря ясный день — к урожаю; небо звездисто — к приплоду скота, ягодам, гороху. «Коли тропинки черны, уродится гречиха». Чего стоит хотя бы вышеприведенная примета — *коли снег привалит вплоть к забору и коли не вплоть.* Едва ли банкир и капиталист в такой же степени тщательно изучает все случайности, которым могут подвергнуться его бумаги, как тщательно изучает крестьянин мельчайшие подробности случайностей природы, обусловливающие успех его труда и всего благосостояния. Но мало того, что каждый день в году и почти каждый час в течение дня запримечены, объяснены и осмыслены сообразно земледельческим условиям жизни; мало того, что запримечено и объяснено появление каждого облака, дождя, снега, их свойства, вид, даже цвет (облака); мало того, что все святые, чудотворцы, апостолы, переименованы сообразно земледельческим условиям быта народного, — самое священное писание, если послушать деревенских толкователей его (не говорю о раскольниках и сектантах, которые толкуют его весьма широко), кажется, только и написано для того, чтобы доказать крестьянам, что «приидет царь (такой-то) и даст землю». Непонятный, запутанный текст «Апокалипсиса», который с такой охотой

читают деревенские грамотные люди, в толкованиях этих последних получает совершенно неожиданно самый ясный смысл, потому что все оказывается написанным насчет того, что земли будет вволю. Везде, где попадаются слова: «и соединиша», «и соединихом», «и соединих» — уж непременно дело идет насчет земли... «И соединих»... вот это и есть это самое, толкует толкователь: как у нас теперь наша земля отошла и буерак с прутняком отошел, то вот и пишется, что «приидет» и присоединит все опять же к нам...

— А не сказано, что сначала отойтить от нас должна?

— Как же не сказано-то! Вот...

И тотчас отыщется место, в котором сказано: «разрушу», «расторгну», и потом отыщется другое место после «расторгну», в котором сказано: «и соединих».

— Вот так и есть: сначала отобрали, а потом отдадут обратно.

Отыскиваются указания в «Откровении», имеющие чисто местный характер. Например, вот в этой деревне крестьянскую землю раскидали в три разных места, а в другой она только в двух местах, и каждая деревня непременно найдет в «Апокалипсисе» указания, касающиеся земельных особенностей каждой. Одна отыщет, что «трие воедино», а другая — «воедино да будут двоие», и все это с глубочайшею верой и благоговением... Однажды, разговаривая с таким старичком-толкователем, я спросил его:

— Ну, а у меня отберут землю *тогда?*

— А у тебя сколько земли? — спросил старичок.

— Одна десятина.

Старичок подумал, переспросил, как и у кого куплена, и, подумав еще, сказал:

— Тебе *тогда* должна быть прирезка.

И, подумавши еще, прибавил:

— Тебе тогда *должны* еще четырнадцать десятин нарезать...

И об этом даже сказано в писании. Даже то обстоятельство, что земли *в то время* будет на душу по пятнадцати десятин, и то предусмотрено в священном писании, и толкователь обещается указать место в «Апокалипсисе», где именно эта цифра указана. Вы представьте себе в этом толкователе седого, истомленного трудом, ходьбой по добрым людям (у него перемерла семья) старика, представьте, что каждое слово в его толковании о земле говорится с истинным благоговением и с таким же благоговением слушается, — и вы, быть может, задумаетесь над этой чертой страстного ожидания земли народом. Она нужна не только как хлеб — хлеб можно достать на поденщине (те-

перь дворники получают в Петербурге по тысяче рублей, и все-таки думают о деревне и земле), — но как основа всего рисующегося в народном воображении светлого будущего, как основание единственно безгрешного труда, как источник таких человеческих отношений, в основании которых лежит «добровольное» повиновение друг другу — отношений, всего менее допускающих «человеческий» произвол, в виду *всеобщего и неизбежного повиновения* несокрушимой, непобедимой, таинственной и непостижимой власти.

VII. ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

Теперь посмотрим, в какой степени это, имеющее для народа огромное значение, стремление к земле удовлетворялось в прежние времена и удовлетворяется теперь.

Рискуя быть причисленным к разряду заскорузлых крепостников, я должен сказать, что при крепостном праве наше крестьянство было поставлено по отношению к земле в более правильные отношения, чем в настоящее время. Я не говорю о несправедливом труде, который нес крестьянин на своих плечах, о его вековой жажде высвободиться из-под этого гнета и т. д. — все это не может быть предметом настоящей статьи, предмет которой — только значение для крестьянина земли. И в этом отношении крестьянин имел земли гораздо больше, чем теперь; не ошибемся, если скажем, что земли у помещичьих крестьян было вдвое боле против теперешнего. Кроме того, всякий помещик, если он не был безумным или выродком, вроде, например, Измайлова и других подобных ему зверей, *из личной выгоды* должен был поддерживать в своих крестьянах все, что делает их настоящими крестьянами-земледельцами, так как только крестьянин исправный и есть исправный плательщик помещику, который жил его трудами. Глядя на крестьянина как не бессловесное животное, помещик, хотя бы самого грубого и дикого нрава, должен был кормить это человеческое существо, почитаемое им за скотину, чтоб она возила, чтоб она работала, чтоб она давала ему доход. В смысле получения этого дохода было организовано все деревенское управление, наблюдалась тщательно сила семей; по этой силе распределялись налоги и барщина; во имя *хозяйственных целей* вот эта пара одиноких лиц мужского и женского пола соединялась насильственным браком, и образовывалось земледельческое рабочее тягло; во имя хозяйственных целей вот этот неспособный в хозяйстве человек брался во двор, а другой — вор и пьяница —

шел в солдаты. Силы людские, имевшиеся в распоряжении помещика, всячески экономизировались в смысле хозяйственной выгоды.

Эта хозяйственная организация деревни до сих пор еще весьма сильна в сознании деревенских стариков, помнящих крепостное право. До сих пор оценка человека только по его успеху или неуспеху в работе не только играет большую роль в крестьянском мнении вообще, но служит даже для достижения целей деревенских эксплуататоров новейшего типа. Как известно, а может быть и неизвестно читателю, в настоящее время телесные наказания при волостных правлениях не только не умаляются в своих размерах, но, напротив, с каждым годом возрастают. Крайне жаль, что новорожденные провинциальные издания относятся недостаточно внимательно к суровой действительности, переживаемой народом. Ни плана, ни программы, мало-мальски выработанной и обязательной для корреспондентов, ничего нет. Такое замечательное явление, например, как торги на лесные и земельные участки, на которых крестьяне могли торговаться обществами без залогов, в высшей степени важно, как опыт борьбы кулака с целым сельским обществом, а между тем оно не вызвало ни одной корреспонденции, ни одной цифры. Дранье на волостных судах также проходит без малейшего внимания, а дранье — непомерное... Мы уверены, что если бы кто-нибудь дал себе труд просмотреть решения волостных судов (мы уже не говорим — разобрать подноготную мотивов этих решений) и сосчитать число высеченных, положим, в осенние только месяцы, так положительно волос встанет дыбом даже у аракчеевских ветеранов. Я сам был свидетелем летом 1881 года, когда драли по тридцать человек в день. Я просто глазам своим не верил, видя, как «артелью» возвращаются домой тридцать человек взрослых крестьян после дранья, — возвращаются, разговаривая о посторонних предметах.

— Да неужели их драли? — спрашивал я старосту, который, возвращаясь после этого «присутствия», зашел ко мне папиросочки покурить.

— А то как же?.. Я сам троих «приставил».

— Да за что же?

— А за то, что заслуживают... Не храпи, не пьянствуй... Мало ли у них блох-то!..

Осенью самое обыкновенное явление — появление в деревне станового, старшины и волостного суда. Драть без волостного суда нельзя — нужно, чтобы постановление о телесном наказании было сделано волостными судьями —

и вот становой таскает с собой суд на обывательских. Суд постановляет решения тут же, на улице, словесно, а «писать» будут после. Писарь тут же. Вы представьте себе эту картину. Вдруг в полдень влетают в село три тройки с колокольчиками: на одной становой, на другой — старшина с писарем, на третьей — шесть человек судей; всё это — почтенные Несторы-летописцы, Дафаны, Авироны, Авраамы и... Хамы между прочим. Разумеется, эти Авироны не виноваты, по крайней мере в тех размерах, как это кажется с первого раза, — их таскают силой и для формы. Въезжает эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики: «Розог!»... «Деньги подавай, каналья!»... «Я тебе поговорю, замажу рот...»

И опять приходит свидетель и, делая папироску, рассказывает:

— Ка-ак вжикнул, сразу кровь пошла...

— Да неужели же опять драли?

— А как же?.. Который заслуживает, храпит, пьянствует... Только не всех... Сейчас деньги явились... А которые оставши не сечёны, тем отсрочка на две недели дана... Ну, а между тем *все к розгам подписались...*

— Это что же такое?

— Драть, *в случае не принесут денег...*

И, помолчав немного, он прибавил:

— Смородины нарезали... на розги-то!

Впоследствии читатель увидит, почему «невозможно» не драть. До тех пор, пока простая, искренняя внимательность, простое, но искреннее желание отнестись к человеку по-человечески, просто, совестливо войти в его нужду и в самом деле (повторяю, в самом деле) удовлетворить ее — не осветят наших темных дней, дранье не прекратится. Но хоть оно и неизбежно (эту неизбежность докажут вам волостные старшины и становые пристава), а нельзя не принять в соображение, что этот посев ежедневной и ежегодной жестокости, как и всякий посев, должен, непременно должен дать всходы, плоды. Но едва ли они будут похожи на смородину. Кстати здесь сказать, что и теперь уже есть признаки выражения народом нетерпения; рассказывают про одного волостного старшину, который «осмелился» попросить станового не ругаться скверными словами в присутствии волостного правления, а это худой признак для любителей смородины. Наконец тот самый староста, разговоры с которым я привел выше, недавно сменен обществом раньше срока. Еще бы годик, и он был бы «на самом лучшем счету» — так он усердно «приставлял» в волость и до такой степени относился к народу «без внимания». Заме-

чательно, что когда я спросил его, кто подвел под него интригу — старик или молодой, то он с огромным негодованием ответил:

— Молодой, пес его дери!..

И прибавил:

— Ну, да я всех их разыщу. Погоди!..

А и самому этому человеку нет сорока лет. Он молод, силен, здоров, умен, но есть в нем какое-то невольное стремление отделиться от мужиков... Крестил его, извольте видеть, какой-то высокий сановник, случайно заехавший в ихнее место на охоту, крестил, подарок сделал и точно печать наложил: не может мужик не считать себя чем-то особенным. Наконец вот еще любопытная черта. В старостах он не пробыл и года; до этой должности он был простой мужик и рыболов. В течение нескольких месяцев начальствования ему попали земские деньги на овес; он не утаил их, роздал всё, как следует, но он их только подержал у себя (буквально) лишнюю неделю и вот теперь, посмотрите, выходит в капиталисты. Покупает «у мужиков» солому по пятнадцать копеек за пуд, а продает по тридцать пять копеек. Стал отправлять вагоны в Питер... Недавно отправил шесть вагонов (обертывать бутылки иностранных вин). И я уверен, что угроза его односельчанам, выраженная фразой: «Погоди, я их всех найду!» — осуществится... С другой стороны, я тоже знаю, что и односельчане тоже не дремлют и тоже произносят кое-какие фразы насчет этого нарождающегося купца, бормочут что-то насчет «произведем», «так ты и выскочил в купцы!..» Но чем все это кончится — не знаю.

Прошу читателя извинить меня за это длинное, прямо к делу не относящееся, отступление и возвращаюсь к соображениям по поводу телесного наказания. Не раз я становился втупик перед этим явлением. Я никак не мог понять, каким образом можно положить на пол, раздеть и хлестать смородиной вот этого умного, серьезного мужика, отца семейства, — человека, у которого дочь невеста.

— Да неужели же их силой кладут на землю? — спрашивал я у того же старосты, который готовился быть на хорошем счету.

— Коё — силом валят, коё — сами ложатся. Вот ноне (когда секли тридцать человек) сами всё...

— Да неужели это правда?

— Да чего ж мне лгать-то? Так один по одному и ложатся.

Впоследствии я понемногу ознакомился с теми гнуснейшими, своекорыстнейшими побуждениями, которые дейст-

вуют в этой, ничего хорошего не обещающей свалке. Увидел много самой звериной злости, прикрывающейся законом, но в то же время я узнал, что и не звериная злость, обыкновенно скрывающаяся, и не насилие прямое и грубое дают одному человеку право бить другого, а хозяйственные доводы. Староста «приставляет» мужика к розгам не за то, что хочет ему отомстить за обиду (он об этом умолчит), а за то, что тот не внес шести рублей, тогда как *мог бы* внести. В правлении, где решают число ударов и где человек приготовляется раздеваться, вы слышите разговоры о сене, которое продано за столько-то, упреки, что из этих стольких-то рублей пропито больше, чем следовало.

— Сено теперь сорок пять копеек, это нам известно, — кричат судьи. — Ложись-ко!

— Коли бы по сорок-то пять я взял, так я бы и внимания не взял говорить! — оправдывается виновный. — Я тебе честью говорю — по двадцать восемь копеек!

— Полно зубы-то заговаривать — по двадцать восемь! Знаем мы очень прекрасно. Твое сено — первый сорт. Ослеп ты, что ли, за двадцать восемь-то отдавать?

— А забыл, дождик-то сколько погноил... на Илью-то? Есть в тебе совесть!

— На Илью!.. Знаю я Илью!.. Ложись-ко без хлопот. Погноил!..

Какое бы адски-своекорыстное побуждение ни руководило всей этой жестокою комедией (ниже мы увидим пример проявления своекорыстия в такой жестокой форме), всегда пункт, на котором держатся судьи, и вина, которую может сознавать виноватый или которую навяжут ему, потому что знают, что он только в этом смысле и может коечто понимать, — всегда исходный пункт для всей этой операции — преступления хозяйственные: «продал телушку, а купил зеркало» и т. д., что уж доказывает фанаберию и т. д. Нет никакого, конечно, сомнения в том, что в этой жестокой комедии участвуют и другие мотивы, но самое понятное и самое доступное пониманию во всем этом бессмысленном безобразии — это вина против своего хозяйства.

Кстати, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, скажу теперь же о том своекорыстии (деревенском), которое умеет прикрываться всевозможными способами, меняя шкуру сообразно тем настроениям высших «командующих» классов, которые входят в моду в данную минуту.

Приходит ко мне одно из «благонадежных» крестьянских лиц, стоящее на отличном счету у начальства. Подати у него всегда взысканы, мужики снимают шапки при проез-

де всякого начальства и вышколены им для «декорации преданных поселян» превосходно. Сам он — умный и как увидим ниже, «добрый» человек; но мода «на мутную воду», на трескучий вздор, прикрывающий своекорыстие, совершенно его извратила. Он знает одно, что сильна и властвует только палка, и добивается он только того, чтобы в результате получился более или менее жирный кусок пирога. Но, зная это, он превосходно понимает, что поступать открыто невозможно, и поэтому, руководствуясь общим жизненным настроением, поступает вполне прилично, законно и даже либерально. Люди подобного типа отлично собезьянили всю интеллигентную внешность своих воспитателей, административных педагогов; но педагоги эти ошибутся, если подумают, что в этой внешности есть что-нибудь в самом деле искреннее. Увы, старая пословица — «каков поп, таков и приход» — до сих пор остается глубоко справедливой: раз учителя не уважают человека, а норовят только поживиться на его счет, прикрывая свои частенько не только несправедливые, а прямо жестокие действия всякими законными, либеральными или охранительными доводами, — и ученики вышли такие же, с тою только разницей, что они, как простые деревенские люди, не привыкшие к пустякам, буквально уж не сделают ни *единого* бесцельного поступка. Вот на днях такие «надежные» маленькие сельские Капгеры поднесли адрес и альбом мировому судье. Они отлично выразили в адресе свои чувства, преданность. Альбом стоил рублей двести. Вы думаете, тут в самом деле чувство? Нет, тут «заручка» на «предбудущие времена», в случае попадется на какой-нибудь плутне или понадобится пристращать «должника» по знакомству. «Что ж он в самом деле хороший человек? — спрашивал я благонадежного. — Вот здесь, в адресе, сказано: «и ваше неустанное попечение о благосостоянии», — что ж, в самом деле он внимателен к народу?» — «Как же, в самом деле... Очень даже внимателен... Служил в земстве, так не забыл в свое имение дорогу проложить...» Вот вам и «выраженные чувства». Или: я только что говорил о телесных наказаниях; народ не всегда доволен этим способом взыскания и ропщет на старшину и на начальство. И действительно: прикрываясь террором господ становых, «немедленным» взысканием и невниманием к просьбам погодить, пока «станут цены» на тот или на другой продукт, многие из таких «благонадежных» людей скупают во время этого террора за бесценок и сено, и телушку, и рыбу, и потом улучшают свое благосостояние, так что человек несведущий, наслышавшись о бедности деревенской, въехав

в деревню и встретив расфранченного парня (из числа улучшивших свое благосостояние вышеупомянутым способом), говорит: «Какое... бедность! Я сам видел мужиков с часами, бархатный жилет... Чистое лганье эта литература». В деревне это лганье оказывается, однако, для всех, на счет которых явились часы и жилеты, совершенно ясною правдой и возбуждает недовольство, пока скрываемое. Незнакомый с деревенской подноготной видит в этих серебряных часах только серебряные часы, а знакомый с нею, напротив, видит не часы, а лошадь или сто пудов сена. Для него ясно, что в кармане этого франта спрятана целая лошадь, купленная по нужде и перепроданная за дорого, а вовсе не часы «с двум доскам».

VIII. ПРОШЛОЕ ИВАНА БОСЫХ

Если существует тип деревенского биржевика — человека, наживающегося на счет соседа, то, разумеется, должен существовать и сосед, весьма недовольный этим способом наживы. Если у биржевика есть «средствия», помощию которых он достигает своих целей, то и у соседа, «теряющего на курсе», тоже есть такие собственные «средствия», помощью которых он старается обороняться от неминуемой гибели... Лучшим для нас представителем этого последнего типа будет тот самый Иван Босых, о котором была речь в самом начале этого очерка. Не раз разговаривали мы с ним о его житье-бытье, и вот какой однажды разговор произошел между нами по этому поводу.

— Что же,— спросил я его,— после того как тебя с железной дороги выгнали, принялся ты за работу?

— После того я вот как было взялся с радости-то, как медведь начал ворочать вокруг дому! Только трещит да клюкает! Да недолго поработал так...

Он махнул рукой.

— Отчего же?

— Да так!.. Уж раньше было мое хозяйство все в расстройстве, в разбросе, да и настояще избаловался насчет вина. Захватит, затоскуешь — и выпьешь... Н-ну, а уж попала муха — какая тут работа? С вина хозяином не будешь — иди спи... А хозяйство стоит... Так и пошло день за день, слабей да слабей, вот и достукался до поденщины...

— Да отчего же сначала-то у тебя расстройство вышло?

Иван задумался и, вздохнув, сказал:

— Как сказать? По-нашему, по крестьянству, особливо по нонешнему времени и даже очень просто можно разо-

риться вконец... Поколела у тебя скотина — и ступай по миру... В прежнее-то время наш дом, семейство наше — первые были хозяева по крестьянству. Что скот, что народ — один к одному, на подбор были подобраны... И теперича, извольте поглядеть, что от старой постройки осталось: столбы под навесом дубовые, два аршина в обхвате, крепче чернодубу... Сейчас жги его столбом, так в сутки пожару не добьешься... Говорить не остается, какие были крестьяне — прославленные, прямо скажу, не похвастаюсь, были. Нас «Босыми» прозывают потому, что мы все, весь наш род, первые были силачи, чистые истуканы подобные. Уж на что я, испивши, избаловавши, самый последух, а и то ежели пойдет на спор, подбодрюсь, так не одну, две десятины дерну подыму. «Босыми» нас прозвали потому, что когда пошло в моду сапоги носить, так дедушка мой покойник — царство ему небесное! — никак не мог сапога надеть на ногу. Первое, что нога у него как столб какой, прости господи, или вот как тумба какая; а второе, как надел сапог — ступить не может: неловко, ноги горят от жара. А вот босиком так в трескучий мороз десять верст пройдет, только дым от ног идет... Или, например, бывало, на спор пойдет дело, так он, дедушка-то, по склянкам от бутылок голой подошвой хаживал, и то ничего: «Все одно, говорит, как по облаку хожу, ничего не чувствую»; а надел сапоги — захромал, жаром ноги займутся!.. Вот отчего нам название такое — Босых!.. Я-то уж самый младший из семьи, я дедушку помню уж совсем слабого, перед смертью... А которые помнят, так рассказывают, что, бывало, захворает чем, занедужает — никогда на печку не лез, а зимою ли, летом ли — прямо в бор, кости поразмять, да там, в бору-то, топором того натворит, страсти поглядеть что!.. Чисто медведь с волками дрался — столь много наломано, нарублено, навалено... Размается на работе, раздымет его всего, а прибежит домой, рубаху мокрую снял — и здоров. Только всего и леченья его было! А что касаемое по хозяйству, так уж тут вот на эстолько, на булавочную головку ошибки не давал. Чтобы сделать так, зря — ни во веки веков, ни в большом, ни в маленьком. Бывало, невесту какому из братьев возьмется выбирать, так целую зиму ездит по деревням, выискивает. За двести верст заезжал, и уж выберет бабу — одним словом!.. Уж ежели которую он выбрал, выспросил, высмотрел, одобрил, так уж та баба завсегда на редкость и на работе и по нраву. А родит ребенка, так прямо с годовалую овцу; взял его на руки — книзу прет и тянет. Вот какое было семейство!.. Отборное, первых кровей из всей округи было. Вот за это-то самое,

за нашу породу, наше семейство и было у барина на примете; в солдаты из нашей семьи барин никого не отдавал, а все отсаживал в другие свои деревни на раззавод племя... То девку возьмет — парня ей купит под кадриль, Еруслана какого-нибудь, в Самарскую губернию отсадит, то брата с женой, с сыном в курень... Так и растыкал всех по одиночке. Остался я один с бабой и с дедом, а отец с матерью и бабушка в холеру померли. Дедушка-то уж совсем на моей памяти плох был, а все норовил вокруг дома с топором потукать или так потоптаться. Пришло ему время помирать,— в самых последних годах зачуял он смерть,— стал ночей бояться. «Боюсь я, говорит, ночей, страсть боюсь!» Целую ночь, бывало, на крыльце сидит — ждет, скоро ли свет... А чуть светок, чуть петух где-нибудь,— и забормочет: «Слава тебе, господи! Жив, жив я... Вот и солнце красное... Ах ты, боже мой... Свет и день! Жив, жив, жив...» И спать ляжет, когда уж вся деревня проснется, народ зашумит, заговорит — тут ему не страшно. «Тут, говорит, я не боюсь помереть... Тут — на миру...» И поплакивал старичок, оченно поплакивал! Бывало, кой-как, уж кой-как мученски мучается зиму-то, весны ждет: а пошел капель, стало пригревать, так и польют из глаз слезы-то... Жаль, всего жаль! Пуще всего — работать ничего не мог. На пашню поглядит — зальется-зальется... А пашню-то нашу все обрезывали да обрезывали, и двор-то поосел. Я один, заведение большое — одному-то и не под силу... Там завалилось, там упало... Плакал он, покойник, много плакал; а все, пока силы были, все топтался, шамкал, приказывал да советовал. Ну, однакож, и помер... Днем помер — недаром бога молил... Как сидел на солнышке, так и заснул, кончился... А тут скоро и освобождение пришло. Пришлось мне новые порядки узнавать... А новые-то порядки нашему брату трудноваты. Первое, что при барине мы знали одно — работу; что скажут, то и делали: навалим ему хлеба, свезем в город, деньги он возьмет и уж как сам знает, так и путается с начальством — а тут то тот, то другой тормошит... Да деньги... Они хоть и невелики, да добывать-то мы их непривычны... У меня маменька-то во всю жизнь денег разобрать одну от другой не умела, дай ей копейку или двугривенный, ей все одно, потому хозяйством жили, все свое... Только деготь да соль, да что-нибудь по мелочи... Да и то все — либо дедушка, либо тятенька... Н-ну, а тут изволь, доставай. А кроме того, земельки мало — гораздо меньше супротив прежнего стало — и выгон ушел от нас, пришлось нанимать у чужих людей, платить опять деньги. Вот и пришлось в люди идти

поклониться. Глядишь, тот тормошит, рублевку теребит, другой: кой-как собьешься, отдашь с прибавочкой. Там прибавочка, тут прибавочка — ан и самому-то то там недохватит, то тут не натянешь...

И затем Иван рассказал, как он запутался в те самые тенета деревенских биржевых операций. Запутывался он каждую минуту, но по капельке, по копеечке, полагая, что это — что-то временное, случайное, тяготился этим по-детски, наивно, скучал, и вдруг очнулся, потерял наивность неопытного ребенка и понял, что *это* — не случай и не на время, а что это — такой порядок.

Произошло это следующим образом:

— Долго ли коротко ли идет время, подошла сибирская язва, стала валить скот... Вертинар, приедет, расковыряет шилом больное место и — уехал! «Мне, говорит, не успеть, заболело сто тысяч голов, а я один на четыре уезда, жалованья мне рубль — того и гляди сам поколеешь с голоду». Ну, мы и не взыскиваем... Валит скотину — на́ поди!.. Остался и я без всего. Повалило у меня двух коров, да к штрафу присудили за шкуры. Кабы мы были крепостные — ну, пошел к барину, поклонился бы, он бы и дал мне лошадь, потому какой же я буду мужик без лошади?.. Ну, а в нонешнее время поди к соседу, плачь... Ей-ей, иной плачет! Смеху достойно сказать: этакой верзила и — плачет!.. А ведь сущая правда... Просишь-просишь ковригу-то, зальешься... Я однова сам удивился: запищал даже с огорчения, словно заяц несчастный, не то что заплакал — а ведь во мне без малого шесть пудов весу. Вот нужда-то до чего доводит!.. Вот в этакое-то время толкался-толкался я вокруг наших, свойских мужиков, которые хозяйством покрепче: кое самому нужно, кое не дает — задолжал я ему раньше. Нет ничего мне справки!.. А время идет, и пора стоит рабочая... Хоть волком вой без лошади-то... Вот я и надумал иттить к сестре — за сорок верст от нас сестра была выдана моя... Муж-то ее по дровяному делу служил, жалованье получал,— значит, при заготовках был — ну, и деньжишки кой-какие водились. Вот я к нему: «Дай, мол, лошадь». А крут был парень, и уж он мужицкое рыло стал воротить. Ломался-ломался — ну, тут сестра подвыла за меня — дал. Поставил цену в тридцать пять рублей — отдать весной... А по совести сказать, дал он мне одра: не то што тридцати, а и двадцати — какое! пятнадцать рублей и то напросишься... Ну, что будешь делать? Взял, еще в ножки поклонился. «Продай, говорит, сено — куда оно тебе? Оставь на одну лошадь, а остальное мне отдай. А свалишь в нашем месте» (у такого-то). Назвал мужика,

тоже к нему под кадриль подходит: сено тюкует, и часы, и все... А деньжонки-то требуются: коров нет,— все купи, ребятишкам молока... Отдал ему сено по десять копеек и приставить обязался к тому мужику, которому он наказывал. Вижу, приехал в нашу деревню, поговорил с мужиком эстим, Парфенов прозывается. Потом оба зашли ко мне; зять и говорит: «Приставляй сено Парфенову, а за расчетом ко мне ходи». И Парфенов говорит: «Ко мне, говорит, приставляй»... Вот я и стал приставлять... Еще я забыл сказать вот что: как приезжал этот зять-то, зашел он ко мне на двор, увидал теленка: «Отдай, говорит, мне, на что он тебе без матки-то?» А и то, что без матки трудно: делаешь месятку, одной муки сколько слопает, а муку я в ту пору вскоре с рождества покупал. Отдал я ему теленка за пять целковых. Староста тут подскочил: они, дьяволы, за двадцать верст носом слышут, коли покупщик на двор зашел и деньги из кармана вынимает — два целковых отмотал от пятишной в подати... Ну, пес с ним!.. А недоимки на мне действительно уж эво сколько!.. Вот ладно, стал я сено приставлять... Приставил четыре воза к Парфенову, а Парфенов тюкует да в сарай кладет. Натюковал он пятьдесят пудов. Еду я к зятю за деньгами — стало быть, приходится мне получить пять рублей... Приехал я к зятю, а его дома нету. Сидит сестра... Ну, поздоровкались, поговорили, представил я записку, выдала она мне пять рублей... Представил я еще пятьдесят пудов, опять поехал, и опять зятя нету; сестра только дома... Сидит сестра и говорит: «А мы твоего теленочка продали. Вчерась телятники были, за двадцать пять рублей купили»... Вздохнул я от этих слов, потому и поили-то они его всего две недели; кабы у меня корова была, так вот они, двадцать пять рубликов, в моем бы кармане были. Вздохнул я и промолчал. Разговорились и про сено; сказывает она мне, что и сено ейный муж в Питер «приставляет» в казармы, по сорока копеек, а за прессовку Парфенов по четыре копейки получает... «А перевозка почем?» — «А перевозка, говорит, тоже по четыре обходится до Питера». И опять я вздохнул... Я-то вот за сто-то пудов всего десять целковых получил; а зятю-то восемьдесят целковых пришлось... Ну, прессовка восемь — ан все же моих денег у него шестьдесят рублей... А труды-то мои, косьба-то моя, и сушка, и гребли мы тоже с бабой — а всего десять целковых... За что так?— думаю... Пошел я к Парфенову и говорю: «Так и так... Ведь это, братец мой, убыток; давай мне хоть пятнадцать копеек, я тебе приставлять буду»... Парфенов говорит: «Я бы и рад, я бы и двадцать дал, коли бы у меня в Петербурге места

были знакомы. А то местов-то нет. Я уж, брат, за ними вот как старался уследить по Питеру, куда они девают сено, все ноги оттоптал, под заборами прятался — чуют, канальи, путают по Питеру... Ходишь-ходишь за ними, со следу не спускаешь, а чуть мигнул не так — его и нет, как в воду канул. Дьяволы — одно слово!» Пошел я, думаю: уж разыщу же я себе другого покупателя. Пошел на вокзал, толкался там двое суток, нашел. «Вози по двугривенному, сколь хошь!» Ну, тут я вышел да с радости и объявил Парфенову-то. А Парфенов-то — в обиду: «Ты, говорит, от меня хлеб отнимаешь... Я бы прессовкой-то все попользовался сколько-нибудь, а ты чужим...»— да и объяви зятю... А зять не в себе стал. «Как, обманывать?»... Прибег ко мне. «Подавай лошадь!» Это чтобы мне возить не на чем было. Ну, я уперся, говорю: «Лошадь куплена, деньги жди до весны... Бумаги у нас, мол, с тобою нет, а сделано дело на совесть, по бессловесному договору — ну, и жди...»— «Давай сейчас!.. Эй, Парфенов, бери лошадь! Зови работника!» Я вижу, идет дело на сурьез, загородил ворота в скотник, стал спиной к двери, и, признаться, осердился я... А был я немного выпивши, потому получил я с нового-то приятеля задатку, вот с радости-то я и пропивал рублишко, вчера да сегодня... Вижу я, хотят ломиться в дверь, осерчал... «Да ты что, говорю, тут орешь-то? Какая тебе лошадь? Да я, говорю, и весной-то денег тебе не отдам, потому ты и так на моем сене да на теленке получил... Побожьи-то с тебя еще надо больше тридцати рублей мне получить, а нежели ты с меня... Чуть не сто целковых *на мне* нажил, да отдай я ему лошадь, а сам иди по миру... На-ко!» Тут пошла брань, свара: что он злей, то и я... Приступают все они — Парфенов, работник — прямо к горлу, я и ткни, отпихнись!.. «Чего, мол, грабить лезете, пошли прочь!..» — «А, коли так — в суд!» И подал зять на меня в волостной суд по оскорблению его личного мордобою и по взысканию за лошадь: либо тридцать пять рублей, либо лошадь назад. А Парфенов-то — судья... Ну, и прочие судьи у зятя были присоглашены. Пивцо, винцо и все прочее... Приговорили так: за оскорбление личности двадцать ударов, а лошадь отобрать. Я на суд не пошел. Приходит ко мне десятский и говорит: «Иди в волость!»—«Зачем?»— «Драть будут!» — «Ну, я и не пойду». — «Не пойдешь?» — «Нет, говорю, не пойду. Скажи им, чтобы кого-нибудь другого выдрали, коли есть охота». Тут меня взяло зло. Как так! Это что же такое? Меня теперича может драть свой же брат мужик? Еще барин нас дирал,— ну, это господское дело; как была неправда, так и прошла. А тут меня будет

драть всякое свиное рыло за то, что я ему не даюсь, охотой к нему в пасть нейду?.. Ну нет, не дамся!.. Так меня все это рассердило, пошел я в кабак, царапнул косушку и думаю, что творится. Сидит солдат — разговорились. Рассказал я. Посоветовал: «Не давайся». Потом спрашивает: «А много ль за тобой недоимки?» А на мне недоимки накипело вот как: над головой на три аршина, с боков по два аршина, да в землю сажени на четыре с лишком. Сказал я ему это, он обрадовался. «Ничего, говорит, не бойся! Недоимка — это наше спасение. С нас ее потому и не снимают, что жалеют нас: снять ее — все равно догола раздеть; тогда эти канальи нас голыми руками брать будут. А как окружен ты недоимкой со всех сторон — и вверх, и вниз, и с боков, то и сиди ты спокойно, как бы в неприступной крепости, потому что продать ежели у тебя скотину, так деньги должны идти в казну, а не им, живорезам, а живорезу — что казна?.. Коли не ему, так и не надо. Уж коли у тебя продадут лошадь да в казну деньги возьмут, так уж он и знает, что ему не с чего взять будет. А так-то, без аукциона, все, может быть, ты что-нибудь отдашь, все ему надежда... А ты вот как, я тебе скажу: ничего им, живорезам, не отдавай, а продавать тебя для казны они сами пожадничают. Сиди, братец ты мой, в этой самой глубине: недоимка — твоя защита. Все одно как в шубе сиди. Казна-матушка потому нас покуда и не раздевает... А то бы мы все как тараканы померзли». Так мне стало весело от этих слов! Выпили мы тут еще, и стало мне хорошо. Думаю, коли казна ждет, так живорезы и подавно должны повременить. Да опять я и не должен за лошадь — и по совести, и по-божьи, и всячески. Я ему предоставил на сто рублей моего собственного трудового — будет с него. А то еще драть... За что? — за то, что подороже хочу сено продать? Ведь вот анафема! Как вспомню, что меня драть хотят за мое же добро, так хоть что хошь — тянет в кабак да и нá! Однако прошло два дня, опомнился, очувствовал, думаю — примусь за хозяйство: лошадь моя, теперь сено по двугривенному,— стало быть, и коровенку куплю. И все в той состою надежде, что защитит меня недоимка. Солдат сказал: «Сиди в недоимке, как во дворце, никто не посмеет!»— и присоветовал: «А в случае чего, запирайся кругом,— нет закона, чтобы силóм брать. Ответят». Вот я и сижу во дворце-то. На третий день глядь — тройка: старшина, зять, десятский... к Парфенову. Я сейчас на запор: ворота, сарай, конюшню, дом — все запер. Сижу с женой, ребятами, под окном, смотрю, что будет. Потолковали они у Парфенова — вижу, идут ко мне всей гурьбой. Парфенов

с ними и еще человека четыре мужиков. Подошли; старшина и говорит: «Отпирай!» Я не отпираю. «Ты думаешь, говорит, что мы тебя не достанем? Ты думаешь, мы судов на тебя будем дожидаться? Ну нет, братец! У нас против вас, канальев, и свои средствия найдутся. Отпирай ворота добром! Лучше будет!» Я не отпер. Сижу, гляжу, что будет. Знаю, что против закону нельзя им идти... «А коли не хочешь добром, так мы и сами справимся. Ребята! — сказал старшина.— Принесите дубину хорошую». Побежали мужичонки к Парфенову, выволокли четверо еловое дерево, аршин шесть длины да вершков двенадцати в корню, в отрубе. «Дуй!» Подхватили все, размахнулись, раздва-три — ворота вдребезги так и разлетелись. Тут я вижу, что уже без совести пошло дело. Вышел на двор: «Что вам будет угодно?» — «Подавай лошадь!» — «Она в поле!» — «А! — сказал старшина.— В поле... Ну-ко, ребята, возьмите дубину!» Опять подхватили, раскачали — хлоп в скотник. Так дверь и вбухали в нутро. Лошадь там. «Возьми!» Зять взял лошадь и увел к Парфенову, а старшина говорит: «Не хотел добром, хочешь нахрапом, так мы так же можем. Ты думал, своим средствием отвернешься — ну, и мы своим средствием. И помни. А выдрать — выдеру... А ежели хочешь жаловаться в вышнюю инстанцию, так сделай милость! Теперь тебе двадцать определили, а тогда сто двадцать всыплю...» С тем и ушли. Остался я без лошади, и такое меня взяло зло, такая лютость, точно бес меня осенил. Жена было заголосила, а я ее бить. Перед богом, сам не помню, как рука поднялась! Теперь я без лошади и без коровы, и сено не на чем возить, и драть грозятся — кипит у меня все нутро, огнем палит... Завыла она. Я — раз ее в грудь..., а брюхатая была: и это; что брюхается-то она не во-время, тоже меня озлило, я ее и... Стала она кричать, а я злей да злей; побелело у меня в глазах от злости... Прр-рямо в кабак! Жрал-жрал, сено кабатчику обещался отдать за пятачок пуд, только давай вина. Допился до бесчувствия, вышел, упал в канаву, мордой в лужу — и лежу... Долго ли, коротко ли лежал, стало мне холодно. Открыл глаза — месяц на небе. Девки поют на деревне... Встал, пошел к кабатчику, вымолил стаканчик и пошел домой. Иду, гляжу — у Парфенова огонь. И зять, и старшина, и компания. Вино в бутылке, самовар — угощаются. Не могу сказать, что такое случилось со мной, а только, как увидал я это, прямо и повернул к Парфенову. Ввалил я к ним в грязи, без сапог — пропил их — и прямо к старшине: раз его по роже — да к Парфенову, да к зятю... Дал им всем по хорошему лещу и сел... Тут было

поднялось... и-и, боже милостивый, что! Но я уж был в азарте. «Убью, говорю, анафемы! Вина давайте, и только!» Проснулась в ту пору во мне наша босовская сила: кажется, убил бы с одного маху. Но только они догадались, что опасно меня теперь трогать, отступились, погнали за старостой, за понятыми... А я прямо к столу, выпил из бутылок, да пустой бутылкой в зеркало, да чайную посуду на пол... Сбежался народ, повалили, связали и — в холодный амбар. Подали на меня в суд все трое. Старшина — тот к мировому подал. Зовут к ответу: не пошел, стал пьянствовать. Выходит резолюция — драть. Зовут. Не пошел. Три раза приходили. Плюнул в морду десятскому, а не пошел. Насудили, анафемы, с трех-то морд — до ста ударов с прежними... Я все не иду. Спасибо, еще народ есть добрый — не выдают... Вот я и промаялся кое-как до Покрова и все больше пил... Тут уж и новый мой знакомый, с которого я задаток под сено получил, и тот стал грозиться судом. А на чем я повезу сено, коли лошади нет?.. И кабатчик требует то же самое сено — я его пропил ему... Не глядели бы глаза на свет белый. После Покрова слышу — колокольчики. Заливаются соловьями. Вкатывают в деревню на трех тройках: старшина, пристав, суд... Екнуло мое ретивое! Прямо ко мне на двор, вошли в избу, собрали народ. «Подати!..» Так меня притиснули, не выскочишь из избы-то... Тут стали носить подати, а старшина говорит: «Вот, ваше сиятельство, этот крестьянин (я) четыре раза присуждался к наказанию, во-первых, за оскорбление зятя, потом меня, потом Парфенова и опять же зятя. Двадцать раз его звали — сопротивляется, не идет. Позвольте привести решение в исполнение... Да и податей к тому же не платит». Вот тут меня и растянули!.. Тут я и потерял свой смысл, и стыд, и совесть... Лежу и, верите ли, *себя боюсь*. Перед богом, себя боюсь!.. Боюсь подняться, боюсь пошевелиться, потому убил бы кого-нибудь, насмерть бы размозжил, кто подвернулся бы в ту пору. Наконец, того, вижу, что живорезы в лакомство вошли, говорю: «Будет!» И так это сказал, что перестали ведь анафемы... Ну, вот с этого времени я и потерял себя. Всего себя потерял! Все мне тоска, свет не мил, двор пустой... Только и есть кабак. И воровать даже стал. Сено продал в двадцать мест, а все — прахом, прахом. Слабей, слабей, так и пошел ко дну. До того дошло, что и жена стала жаловаться на меня суду... За это мне решенье выходило двадцать ударов, а я ее за жалобу опять трепал... Таким родом и исподлел я и развратился. Уж как я обрадовался, когда барин один, на даче поблизости жил, помог мне

немного работишкой, дал прочухаться, а потом и на станцию определил. Коли б мне опять такое место, я б уж знал, как справиться,— ну, а теперь...

Иван замолк и с изменившимся, побледневшим лицом проговорил, понизив голос:

— Теперь того и жду, что случится что-нибудь худое...

— С кем?

— Да со мной... Того и жду, что в тоске какой-нибудь сделаю вред.

— Отчего же ты так думаешь?

— Уж знаю я...

Иван замолчал. На лице его было выражение какой-то суровой таинственности.

— Домовой у меня по ночам воет на крыльце — вот что я вам уж без всякой утайки объясню.

Я мог только сказать:

— Неужели?

— Верно, я вам говорю. Как меня тогда разорить, то есть лошадь-то когда отняли, так он тоже выл, а теперь так, верите ли, каждую ночь воет без устали. Всю ночь с женой, с ребятишками трясемся... Выйдешь в сенцы ночью-то, а он сидит на крыльце, этак вот обеими руками голову обхватит, да как замотает башкой-то из стороны в сторону, как зальется... Мороз даже по коже дерет! Перед богом вам говорю!.. Уж, верно, что-нибудь со мной недоброе случится... Уж очень я обозливши... Тоска меня сосет... Враг шепчет все... Уж на что-нибудь подстроит он меня... Быть мне на каторге — вот что́ я думаю.

— Ну, какой вздор! Какие домовые!

— Как какие?.. Нет, уж сделайте милость! Мы очень знаем эти дела-то. При покойнике дедушке у нас домовые жили двое; я их сам своими глазами видел... Так они жили тихо.

— Своими глазами?

— Вот как вас вижу, так и их вида́л... Да и сейчас я вижу его...

— Ну, какой же он?

— Домовой-то?.. Да обыкновенно уж домового мы подразумеваем под чертом — ну, и вид у него...

— Какой же у него вид-то?

— Как сказать?.. Мутный он весь какой-то...

— Глаза есть у него?

— Да, и глаза *должны быть*. Ведь он ходит — должен же глядеть-то.

— А ноги?

— У него всему надо быть, только что не видишь... а видишь только, что есть он вот тут или тут... А так сказать, чтобы вид какой у него — не могу... Я раз пришел на сеновал, а он лежит — спал, должно быть...

— Ты его видел?

— Своими глазами.

— Ну, так на кого же он похож?

— Да на домового же и походит.

— Одет он во что-нибудь или нет?

— То-то, нельзя этого знать.. А видишь только, что тут он... Вроде как тень, такой мутный, лежит и сено сквозь него видно.

И тут у нас начался самый детский разговор. Я только мог дивиться, какая детская наивная душа сохраняется в этом сильном и добром человеке, в котором запутанная жизнь может накапливать почему-то только зло, только негодование...

СОДЕРЖАНИЕ

Власть земли

Глеб Иванович Успенский

От Оренбурга до Уфы

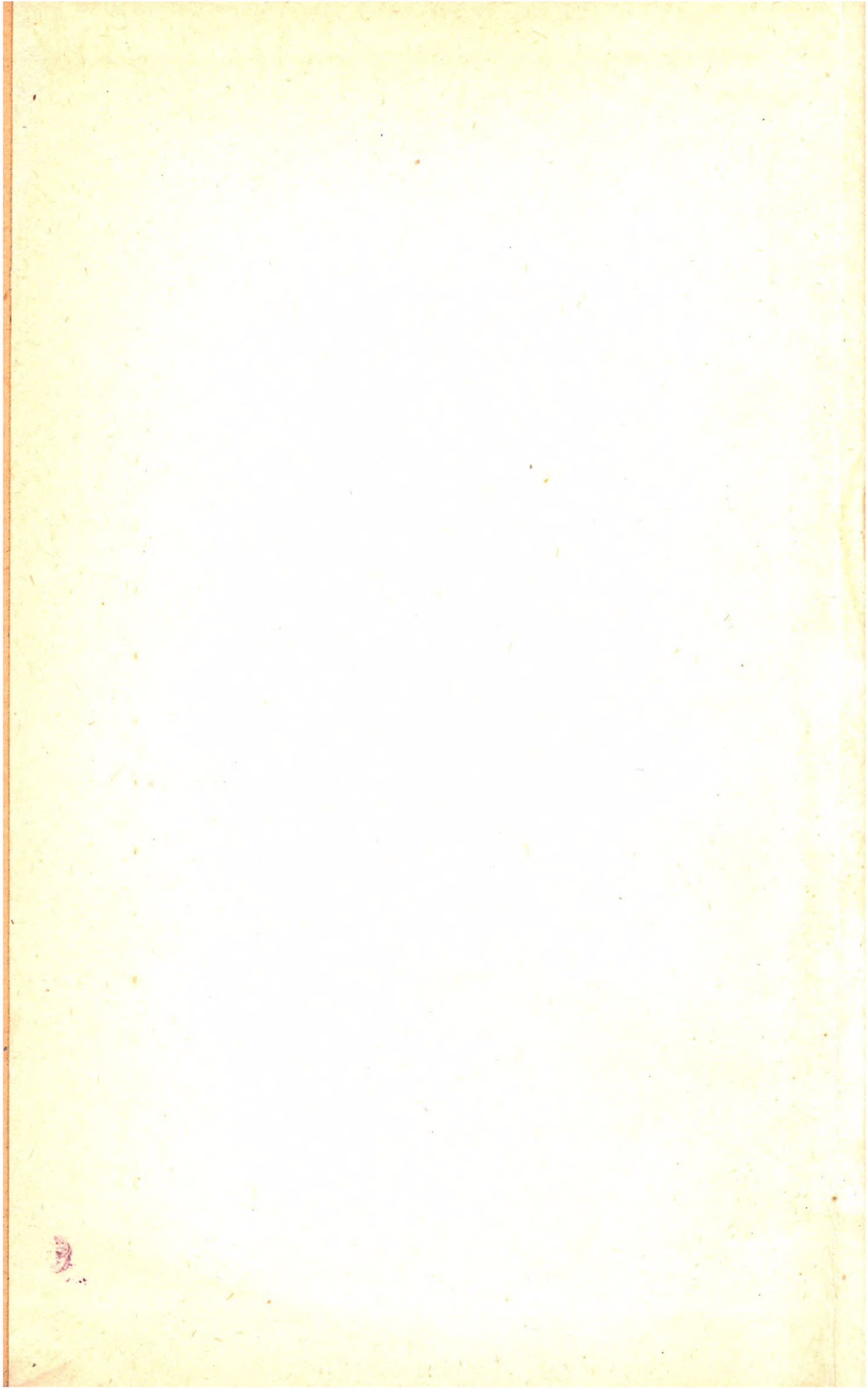
Очерки

Редактор К. Шилина
Художник Г. Прокшин
Художественный редактор А. Астраханцев
Технические редакторы Г. Зигангирова, Ф. Гайфуллин
Корректоры Н. Смольникова, Л. Семенова

ИБ № 1725

Сдано в набор 21. 01. 82. Подписано к печати 19. 05. 82. Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 15,12. Условн. кр.-отт. 15,27. Учетн.-издат. л. 16,97. Тираж 150 000 экз. Заказ № 28. Цена 1 руб. 50 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Советская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.



1 руб. 50 коп.


Г. УСПЕНСКИЙ
От Оренбурга до Уфы